М. Л.
МИХАЙЛОВ

1

М. Л. МИХАЙЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

М. Л. МИХАЙЛОВ

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

М. Л. МИХАЙЛОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

Под общей редакцией
Б. П. КОЗЬМИНА

Вступительная статья
М. И. ДИКМАН и Ю. Д. ЛЕВИНА

Подготовка текста и примечания
Г. Ф. КОГАН

Оформление художника
Д. ГРОМАНА



М. Л. МИХАЙЛОВ

М. Л. МИХАЙЛОВ

1

Михаил Ларионович Михайлов родился 3 января 1829 года в Оренбурге в семье чиновника. Дед его был крепостным. В 1861 году в своих показаниях на следствии Михайлов писал: «Покойный отец мой происходил из крепостного состояния, и семейное предание глубоко запечатлело в моей памяти кровавые события, местом которых была его родина. По беспримерной несправедливости село, где он родился, было в начале нынешнего столетия подвержено всем ужасам военного усмирения... Дед мой был тоже жертвою несправедливости: он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца» [1].

Отец будущего писателя, отпущенный «на волю», поступил на службу копиистом в губернское правление. Ценой многолетнего упорного труда он сумел подняться по служебной лестнице и даже получил дворянское звание. Он дал своим сыновьям хорошее домашнее образование; Михайлов еще в детстве овладел несколькими иностранными языками и начал увлекаться литературой, пробуя свои силы как в самостоятельном поэтическом творчестве, так и в переводах.

Рано осиротев (мать Михайлова умерла в 1841, отец — в 1845 году), молодой поэт, старший в семье, был вынужден сам заботиться о своем существовании. В 1846 году он отправляется в Петербург, чтобы поступить в университет, но, потерпев неудачу на вступительных экзаменах, становится вольнослушателем. Бурная общественная и литературная жизнь Петербурга 1846—1847 годов, знакомство Михайлова со статьями Белинского, Герцена, с произведениями Тургенева, Некрасова и

---

[1] М. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, М.—П. 1923, стр. 106—107.

других писателей способствовали формированию его общественных и литературных взглядов.

На первой же лекции в университете Михайлов знакомится с Чернышевским. У молодых людей быстро нашлись общие литературные интересы, которые положили начало их дружбе. «...Чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить...» [1],— писал родителям в 1848 году Чернышевский о Михайлове. Впоследствии Чернышевский как революционный мыслитель оказал большое влияние на своего друга. Однако, по свидетельству современников, он «всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым» [2].

Еще до приезда в Петербург Михайлов посылал свои стихи в столичные газеты и журналы, и в июне 1845 года в газете «Иллюстрация» были опубликованы первые его произведения. Теперь он печатает свои стихи и прозаические очерки в «Иллюстрации», «Библиотеке для чтения» и особенно в «Литературной газете», с редактором которой, В. Р. Зотовым, он сблизился в 1847 году.

В феврале 1848 года Михайлов вынужден «по расстройству денежных дел» покинуть Петербург и переселиться в Нижний-Новгород, где был принят на службу в Соляное правление писцом I разряда. Пребывание Михайлова в Нижнем-Новгороде совпало с началом «мрачного семилетия» (1848—1855), когда правительство Николая I, напуганное революционными событиями на Западе, беспощадно подавляло всякое проявление свободомыслия. Жизнь в провинции, чиновничья служба, обывательское окружение в условиях политической реакции тяготили молодого писателя. «Провинция,— пишет он Зотову 8 сентября 1848 года,— самая гадкая вещь, но я поневоле и по другим моим обстоятельствам и делам обязан оставаться здесь еще некоторое время. Что делать? И тошно здесь, а живи... О всемогущие *обстоятельства!*» [3]

Круг литературных интересов Михайлова значительно расширяется в эти годы: продолжая писать стихи и переводить, он в то же время выступает как беллетрист, пробует свои силы в драматургии, занимается библиографией русской литературы, собирает фольклор и т. д. Молодой писатель мечтает о возвращении в центр литературной жизни России — Петербург. В его судьбе принимает горячее участие Чернышевский, который пытается приискать своему другу работу в столице.

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, М. 1949, стр. 110.

[2] Эмигрантская брошюра «На смерть Михайлова». «Литературное наследство», 25—26, М. 1936, стр. 597.

[3] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, Ленинград.

Закрытие в начале 1849 года «Литературной газеты» лишило Михайлова на некоторое время возможности печататься. Затем ему удается опубликовать несколько своих произведений в журнале «Москвитянин». Напечатанная здесь в 1851 году первая его повесть «Адам Адамыч» привлекла внимание читателей и критики. Успех повести окрылил Михайлова: в феврале 1852 года он бросает службу и возвращается в Петербург.

Однако обеспечить свое существование литературным трудом оказалось нелегким делом. Михайлов сотрудничает в нескольких журналах, переводит стихи, пишет рассказы и повести, статьи, рецензии, фельетоны, даже оперное либретто. Преобладающее место в его творчестве занимает беллетристика; именно в эти годы (1852—1855) написана бо́льшая часть его прозаических произведений. «Он необыкновенно трудолюбив и рьян к работе... аккуратен донельзя и добросовестен»,— писал о нем А. В. Дружинин в 1853 году [1].

Весной 1852 года Михайлов начал сотрудничать в наиболее передовом журнале того времени «Современнике», издававшемся Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым. С. В. Максимов, познакомившийся в это время с Михайловым, вспоминал впоследствии: «Он... не только был искренно и горячо предан нравственным интересам и успехам «Современника» как его самый неизменный сотрудник, но и как друг» [2]. В 1853 году в Петербург возвращается из Саратова Чернышевский, и Михайлов возобновляет с ним дружеские отношения. Михайлов сближается и с писателями круга «Современника» 50-х годов — И. С. Тургеневым, А. В. Дружининым, Д. В. Григоровичем, которые принимают участие в его литературной судьбе. У него завязываются близкие отношения с поэтом Я. П. Полонским, беллетристом М. В. Авдеевым, поэтом-переводчиком Н. В. Гербелем; к числу знакомых Михайлова принадлежали А. Ф. Писемский, А. Н. Майков, В. С. Курочкин и др.

Общественно-политические взгляды Михайлова в первой половине 50-х годов были еще расплывчаты и неопределенны. Демократизм, свободолюбие, сочувствие к угнетенным, ненависть ко всякой несправедливости носили у него отвлеченный, абстрактно гуманистический характер. Не случайно наряду с сотрудничеством в демократическом «Современнике» он печатается в таком далеком от прогрессивности журнале, как «Библиотека для чтения».

Все, кто сколько-нибудь близко знал Михайлова, отмечали присущее ему огромное душевное обаяние, которое привлекало к нему общую

---

[1] А. Старчевский, А. В. Дружинин. «Наблюдатель», 1885, № 5, стр. 226.

[2] С. Максимов, За А. Ф. Писемского. «Новое время», № 4880, 29 сентября 1889.

любовь и симпатию. «Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце»[1],— писал о Михайлове Чернышевский родителям в 1847 году. «Натура весьма симпатическая, добрая»[2],— называл его поэт А. Н. Плещеев в письме 1857 года к Ф. М. Достоевскому. «С первого появления в кругу литературной петербургской молодежи Михаил Иларионович приобрел ее любовь и всеобщую симпатию. Добродушный, восторженный, увлекающийся, он всегда был готов жертвовать собою для других, для тех идей, которые он считал справедливыми и гуманными» [3],— вспоминал В. Р. Зотов. А П. В. Быков, познакомившийся с писателем в 1861 году незадолго до ареста, писал, что некрасивое лицо Михайлова «светилось особенной внутренней красотой, кротостью, успокоительной мягкостью, что невольно влекло к нему сердца и умы» [4].

В 1853 году Михайлов познакомился с офицером корпуса лесничих, впоследствии выдающимся революционным публицистом Н. В. Шелгуновым. Это знакомство со временем перешло в самую тесную дружбу, которую не смогли поколебать тягчайшие испытания, выпавшие на долю Михайлова и Шелгунова, в том числе и взаимная любовь Михайлова и жены Шелгунова — Людмилы Петровны, сыгравшая большую роль в дальнейшей жизни и творчестве писателя.

Осенью 1855 года морское министерство привлекло нескольких литераторов к участию в экспедиции, направленной в разные концы страны «для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством». Среди командированных литераторов был и Михайлов. Экспедиция проходила в период общественного подъема, начавшегося после смерти Николая I и поражения России в Крымской войне. «...Россия точно проснулась от летаргического сна... После Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми овладело критическое настроение...»[5],— вспоминал об этом времени Шелгунов.

В начале 1856 года Михайлов поехал на свою родину в Оренбургскую губернию и на Урал, где пробыл до 1857 года [6]. Он внимательно

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, М. 1949, стр. 110.

[2] Сб. «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», Л. 1935, стр. 438.

[3] В. Р. Зотов, Петербург в сороковых годах. «Исторический вестник», 1890, май, стр. 294—295.

[4] П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, М.—Л. 1930, стр. 150.

[5] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 67, 68.

[6] Об участии Михайлова в экспедиции см.: Н. Мещерский, Михаил Ларионович Михайлов и его литературная командировка в Оренбургский край, «Степные огни», № 4, Чкалов, 1941. Л. Черных, К вопросу об изучении М. И. Михайловым жизни народов Башкирии, «Литературная Башкирия», вып. 6, Уфа, 1956.

изучает жизнь населения этого малоизвестного края, его быт, экономическое положение, устное творчество, обычаи и верования. Особенно интересовали писателя народные революционные движения: башкирские бунты и восстание Пугачева. На основании собранных им богатых материалов он намеревался написать два обширных историко-этнографических труда: «Очерки Башкирии», которые должны были составить, как писал Михайлов в морское министерство, «довольно стройную этнографическую картину Башкирии... никем обстоятельно не описанной», и «От Уральска до Гурьева» — «этнографическое и историческое описание уральцев — их быта и промыслов — как по Уралу, так и в Каспийском море» [1].

В обследованных им областях Михайлов увидел чудовищную эксплуатацию бесправных народных масс, испытывавших двойной гнет,— крепостнический и колониальный. В своих очерках он хотел дать правдивую картину народной жизни, не скрывая и не затушевывая мрачных сторон действительности. «Везде стараюсь, по мере возможности, говорить откровенно, без прикрас, о положении края,— писал он 27 февраля 1857 года Шелгунову из экспедиции.— Гадостей несть числа» [2]. Михайлов опасался, что многое «застрянет в цензуре». Действительность же превзошла худшие его опасения: в «Морском сборнике» была напечатана лишь одна статья — «Уральские очерки. Из путевых заметок 1856—1857 годов», в которой содержалось описание города Уральска. Остальные весьма ценные научные материалы были отвергнуты морским ученым комитетом.

Участие в экспедиции принесло Михайлову большую пользу. Еще из Уфы 4 ноября 1856 года он писал Дружинину: «Мне кажется, я и дышу теперь полнее и светлее думаю» [3]. А по возвращении он в письме от 7 июня 1857 года сообщал Полонскому, что странствия дали ему «...и опыт, и встречи с людьми, и ближайшее изучение Руси. Всего этого не доставало мне...» [4]

Вернувшись в мае 1857 года в Петербург, Михайлов с новой энергией принимается за литературный труд. Но эта деятельность уже не может полностью удовлетворить его: общественно-политические вопросы, связанные с путями дальнейшего развития России, настоятельно привлекают его внимание. Вместе с Шелгуновыми он решает совершить поездку во Францию и Англию. 12 апреля 1858 года он пишет Полонскому: «...я жду не дождусь, когда буду иметь возможность отправиться заграницу... многое надо посмотреть, многому научиться» [5].

---

[1] Центральный государственный архив Военно-морского флота.
[2] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 100.
[3] Сб. «Письма к А. В. Дружинину», М. 1948, стр. 214.
[4] Сб. «Шестидесятые годы», М.—Л. 1940, стр. 446.
[5] Там же, стр. 447.

В июле 1858 года Михайлов выезжает во Францию, где его ожидали приехавшие туда раньше Шелгуновы.

Михайлов живет в Париже, посещает морской курорт Трувиль, объезжает города Нормандии, пытливо и внимательно вглядываясь в быт, нравы, культурную и общественную жизнь чужой страны. В «Парижских письмах», посылавшихся им в редакцию «Современника», Михайлов рассказывает о столице и провинции, жителях и исторических достопримечательностях, театрах и маскарадах, художественных выставках и литературных новинках, нравах парижской прессы и спорах по женскому вопросу и т. д. За внешним благополучием луи-наполеоновской империи писатель разглядел отвратительные черты реакции: «жалкое нравственное состояние французского общества», пресмыкательство перед императором, «лихорадку беспутства», охватившую господствующие классы, продажность буржуазной прессы, упадок культуры под гнетом католического мракобесия. «...Чтобы заслонить... свет, готовый благотворно пролиться на современное общество и оживить его,— писал Михайлов в третьем «Парижском письме»,— строится густая черная армия гасителей, с такой же густой и темной массой буржуазии в авангарде, под прикрытием четырехсот тысяч штыков. Мрак все гуще и гуще. Скоро надо будет зажигать костры, чтоб озарить его» [1].

Михайлов видел не только реакцию, но и здоровые силы страны. С глубокой симпатией пишет он о простых людях Франции, которые «живут скромным и честным трудом и связаны между собой... согласием во взглядах, одинаковостью направления и любовью к родине»[2], о рабочих, о народных певцах — Эжене Потье и Пьере Дюпоне, о детях бедняков. В «простом и бедном народе Франции», которого «не коснулось нравственное растление высших классов», находит писатель «драгоценный залог ее лучшего будущего» [3].

В феврале 1859 года Михайлов и Шелгуновы едут в Лондон, чтобы познакомиться с Герценом и Огаревым. «Шелгунов и особенно Михайлов очень понравились Герцену,— вспоминала Н. А. Огарева-Тучкова,— эти люди казались понимающими и вполне преданными благу России...»[4] Со своей стороны Михайлов до конца своих дней сохранил чувство глубокого уважения и преданности к «свободы верным друзьям», как он назвал Герцена и Огарева.

Знакомясь с жизнью крупнейшего капиталистического города Европы, Михайлов в «Лондонских заметках» пишет об успехах

---

[1] «Современник», 1858, № 11, стр. 195.

[2] См. т. III наст. изд.

[3] «Современник», 1858, № 11, стр. 196.

[4] Н. А. Огарева-Тучкова, Воспоминания, 1848—1870. М. 1903, стр. 166.

английской промышленности и торговли. «...Нельзя не изумляться страшному развитию промышленных сил народа, способного на такие гигантские предприятия»,— замечает он по поводу строительства колоссального по тем временам судна. Но, наблюдая Лондон с его «невиданным богатством», «этот всесветный рынок, куда все концы земли прислали свои товары», Михайлов видит и ютящуюся рядом «невиданную нищету»: «...мысль невольно останавливается на дорогой цене, которою покупается так называемое «промышленное величие» народов...»,— пишет он, показывая связь национального богатства и народной бедности в капиталистической Англии.

Зарубежные очерки сделали Михайлова популярным публицистом демократического лагеря. Они продолжали традицию, начатую очерками Герцена. Обличая реакцию и социальное неравенство, Михайлов с глубоким уважением относился к национальной культуре зарубежных стран, к их прогрессивным деятелям, к народу. Он язвительно высмеивал пропагандистов «официальной народности», разглагольствовавших о «гниющем Западе», видевших в жизни Европы одно разложение, и наглядно показывал не только недостатки, но и достоинства европейских форм жизни.

Вернувшись в 1859 году из-за границы, Михайлов входит в состав редакции «Современника», где ведет отдел иностранной литературы, деятельно сотрудничает в «Русском слове» и несколько раз пытается, правда безуспешно, основать собственное периодическое издание, «серьезное», «с благородным и определенным направлением», как писал он Шелгунову в июле 1859 года [1].

С конца 1859 года Михайлов становится редактором отдела словесных наук в «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами». Издание словаря возглавлял П. Л. Лавров, который считал, что основная «задача словаря сводилась к распространению серьезных, положительных знаний и сведений и к борьбе со всякими лженаучными предрассудками и суевериями» [2].

1859—1861 годы — годы революционной ситуации в России — довершили политическое воспитание Михайлова. В обстановке резкого размежевания либералов и революционных демократов он становится идейным сподвижником Чернышевского и Добролюбова. Основное место в его литературной деятельности занимает критика и публицистика.

Социально-политические воззрения Михайлова в том виде, как они оформились в годы революционной ситуации, получили выражение

---

[1] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 102.

[2] «Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 134 (из воспоминаний М. А. Антоновича).

в его статьях 1860—1861 годов, в частности в статье о положении европейских пролетариев [1], а также в прокламации «К молодому поколению» (1861), написанной им совместно с Н. В. Шелгуновым [2].

При этом следует иметь в виду, что Михайлов не был последовательным революционным мыслителем, как Чернышевский, под известным влиянием которого он находился [3]. Он не имел глубоко продуманной, стройной системы общественно-политических взглядов. Анализ его статей позволяет установить лишь ведущие черты его мировоззрения.

Михайлов был демократом-просветителем. Как всякий просветитель, он относился с непримиримой враждебностью к крепостному праву и всем его порождениям, отстаивал интересы народных масс, защищал идеи просвещения, самоуправления и свободы и искренне верил, что уничтожение крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние. В то же время ему в большей степени, чем Чернышевскому, были присущи идеалистические заблуждения просветителей во взглядах на исторический процесс. Считая, что идеи являются движущей силой общественного развития, Михайлов видел в распространении научного мировоззрения, в перестройке воспитания и образования решающий фактор общественного переустройства. В прокламации «К молодому поколению» утверждалось: «...не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями» [4]. Отсюда и то огромное значение, которое придавалось «аристократии мысли» — литераторам, поэтам, ученым, художникам; в них авторы прокламации видели «всю нравственную силу» страны[5].

Целью своей собственной литературной деятельности Михайлов считал воспитание современного поколения в духе освободительных идей, в духе новой морали, пробуждение энтузиазма, готовности к бескорыст-

---

[1] Статья «Иностранная литература» (разделы: «Экономия и чувствительность.— Машина и человек.— Французские рабочие.— Ткачи в Лионе»), без подписи, «Современник», 1861, № 5. Статья свидетельствует о том, что Михайлов был знаком с работой Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». (См. М. Н. Пеунова, Общественно-политические и философские взгляды Н. В. Шелгунова, М. 1954, стр. 34—38.)

[2] Мнения о степени участия Михайлова в написании прокламации расходятся: некоторые исследователи полагают, что ее писал один Шелгунов, а Михайлов занимался только изданием и распространением. Однако, даже если принять эту точку зрения, не подлежит сомнению, что Михайлов полностью разделял взгляды, изложенные в прокламации.

[3] См. Б. Козьмин, Н. Г. Чернышевский и М. И. Михайлов. «Вопросы истории», 1946, № 7.

[4] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 290.

[5] Там же, стр. 295—296. Следует отметить, что к «аристократии мысли» были причислены в прокламации также фабриканты.

ным жертвам во имя общего блага. Он решительно осуждал буржуазных идеологов, теории которых маскируют «тупой эгоизм и бессмыслие в пониманьи общественных вопросов и гражданских обязанностей» [1]. Все творчество Михайлова 60-х годов проникнуто идеей превосходства общественного над личным, необходимости жертвовать личными интересами для блага своей родины, своего народа. Связь с народом, беззаветное служение его интересам становится критерием социально-этической оценки того или иного деятеля.

Михайлов был социалистом. Знакомство с русской и зарубежной жизнью, с положением трудящихся масс в России и на Западе привело его к убеждению, что только переустройство общественных отношений на основе социалистических принципов может устранить противоречия, раздирающие современное общество. В своей статье о положении европейских пролетариев он защищал «новое экономическое учение» (то есть социалистическое), в котором видел «справедливое стремление к упрочению общего благосостояния масс, а не одних привилегированных сословий». Он доказывал необходимость уничтожения социального неравенства, эксплуатации, «уравнения прав и отношений капиталиста и работника, богатого и бедного», создания такого положения, «когда результат производства составляет собственность трудившегося»[2].

Социалистические взгляды Михайлова, как и других русских революционных демократов, носили утопический характер. Для западных стран он видел выход в уничтожении класса фабрикантов посредством децентрализации производства и образования рабочими с помощью правительственных субсидий небольших производственных ассоциаций. Для России прокламация «К молодому поколению» указывала особый путь социалистического развития через земледельческую общину. «*Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни*; отсюда — *вера в возможность крестьянской социалистической революции* — вот что... поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством»[3],— писал В. И. Ленин о русских социалистах 60-х годов.

Михайлов был революционером. Он понимал, что осуществление демократических и социалистических преобразований в России возможно только революционным путем. Вслед за Чернышевским он стремился проводить в подцензурной печати идею революции. В статье «Последняя книга Виктора Гюго» он прославлял «благородный энтузиазм» (то есть «революционный дух»). Этот энтузиазм Михайлов считал «задатком лучшей судьбы, ожидающей человечество», и противопоставлял его либеральным теориям «мирного развития и постепенного совершенствования»,

---

[1] «Современник», 1861, № 5, Совр. обозрение, стр. 2.
[2] Там же, стр. 1, 2, 23.
[3] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 246.

которые не принесли ничего, «кроме угнетения масс ради мнимого «порядка», кроме постоянных помех всеобщему развитию». В рецензии на «Пермский сборник» Михайлов указывал на закономерность пугачевского восстания. А в нелегальной прокламации авторы прямо требовали полного уничтожения следов крепостного права, установления гражданских свобод, равноправия и самоуправления; они заявляли: «...мы хотели бы, разумеется, чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказываемся от него, но *мы зовем охотно революцию на помощь к народу*» [1]. Прокламация призывала молодежь вести революционную пропаганду среди народа и солдат, искать вожаков, способных возглавить народную революцию. Находясь в ссылке, Михайлов, как свидетельствуют его произведения тех лет, оставался сторонником борьбы против «общей системы нашего управления и нашей жизни», считая, что только такая борьба «не бесплодна»[2].

В революционной деятельности Михайлов сознавал себя наследником революционных традиций прошлого, прежде всего продолжателем дела декабристов. Не случайно эпиграфом для прокламации «К молодому поколению» он и Шелгунов избрали стихотворение Рылеева «Гражданин» и заканчивали воззвание словами: «...да ведут... вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря!» [3]

В центре публицистических выступлений Михайлова стоял вопрос о женском равноправии. Над первыми статьями по женскому вопросу он начал работать еще во Франции в 1858 году. Последняя статья — «Уважение к женщинам» была написана в ссылке и опубликована после смерти писателя.

Статьи Михайлова были встречены с энтузиазмом в демократических кругах и вызвали яростную злобу реакционеров. Они произвели, по свидетельству Шелгунова, «в русских умах землетрясение», и автор их был «провозглашен творцом женского вопроса» [4]. Статьи носили пропагандистский характер; в них была сформулирована программа русской революционной демократии в женском вопросе. С неопровержимой логикой и полемической страстью разбивал Михайлов укоренившиеся веками предрассудки о якобы физической, умственной и нравственной неполноценности женщины. Он требовал коренного изменения образования и воспитания женщин, свободного доступа женщин к высшему образованию и ко всем родам общественной деятельности, предоставления

---

[1] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 298. (Курсив наш.— *Авт.*)
[2] «Записки» (1861—1862); т. III наст. изд.
[3] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 302.
[4] Там же, стр. 104.

им свободы в решении вопросов семьи и брака, полного уравнения с мужчиной во всех гражданских правах и обязанностях. Не имея возможности в условиях царской России писать о предоставлении женщинам полноты политических прав, Михайлов опубликовал перевод статьи английского экономиста Д.-С. Милля, в которой этот вопрос решался положительно.

По идейному содержанию статьи Михайлова были шире, чем их заглавие. Они были направлены против всякого угнетения и порабощения, в том числе и против крепостничества. Сравнивая положение женщины с рабством негров (под которым в русской подцензурной печати подразумевалось крепостное право), Михайлов в статье «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» писал: «...никакие законы... не заставят человеческую личность считать себя от рождения обреченною на рабство»; «...существование в обществе рабства, давая возможность одному классу жить за счет другого, ведет к деморализации...» Раскрепощение женщины рассматривалось Михайловым как составная часть и необходимое условие перестройки всех общественных отношений на основе равенства и свободы. «...Пока женщина не будет идти наравне с нами,— писал он в статье «Женщины в университете»,— мы все будем отставать от движения и лишать его должной силы. Может быть, только в ненормальном положении и воспитании женщин лежит вина тех неурядиц, которые делают наше время переходным и отодвигают нас от цели... Мы верим в способности и в великую будущность русских женщин» [1].

Однако при всей прогрессивности постановки и разрешения Михайловым женского вопроса он допускал ошибку, полагая, что семья является основанием общества и что с нее необходимо начинать социальное переустройство. Поэтому Чернышевский, сам убежденный сторонник женской эмансипации, относился, по свидетельству Шелгунова, к статьям Михайлова без особого энтузиазма [2]. Для Чернышевского женский вопрос был второстепенным, подчиненным основной задаче раскрепощения крестьянства и уничтожения самодержавия.

К 1860—1861 годам относится практическая революционная деятельность Михайлова. Через брата Шелгуновой Е. П. Михаэлиса он был связан с кружком революционно настроенных студентов. П. Д. Боборыкин, попавший на собрание этого кружка вскоре после опубликования манифеста 19 февраля 1861 года об «освобождении» крестьян, писал в своих воспоминаниях: «Они только что читали вслух текст манифеста и потом все начали его разбирать по косточкам. Никого он не удовле-

---

[1] «Современник», 1861, № 4, стр. 507.

[2] См. Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 104—105.

творял... Сильнее и ядовитее всех говорил Михайлов. Он прямо называл все это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения... Тон и содержание его протестов показывали, что этот человек уже «сжег свои корабли» [1].

В крестьянских волнениях 1861 года Михайлов, как и большинство революционных демократов, видел доказательство близости всенародного восстания. По свидетельству П. В. Быкова, он говорил, «что народ просыпается, прозревает, и скоро нужно ждать дня, когда он поднимется и «растопчет многоглавую гидру» (подлинные слова его)» [2].

Стремясь всеми силами способствовать приближению революции, Михайлов принимает самое деятельное участие в осуществлении плана революционной пропаганды, задуманного Чернышевским и группой его единомышленников. В августе 1861 года он сотрудничает с Чернышевским и Лавровым в деле организации литературно-политического «Шахматного клуба», который должен был объединить прогрессивных писателей, ученых и журналистов Петербурга (клуб открылся в январе 1862 года, уже после ареста Михайлова). Михайлов занимался организацией печатания прокламаций «Барским крестьянам» Чернышевского и «Русским солдатам» Шелгунова. После того как была написана прокламация «К молодому поколению», Михайлов летом 1861 года поехал с рукописью в Лондон, где в Вольной русской типографии Герцена она была отпечатана в шестистах экземплярах, и затем тайно привез ее в Петербург. В начале сентября Михайлов и Шелгунов с помощью Михаэлиса и А. А. Серно-Соловьевича распространили прокламацию. Предатель В. Д. Костомаров выдал Михайлова Третьему отделению, и 14 сентября 1861 года писатель был арестован.

Желая отвести подозрения от Шелгуновых, Михайлов взял всю вину на себя и был осужден на шесть лет каторжных работ и пожизненное поселение в Сибири. В годовщину восстания декабристов, 14 декабря 1861 года, над Михайловым был совершен обряд гражданской казни, после которой он в кандалах был отправлен на каторгу.

Суд над Михайловым был первым политическим процессом 60-х годов. Арест и осуждение писателя-демократа вызвали широкий отклик в среде русской интеллигенции. «Михайлов, сосланный на каторгу, стал святым даже для тех, кто не прочел ни одной его строчки...— вспоминал Шелгунов.— Каждый точно чувствовал в Михайлове частичку себя, и процесс его стал личным делом всякого. Карточки его раскупались нарасхват, у Сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его и, если можно, так взглянуть на него» [3]. В Лондоне вышло специальное при-

---

[1] П. Д. Боборыкин, За полвека, М.—Л. 1929, стр. 173.
[2] П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, М.—Л. 1930, стр. 149.
[3] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 31.

бавление к «Колоколу» (15 января 1862 года) — «Михайлов и студентское дело».

Революционный подвиг Михайлова был высоко оценен В. И. Лениным. В статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (1901) он назвал Михайлова в числе «сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации (то есть «коноводов» «революционной партии»)», которых беспощадно истребляло самодержавие [1].

Странствия по тюрьмам и этапам на каторгу не поколебали твердости духа Михайлова, а увиденные картины народных бедствий укрепили его в сознании правильности избранного им революционного пути. Сохранился набросок стихотворного послания Михайлова Герцену и Огареву. Это — декларация верности своим убеждениям, преданности революционному делу, стойкости и готовности на любые жертвы во имя этого дела.

Порой мне горько, что вначале
Пресечено мое служенье делу,
Но не пресечена и не погасла мысль.
Она жива, она сильна,
Мне жизнь и силу дает она,—

писал Михайлов.

В тяжелые годы каторги и поселения Михайлов не оставляет литературного творчества, в котором он видел средство продолжить борьбу с самодержавием. В Сибири им были созданы многие замечательные, проникнутые революционным духом произведения.

По прибытии в Сибирь Михайлов вначале был неофициально освобожден местным начальством от каторжных работ и жил на Казаковском золотом прииске у своего брата, горного инженера. Он воспользовался своим относительно свободным положением, чтобы основать школу и на практике, как он писал в «Записках», «проводить в сознание молодых людей основные начала нравственности и гражданских обязанностей человека». Летом 1862 года на Казаковский прииск прибыли Шелгуновы. Но радость встречи с самыми близкими ему людьми была непродолжительной. Шелгуновы, заподозренные в намерении организовать побег Михайлова, были арестованы, а сам Михайлов был переведен в Кадаю — глухое селение близ китайской границы.

Здесь в августе 1864 года Михайлов встретился с Чернышевским, также сосланным в Сибирь на каторжные работы. Только один год друзья прожили вместе: слабое здоровье поэта не вынесло обрушившихся на него испытаний. «...Русское правительство,— писал Герцен,— сделало

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26, 27.

все, что могло, чтобы избавиться от глубоко презиравшего своих палачей мученика» [1]. 2 августа 1865 года Михайлов умер. В очередном номере «Колокола», вышедшем с траурной рамкой на первой странице, было помещено сообщение о смерти Михайлова с кратким и выразительным заглавием: «Убили».

2

Литературная деятельность Михайлова поражает своим многообразием. Подобно многим революционным демократам-просветителям 60-х годов, он был энциклопедически образованным человеком с разносторонними литературными и научными интересами. Поэзия, проза, драма, художественный перевод, критика и публицистика, история литературы и библиография, этнография и фольклор — таковы литературные жанры и области знания, в которых пробовал свои силы Михайлов.

Эстетические воззрения Михайлова, как и его поэтическое и прозаическое творчество, испытали на себе огромное воздействие эстетики Белинского, принципов реализма, выдвинутых великим критиком в 40-х годах.

Позиция Михайлова в ожесточенных эстетических спорах начала 60-х годов определялась его революционно-демократическими убеждениями: несмотря на некоторые расхождения с Чернышевским и Добролюбовым в понимании значения искусства, известные различия в подходе к литературным явлениям[2], он выступал как их союзник в борьбе за идейность и реализм в искусстве.

Михайлов полагал, что основная цель искусства — «анализировать и воспроизводить в художественно верной картине факты действительности». Для создания подлинно художественной картины действительности, писал он, нужна не «мелочная копировка» всего, что видит художник, и не «украшенное воспроизведение природы», но глубокое «понимание явлений жизни».

Резко полемизируя с защитниками теории «искусства для искусства», Михайлов настойчиво указывал на познавательное значение искусства, сближая его с наукой. При этом он подчеркивал, что искусство имеет особые, свойственные только ему возможности и свой специфический объект познания — духовную природу человека. «Искусство... это та же наука (мы говорим об искусстве слова),— писал он,— наука о человеке, полная гипотез, если хотите, но полная и глубоких проникновений в человеческую природу,— наука тем более высокая и трудная, что предмет ее исследований не поддается осязательному анализу»[3].

---

[1] А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XVIII, П. 1922, стр. 231.

[2] См. подробно т. III наст. изд.

[3] «Современник», 1859, № 11, Совр. обозрение, стр. 129.

Искусство не имеет самодовлеющего значения, утверждал Михайлов, оно служит потребностям общества. В статье «Художественная выставка в Петербурге» «чистому искусству» он противопоставлял искусство, тесно связанное с самыми насущными вопросами современности. Однако служение потребностям общества не понимается Михайловым как ограничение искусства узко утилитарными задачами, для него характерно особое внимание к специфике искусства. Нельзя, указывал он, требовать «от искусства такой же пользы, как от поваренной книги» [1], ибо тогда, как он писал в статье о «Горькой судьбине» Писемского, оно «теряет свою живучесть, свое широкое влияние, неограничиваемое кратким периодом времени». С этой точки зрения Михайлов резко критиковал так называемую «обличительную литературу», направленную против мелких общественных пороков и злоупотреблений, считая ее стоящей вне пределов искусства.

Михайлову всегда была присуща вера в ведущую роль искусства, в его решающее влияние на жизнь общества; он видел в искусстве «руководящую и зиждущую силу». В этой вере сказались идеалистические заблуждения Михайлова, но на ней основывались и те высокие требования, которые Михайлов предъявлял к произведениям искусства и его творцам.

Ставя перед искусством высокую цель воздействия на общество и воспитания его, Михайлов считал, что этой цели может служить только реалистическое искусство. Защита и пропаганда реализма пронизывает и его критические статьи и его публицистику. Михайлов был убежден, что реализм в современном искусстве может возникнуть только на основе передового мировоззрения. В статье «Художественная выставка в Петербурге» он писал, что художники должны быть «прежде всего современными людьми, если хотят быть современными художниками!» А быть «современным человеком» значило для Михайлова, «стоять нравственно в уровень со всем, чего достигло в это время человечество в своем развитии» [2].

Самую художественность произведения Михайлов ставил в зависимость от взгляда писателя на окружающую действительность, от понимания им общественных противоречий. «Яркость красок, определенность и жизненность типов находятся в прямой зависимости от сочувствия к правильному ходу жизни, от скорбного чувства при нарушении ее гармонии, одушевляющих художника»,— замечал он в статье о драме Писемского «Горькая судьбина».

Для Михайлова основным критерием эстетического достоинства художественного произведения служит «верное воспроизведение дейст-

---

[1] «Современник», *1859*, № *11*, Совр. обозрение, стр. *129*.
[2] Там же, стр. 130.

вительности». Реалистическое искусство актуально по своей природе, ибо в нем находит выражение «суд художника над общественными явлениями». Поэтому, писал Михайлов в «Парижских письмах», «всем людям обратного прогресса и хранителям status quo (То есть реакционерам.— *Авт.*) кажутся так отвратительны эти верные изображения действительности...»

Наряду с реализмом, высшими критериями, с которыми Михайлов подходил к оценке творчества того или иного писателя, были народность и демократизм. «Тесная связь певца с народом, связь и кровная и нравственная, одинаковые радости, одинаковые страдания», которые «дали характер чисто народный его песням»,— вот что, пишет Михайлов, составляет достоинство поэзии Тараса Шевченко, обуславливает могущество ее влияния.

И в зарубежных литературах внимание Михайлова привлекали прежде всего писатели-демократы. Он посвящает статью жизни и творчеству Томаса Гуда — «лирического поэта, который сумел... выразить с... глубоким трагизмом скорби бедной и страждущей братии», пишет в этой статье об Эбензере Эллиоте, в котором «общее недовольство народа нашло себе энергического... поэта», и т. д.

Большой интерес представляют статьи Михайлова, связанные с его творческой практикой,— о значении поэзии и «задаче лирического поэта». Именно в области поэзии наиболее резко проявилась борьба сторонников демократического гражданского направления и «искусства для искусства». Михайлов стоял на позициях, общих для всех революционных демократов. Особенно близки его взгляды были суждениям, высказанным Н. П. Огаревым в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861).

Для Михайлова поэзия прежде всего огромный фактор морально-политического воспитания. «Влияние на читателя» — одна из главных целей, к которой должен стремиться поэт. Возможность и сила этого влияния определяются прежде всего правдивостью чувств, выраженных в поэтическом произведении, непосредственностью, органичностью для поэта высказанных мыслей. «Надо только, чтобы поэт черпал содержание своих произведений из глубины своей собственной жизни, своего собственного опыта,— пишет Михайлов в статье «Последняя книга Виктора Гюго».— Только неумытная правда сделает их художественным достоянием каждого... Стоит воображению поэта бросить немножко неверный свет на чувства, волнующие его сердце, и выражение их незаметным образом утрачивает свою правдивость, а с нею и влияние на читателя». Художественность поэзии для Михайлова зависит от глубины и подлинности переживания, гражданской нравственной чистоты его. «Только исходящий из согласия с натурой поэта дидактизм может облечься в художественную форму, а стало быть, и действовать»,—указывал он.

В своей статье, посвященной творчеству Э. И. Губера, Михайлов подверг резкой критике поэзию, в которой стоит «на первом плане своя собственная особа поэта с ...мелкими притязаниями и скорбями». Он требовал, чтобы личные переживания поэта были тесно связаны с общественными вопросами, чтобы источником его вдохновения служили, как он писал в статье о Гюго, «негодование на дикие судьбы нашего общества, сменяющее подчас грусть, порожденную тем же печальным хаосом, окружающим нас», и «смутные чаяния лучшего будущего». Михайлов считал поэзию обязанной активно вмешиваться в жизнь, бороться против деспотического строя, который «душит и убивает все порывы разумной жизни». «Вечно рвущаяся вдаль поэзия» должна быть подчинена задачам революционной борьбы. Тесная связь с революционной практикой обусловила своеобразие поэтического творчества самого Михайлова.

Стремление воздействовать на жизнь проявилось и в понимании Михайловым характера и задач литературной критики. «Дело критики... — считал он,— уяснять смысл художественных произведений». При этом критик должен преследовать две цели, тесно связанные между собой: во-первых, вершить «суд над художественным произведением как над явлением жизни», что «дает критике значение общественное», и, во-вторых, определить, «в какой мере верно действительности воспроизведена жизнь художником», что составляет «эстетическую сторону критики». Критик, способный разрешить обе стоящие перед ним задачи, пишет Михайлов в статье о драме Писемского «Горькая судьбина», представляется ему «идеалом критического дарования». Таким идеалом и был для него Белинский.

Однако в критических статьях самого Михайлова чисто общественные задачи зачастую брали верх над эстетическими. Например, высоко оценивая драму Писемского «Горькая судьбина» как «поразительно верное воспроизведение жизни», Михайлов при ее анализе сосредоточивает свое внимание на изображении автором крепостного деревенского быта и на характеристике героев, представляющих этот быт: крестьянина Анания Яковлева, помещика Чеглова-Соковина и чиновника Шпрингеля. На материале драмы он показывает зависимость характеров людей от общественной среды, «извращенность мыслей и чувств человека под влиянием условий, над ним тяготеющих». Это позволяет ему сделать революционно-просветительский вывод о необходимости коренного изменения крепостнического строя, уничтожения барства и чиновничества — источников «разрушающего, гнетущего влияния на общество» [1].

---

[1] В другом аспекте рассматривал драму Писемского Добролюбов. См. примечания к статье Михайлова о «Горькой судьбине» в т. III наст. изд.

Непосредственно публицистические цели преследовала и статья о сочинениях Д. В. Давыдова. Мы не можем сейчас согласиться с той оценкой, которую Михайлов дал творчеству и личности Давыдова, но основной целью статьи было — утвердить революционно-демократический идеал человека, «истинного гражданина своего времени». Образ поэта-гусара используется в статье как антитеза этому идеалу. Для Михайлова лирический герой Давыдова — один из тех людей, которые, «стараясь избавить от беды свой народ... в то же время оставались как будто чуждыми интересам его и ставили на первом плане свою личную славу». Бранным подвигам, воспеваемым Давыдовым, он противопоставлял самоотверженное служение благу народа, героям-гусарам, «ёрам и забиякам» — «людей истинно полезных, глубоко любивших родину и жертвовавших этой любви всеми своими личными благами» [1]. Подлинный патриотизм в понимании Михайлова неразрывно связывается с преданностью народным интересам.

Так критическая статья становилась для Михайлова средством пропаганды новой морали, воспитания общественных деятелей нового типа, служила делу революции.

3

Поэтическое наследие Михайлова дошло до нас не полностью, мы можем составить только общее представление о творчестве безвременно погибшего поэта-революционера, наметить основные вехи его поэтической эволюции.

Ранние стихи Михайлова, 1845—1847 годов, носят подражательный характер; на них лежит отпечаток эпигонского романтизма. Лишенные конкретного жизненного содержания, они изобилуют поэтическими штампами, условными образами и ситуациями. Вскоре поэт сам назовет «стишками пустыми, слезливыми» свои юношеские произведения, лирический герой которых с душою «печальной и холодной» терзается сомнениями и тревожной тоской; черная дума владеет его бледным челом, у него бремя горестей и бед в прошлом и темная будущность («Дорога» — 1845, «Дума», «Вдохновенье», «Бывают дни...», «Призыв» —1847 и др.). Под стать лирическому герою был и условный поэтический пейзаж, впоследствии иронически охарактеризованный самим Михайловым:

...во мгле туманно-бледный
Лик луны, и листьев шепот,
И ландшафт полночный бедный,
И пруда немолчный ропот...
(«Если б я вас снова встретил...»)

---

[1] «Русское слово», 1860, № 6, отд. II, стр. 79, 86.

Эта ирония над прежними романтическими настроениями появляется в стихах Михайлова вскоре после переезда в Петербург («Если б я вас снова встретил...», «Помню я рощу зеленую...» — 1847, «Бывало, в беседке...» — 1848). В его новых произведениях уже ясно заметны реалистические тенденции. Он откликается на актуальные вопросы литературно-общественной борьбы и решает их как идейный сторонник Белинского. В пору резких нападок славянофилов на Белинского и «натуральную школу» Михайлов публикует острую сатиру «Помещик», в которой разоблачает крепостническую сущность славянофилов. Против эпигонов романтизма, с которыми боролся Белинский, направлены стихотворения «Современный гидальго», «Еще в школе он был...».

Михайлов примыкает к демократическому направлению в поэзии 40-х годов, начало которому было положено стихотворениями Огарева («Кабак», «Изба», «Дорога» — 1841), Тургенева («Человек, каких много» — 1843), Некрасова («В дороге» — 1845, «Тройка», «Псовая охота»— 1846, «Нравственный человек» — 1847 и др.). Именно о таких произведениях Белинский писал: «...это — не стишки к деве и луне; в них много умного, *дельного* и современного» [1].

Поэт обращается к характерным для нового направления темам: жизнь и страдания людей из народа («Груня», «Кабак»), судьба падшей женщины — жертвы уродливых общественных отношений («Надя»), трагедия неравного брака («Хорошая партия»), безрадостная любовь бедняка разночинца («Встреча»). Соответственно изменяется и стиль поэзии Михайлова: отчетливо намечается стремление к реалистическому изображению действительности в ее конкретных бытовых деталях, вводится социально-дифференцированная разговорная речь и т. д. Появляются новые жанры: сатирические куплеты («Помещик»), стихотворный очерк («Еще в школе он был...», «Надя»), рассказ из народной жизни («Груня»); в поэтическую лексику вводятся просторечия и диалектизмы.

Стихи молодого Михайлова еще художественно несовершенны, но они показательны для творческой ориентации поэта в конце 40-х годов. В дальнейшем линия бытового реализма, связанная с «натуральной школой», нашла продолжение не в поэзии Михайлова, а в его прозаическом творчестве.

Следует отметить, что одновременно с общественной тематикой поэт отдал дань и распространенному в те годы «антологическому» роду поэзии и «чистой лирике». В начале «мрачного семилетия» (1848—1855), когда цензура безжалостно изгоняла из печати все, что сколько-нибудь было связано с злободневными общественными вопросами, такая лирика стала преобладать в творчестве Михайлова. Тематика стихов, которые

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, М. 1955, стр. 573.

он посылал в 1849—1851 годах из Нижнего-Новгорода в журнал «Москвитянин», была ограничена кругом интимных переживаний; по своей поэтике они приближались к созерцательной лирике таких поэтов, как Фет, Полонский.

Однако уже в 1852 году Михайлов, вернувшись в Петербург, опубликовал в «Современнике» пародийный «чувствительный роман» «Камелия», в котором зло высмеял оторванную от общественной жизни лирику. В уста героя романа поэта Лиодора он вложил наряду со стихами, пародировавшими лирическую манеру Фета, и свои собственные стихи предшествующих лет. Роман «Камелия» свидетельствовал о том, что поэт окончательно порывает с «чистой лирикой».

После 1852 года Михайлов публикует только переводы; возможно, что его собственные стихотворения не могли выйти в свет в условиях продолжавшейся политической реакции. Немногие сохранившиеся в рукописи стихи этих лет показывают, что поэт обратился к политическим темам. Раздумья поэта над судьбой своей страны и народа отразились в стихотворении «Когда пройдут искуса годы?..» (1853). Другое стихотворение, «Спалй, господь, своим огнем...» (1854), было направлено против казенного патриотизма реакционных литераторов, воспевавших Крымскую войну. Новому содержанию соответствовала новая стилевая манера поэта: ораторская интонация, одический четырехстопный ямб, «высокая» лексика (славянизмы, архаизмы) создавали торжественность и приподнятость поэтического тона.

Политическая лирика заняла преобладающее место в поэтическом творчестве Михайлова в период революционной ситуации. В поэзии, как и в революционной деятельности, Михайлов сознавал себя наследником декабристских традиций. Декабристам посвящено одно из лучших поэтических произведений Михайлова — «Пятеро», утверждавшее бессмертие революционного дела и преемственность революционного движения. Михайлов воскрешает и темы декабристской поэзии. Уже в «Пятеро» возникает декабристская тема «подлинной славы». Влияние рылеевских «Дум» сказалось на стихотворении «Вадим», в котором Михайлов обратился к теме новгородской вольницы. Другой распространенной среди декабристов теме — борьбе республиканцев древнего Рима против императорской власти — посвящено стихотворение «Аррия».

С традициями вольнолюбивой поэзии декабристов и их преемника Лермонтова были связаны и присущие поэзии Михайлова ораторский стиль, волнующая гражданская патетика его стихотворений. Как страстная речь оратора-трибуна звучат стихотворения «Памяти Добролюбова», «О сердце скорбное народа!..», «И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье...» и особенно «Пятеро».

«Пятеро» — это ораторское «слово», обращенное к декабристам, развивающее мысль о том, что память о них бессмертна, ибо она венчает

подлинно «прекрасную жизнь», отданную революционному делу и свободе. Цели наибольшего ораторского воздействия подчинены образы стихотворения, его композиция, ритмическая и звуковая структура.

Скорбно звучит первая часть, в которой поэт повествует о трагической судьбе вождей декабрьского восстания. Построение в виде единого периода, параллелизмы в синтаксическом и ритмическом строении стихов передают интонацию печали и затаенного гнева. Последние строки первой части, говорящие об «упованье» декабристов на победу их дела, подхватываются начальными словами следующей части («И с упованьем, что *пора* придет» — «*Пора* та близко»), которые предвещают осуществление надежд декабристов; но пока говорится лишь о хранящих память о декабристах «живых сердцах», о новых силах, готовых прийти им на смену.

Третья часть представляет собою антитезу первой. «Безвестной», «незнаемой» могиле декабристов, над которой «выровняли землю», противопоставляются «великолепные гробницы» царей, сверкающие «резьбой и золотом», окруженные угодливым почитанием «наемного клира». Если в конце первой части говорилось о надежде декабристов на победу, в третьей предсказывается гибель их врагов. Короткие предложения, обилие переносов (enjambements) создают напряженное беспорядочное движение стиха, который, однако, снова приобретает торжественность, когда доходит до грозного пророчества; эта торжественность усиливается звуковой инструментовкой:

> И п*ра*хом *ра*спадется твердый м*ра*мор —
> Пос*ле*дняя их память на зем*ле*.

В четвертой части, как и во второй, поэт говорит о близости революции («Пора та близко» — «Пора близка»); теперь уже тема революции развивается в аллегорическом образе бури. Напряжение, создаваемое вначале нарастанием («ложью, и коварством, и преступленьем»), усиливается звуковой инструментовкой [1], перечислением имен декабристов, достигает вершины в словах «Буря грянет» и разрешается в строках:

> Под этой бурей дело ваших внуков
> Вам памятник создаст несокрушимый.

В заключении два параллельно построенных противопоставления («Не золото стирающихся букв...» и т. д.; «Не хрупкие гробницы...» и т. д.)

---

[1] Основным моментом звуковой инструментовки этих строк является постепенное нарастание звучности сочетаний *р* с глухими согласными *п* и *к* и соответствующими им звонкими — *б* и *г*: «*Пор*а *бл*изка» — «*бл*изкой *бур*и» — «*рок*от *гр*ома» — «В*раг*ам на*р*ода» — «*Бур*я *гр*янет».

как бы подводят итог всему стихотворению, поэт говорит о подлинной и мнимой славе. Преходящи лицемерные почести, воздаваемые посмертно царям: блестящее золото оказывается «золотом стирающихся букв», прочные гробницы — «хрупкими». Но вечна «святая память» о декабристах, которую хранит народ, «сердца грядущих просветленных поколений». Резкость противопоставлений подчеркнута здесь ритмическими переносами; напротив, последние строки стихотворения о бессмертии революционного дела снова звучат спокойно и торжественно.

Так все художественные средства подчинены основной мысли, логика развития которой организует стихотворение. Все это придает ему большую убедительность и агитационную силу.

Особенности гражданской лирики Михайлова 60-х годов не исчерпываются, однако, продолжением декабристских традиций. В его поэзии появляются черты, отражающие особенности нового этапа освободительного движения.

В отличие от одинокой героической личности, стоявшей в центре декабристской поэзии, от рефлектирующего героя, внутреннюю борьбу и переживания которого раскрывала лирика петрашевцев и отчасти Огарева, лирический герой Михайлова — человек, чья жизнь полностью согласуется с его убеждениями[1], *один из многих* передовых людей своего времени. Не только от своего имени говорит Михайлов в своих стихах; субъект его лирики не только «я», но и «мы» — «друзья», «братский круг» революционных деятелей 60-х годов, неотъемлемым членом которого он себя ощущает.

Высокая гражданственность и патриотизм лирического героя Михайлова неразрывно связаны с самоотверженным служением народу, с которым герой ощущает кровную близость. «*Мой родной*, несчастный *мой* народ»,— восклицает он («Те же всё унылые картины...»). Защищать «Родину-мать», «честь и свободу свою» означает для него — прийти на помощь «бедному, забитому народу». Он твердо верит, что народ в будущем сам «воли добьется» («Смело, друзья! Не теряйте...»). Эти черты роднят поэзию Михайлова с лирикой Некрасова и Добролюбова.

Говоря о нелегальной литературе 50-х годов, Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» замечал, что политическая поэзия при своем возникновении примкнула к революционной публицистике, появившейся раньше[2]. Связь с публици-

---

[1] Именно это качество Чернышевский считал одной из отличительных черт представителя нового этапа освободительного движения — нового героя русской литературы. (Стихотворения Н. Огарева. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 568).

[2] См. Н. П. Огарев, Избранные произведения, т. 2, М. 1956, стр. 500—501.

стикой сказалась и на поэзии Михайлова. Поэт использует конкретное событие общественной жизни (реформы 1861 года, или безвременная смерть друга, выдающегося революционного деятеля Добролюбова, или волна репрессий против революционеров) для агитационного призыва. Так, стихотворение «О сердце скорбное народа!..», которое разоблачало реформу 1861 года и призывало к восстанию, могло восприниматься в одном ряду со статьями и воззваниями революционных демократов, написанными по поводу опубликования манифеста об «освобождении» крестьян [1]. Как и революционная публицистика, стихи Михайлова были непосредственно обращены к широкой демократической аудитории: к народу, к молодому поколению, к друзьям — соратникам по революционной борьбе, и это усиливало их агитационно-пропагандистское звучание. Не случайно такие стихотворения Михайлова, как «Памяти Добролюбова», «Смело, друзья! Не теряйте...», «Крепко, дружно вас в объятья...», превратились в популярные революционные песни.

В рецензии на «Стихотворения А. Н. Плещеева» Михайлов писал: «...слишком обобщенные мысли и чувства, которые он проводит в своих стихах, требуют при новых условиях времени более определенного и прямого смысла для жизни», «...говорить прямо, высказывать все ясно — не только проще, но и полезнее...» Логической ясности, конкретности и простоты Михайлов добивается и в своих стихах. Он отказывается от архаизмов и славянизмов, присущих декабристской поэзии, к которым прибегал еще в 50-е годы, от сложной метафоричности политических стихов Лермонтова, от расплывчатых общих положений и символов поэзии петрашевцев. В стихотворную речь поэт вводит лексику революционно-демократической публицистики — слова так называемого эзоповского языка: «дело» в значении революционная борьба, «злоба» — революционная ненависть, «добро» — прогрессивные идеалы и т. п. В то же время он использует фразеологию и образы-символы революционной поэзии 60-х годов, обладающие большой силой обобщения и эмоционального воздействия («враг народа», «священный бой», «буря», «тучи» и др.). Иногда он развертывает их в целое стихотворение (например, «Вечером душным под черными тучами нас похоронят...»).

Поэтический язык Михайлова прост. Редкие в его стихах метафоры служат тому, чтобы дать истолкование и оценку фактам политической и общественной жизни. Например, ряд метафор из стихотворения «И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье...» раскрывает характер

---

[1] Ср. статью Н. П. Огарева «Разбор нового крепостного права» (1861), каждая часть которой заканчивалась словами: «Народ царем обманут», статью А. И. Герцена «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ» (1861) и др.

и сущность царских реформ 60-х годов («Иль стало зло добром, надев его наряд?»; «змея и в новой коже — // Все прежняя змея, и в ней все тот же яд»; «на вас надели в утешенье // Каких-то мнимых прав заплатанный хитон» и т. п.).

Традиции гражданской лирики Михайлова нашли продолжение в творчестве поэтов пролетарской революции. На известных песнях, написанных одним из видных революционеров-марксистов Л. П. Радиным, «Смело, товарищи, в ногу...» и «Смелей, друзья, идем вперед...» прямо сказалось влияние стихотворений Михайлова.

В последние годы жизни Михайлов вновь обращается к интимной лирике. С большой искренностью выражены в его стихах этих лет переживания человека, вся жизнь которого связана с «делом великим» революции, который стремится к «радости, любви, борьбе, свободе», но обречен на бесплодное, «глухое» существование и медленную смерть в далекой ссылке. Волнующие простотой, чистотой и глубиной чувства, его стихотворения, обращенные к Л. П. Шелгуновой, раскрывают свойственные революционным демократам новое, подлинно гуманистическое понимание любви, новое отношение к любимой женщине как другу и товарищу в жизни и борьбе. В его любовной лирике 60-х годов особенно ясно сказалась присущая всей его поэзии органическая, неразрывная связь личного, интимного с общественным.

Тонкой реалистической передаче психологии чувства, живой конкретности переживания способствует метрическое и интонационное разнообразие лирики Михайлова. Обращает на себя внимание в стихах пейзаж. Скупые точные детали воспроизводят характерные черты местности, где поэт провел последние годы жизни («Грусть ко мне в сердце назойливей просится...», «Вечерний ветер встал и по ущельям стонет...», «Снова дней весенних...» и др.). Пейзаж, обстановка, в которой живет герой, связаны с его переживаниями, как бы обусловливают их, приобретая иногда значение символа («Зимние вьюги завыли...»).

В 60-е годы Михайлов написал ряд сатирических стихотворений, часть которых, очевидно, утрачена. До нас дошли сатиры «Апостол Андрей» и «Гипербореи»; в них Михайлов протестует против смирения и покорности, воспитанных в народе веками угнетения. Эти стихотворения стоят рядом с другими произведениями Михайлова, целью которых было пробуждение народа, воспитание его революционного самосознания.

Идейная зрелость и высокое художественное мастерство присущи сатирическим стихам и эпиграммам Михайлова периода ссылки. Ими поэт откликался на важнейшие события политической жизни: реформы 60-х годов, подавление польского восстания 1863 года и др. Не предназначавшиеся для печати, эпиграммы и сатирические стихи Михайлова

отличаются большой политической остротой. Сжатые, отточенные, построенные на каламбуре, неожиданных концовках, они по праву принадлежат к лучшим произведениям революционной сатиры 60-х годов.

4

Центральное место в творчестве Михайлова занимала переводческая деятельность, которую он не прекращал до конца своей жизни. Блестящий знаток зарубежных литератур, свободно владевший несколькими иностранными языками, он был одним из наиболее выдающихся русских поэтов-переводчиков XIX века, уступая одному, может быть, только Жуковскому. Михайлов переводил и прозу, но основным для него был поэтический перевод. Число его переводных стихотворений, дошедших до нас (более 400), примерно в четыре раза превосходит число оригинальных. Современники знали и ценили Михайлова прежде всего как поэта-переводчика. «Немногие из наших оригинальных поэтов высказали столько самобытности и такое богатство внутреннего содержания, как Михайлов своими переводами»,— писали авторы нелегальной брошюры «На смерть Михайлова» [1].

Михайлов был не только переводчиком, но и выдающимся теоретиком перевода, внесшим большой вклад в развитие отечественной переводческой культуры. И в этой области он исходил из теоретических воззрений Белинского, которые развил дальше, обобщив переводческую практику своего времени.

В вопросах перевода, как и во всей своей деятельности, Михайлов руководствовался просветительскими и демократическими принципами. Цель перевода он, вслед за Белинским, видел в том, чтобы «усвоить русской литературе» лучшие произведения зарубежных писателей. «Близкое знакомство с классическими писателями других народов,— писал Михайлов в рецензии «Шиллер в переводе русских писателей»,— расширяет умственный кругозор нации, вносит свежие элементы и в язык и в сферу мысли. Это международное общение есть один из самых действительных двигателей человечества по пути прогресса».

Михайлов придавал большое значение выбору произведений для перевода. Обогащению национальной культуры, считал он, могут служить только те произведения, в которых воплощены прогрессивные, демократические идеи. В то же время он требовал, чтобы выбранное произведение отличалось высокими художественными достоинствами, без чего перевод не могут оправдать ни идеи, заключенные в оригинале,

---

[1] «Литературное наследство», 25—26, М. 1936, стр. 597.

ни имя его автора, ни, наконец, достоинства самого перевода. Михайлов указывал также, что не следует ограничиваться привычным кругом западноевропейских литератур. Он приветствовал деятельность переводчиков, обратившихся к поэзии славянских и скандинавских народов, а также народов Азии (Н. В. Берга, А. Н. Плещеева).

Наследие Михайлова, поэта-переводчика, чрезвычайно разнообразно. Он переводил произведения более чем шестидесяти поэтов различных стран Европы, Азии и Америки, от древних времен до современной эпохи. По мере развития творчества Михайлова все яснее выявлялись основные принципы выбора, которыми руководствовался поэт.

В юношеские годы перевод носил бессистемный характер, хотя и занимал значительное место в творчестве начинающего поэта. Михайлов публиковал переводные стихотворения вперемежку с оригинальными, не делая между ними принципиального различия. Круг литератур, из которых он выбирал в это время произведения для перевода, довольно традиционен: это в основном — немецкая литература, затем — французская и древнегреческая, изредка — английская. В самом выборе много случайного. Правда, уже наметились поэты, к творчеству которых Михайлов непрестанно обращался всю свою жизнь — Гейне и Гете. Он переводил также Шиллера, Байрона, Гюго. Но наряду с этими именами великих европейских поэтов можно встретить и реакционера Шатобриана, и представителя поэзии рококо Мильвуа, и Редвица, которого сам Михайлов впоследствии назвал «бездарнейшим католическим романтиком», и др. Поэт в это время еще пробовал свои силы, искал своего пути в переводе, как и в оригинальном творчестве. В этой связи интересно свидетельство Шелгунова, который сообщает, что, когда он познакомился с Михайловым, «его (Михайлова.— *Авт.*) литературная физиономия не выяснилась еще вполне. Сам Михайлов считал себя беллетристом и, кажется, мало ценил себя как переводчика и знатока иностранной литературы» [1].

Поэтический перевод становится основой литературной деятельности Михайлова в период его творческой зрелости. Значительно расширяется круг интересов Михайлова, он обращается к поэтам Азии, Америки, восточной Европы. Его переводы второй половины 50-х годов объединяет общая культурно-просветительская демократическая направленность. Большинство из переводившихся им произведений появлялось впервые на русском языке.

Наибольшее внимание Михайлов по-прежнему уделяет Гейне и переводит помимо стихов также его прозу («Путевые картины»). Активно сотрудничает Михайлов в предпринятом Н. В. Гербелем издании сочинений Шиллера в переводе русских писателей. С 1858 года Михайлов

---

[1] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 96.

начинает публиковать переводы из восточных литератур: персидской, индийской, китайской и др. Его привлекают и демократические поэты Запада: английские — Бернс, Байрон, Гуд, немецкие — Шамиссо, Ленау, Гартман, Фрейлиграт, венгерский — Петефи, стихотворения которого до Михайлова на русский язык не переводились, американский — Лонгфелло, и др. В 1860 году Михайлов начинает переводить стихотворения великого украинского поэта-революционера Шевченко, с которым он был лично знаком. Если Михайлов в эти годы иногда обращался к творчеству поэтов, идейно чуждых ему (например, Уланда, Теннисона), то он выбирал стихотворения, проникнутые фольклорными мотивами, написанные в духе народных песен. Переводил Михайлов и произведения народного творчества, песни, баллады,

Деятельность Михайлова по ознакомлению русских читателей с зарубежными литературами не ограничивалась переводами; она продолжалась в критических и публицистических статьях, в которых писатель откликался на различные явления литературы Европы и Америки. Он писал о великих английских реалистах—Диккенсе и Теккерее и французских демократических поэтах-песенниках — Дюпоне и Потье, популяризировал творчество английской романистки Джордж Элиот и американца Готорна, анализировал поэзию Гюго и Лонгфелло и т. д.

Начиная с конца 50-х годов Михайлов все чаще использует перевод как средство пропаганды передовых идей, позволяющее обходить препоны и рогатки цензуры. Такой характер носило, например, опубликование переводов ряда стихотворений Гейне, «Белого покрывала» Гартмана, воспевавшего революционную стойкость, «Песни о рубашке» Гуда, которые получили широкое распространение в демократических кругах. Появление в «Современнике» в 1861 году после «освобождения» крестьян антирабовладельческих «Песен о неграх» [1] Лонгфелло явилось замаскированным политическим выступлением революционной демократии против крепостничества.

В 1861 году Михайлов намеревался подвести первый итог своей переводческой деятельности: он начал готовить издание своих стихотворных переводов. Арест и ссылка лишили поэта возможности довести издание до конца, и оно было осуществлено его друзьями в 1862 году в Берлине.

В годы ссылки Михайлов посвящает свое переводческое творчество главным образом делу революционной пропаганды, рассчитывая на то, что хотя бы часть произведений дойдет до публики. Идеей борьбы против тирании проникнуты его переводы «Скованного Прометея» Эсхила и «Прометея» Гете. Он переводит наиболее социально

---

[1] В настоящем издании печатаются под более поздним заглавием: «Песни о невольничестве».

острые произведения Гейне — «Enfant perdu», «Оборванцы», «Порядок вещей», «Юдоль плача», «Вицли-Пуцли», стихотворения поэтов, связанных с революционной и национально-освободительной борьбой европейских народов («К польке-матери» Мицкевича, «Завещание» Шевченко, «Мир вам, почившие братья!..» Мура, «Военный гимн» Ригаса) и с антифеодальным демократическим движением 40-х годов в Германии (Гервега, Руге, Гофмана фон Фаллерслебена и др.). В ссылке Михайлов готовит издание сборника песен великого революционного поэта Франции Беранже.

Наконец в последние годы жизни Михайлов переводит близкие его настроениям стихи о неволе, изгнании, заточении. Это — «Изгнание» Гуда, «Жена каторжного» Барри Корнуола, «Птичка-изгнанница» Ипсиланти, некоторые из песен Беранже. Благодаря усилиям друзей Михайлова многие из его переводов, сделанных в ссылке, были опубликованы под разными псевдонимами в 60—70-е годы, причем некоторые еще при жизни поэта. Так в 1863 году появился перевод «Скованного Прометея» Эсхила, воспринятый современниками как гневный вызов, который томившийся в неволе поэт бросал своим палачам.

Революционная направленность переводов Михайлова не раз вызывала беспокойство царских властей. Чиновник особых поручений министерства внутренних дел граф П. И. Капнист в своем «Очерке направления русской лирической поэзии с 1854 по 1864 год включительно», составленном по указанию министра, назвал Михайлова первым из поэтов, которые, по мнению автора, «обратились к переводам с иностранных языков тех именно лирических пиес, в которых изображены яркими красками неудовлетворительные стороны общественной жизни на Западе со всеми язвами пролетариата, и в этих переводах стараются внешними формами стиха, выражений или переделкой содержания напомнить некоторые явления из нашей жизни» [1].

Многие переводы Михайлова подвергались цензурным искажениям или запрещались к переизданию. Даже в 1889 году, через двадцать четыре года после смерти поэта, цензор, просматривавший собрание его переводов, отметил ряд стихотворений, указывая, что «одни могут послужить к возбуждению негодования к высшим сословиям, другие же оскорбляют религиозное чувство» [2]. Некоторые переводы Михайлова могли быть напечатаны только в советское время.

Основным вкладом Михайлова в русскую переводную поэзию были стихотворения Гейне. Для Михайлова Гейне был самым любимым из зарубежных поэтов. В произведениях Гейне он ощущал то «согласие

---

[1] Сочинения гр. П. И. Капниста, т. II, М. 1901, стр. 419.

[2] М. Л. Михайлов, Полн. собр. стихотворений, Academia, М.—Л. 1934, стр. 654.

подлинника с собственным настроением», которого сам требовал от переводчиков. Сохранившиеся переводы Михайлова из Гейне (а они сохранились далеко не полностью) составляют почти треть его поэтического наследия в области стихотворного перевода.

Творчество Гейне пользовалось в России широкой популярностью; первые переводы появились еще в 1820-е годы. Период общественного подъема и революционной ситуации в России (конец 50-х — начало 60-х годов) — время наибольшего интереса к Гейне и массового перевода его произведений. В то время как реакционный лагерь злобно хулил немецкого поэта — атеиста и революционера, революционные демократы, высоко оценивая творчество Гейне, стремились раскрыть подлинное его значение; они боролись против попыток канонизировать искаженного «сентиментально-лирического Гейне», представавшего в переводах сторонников «чистого искусства» — Фета, Майкова и др. Чернышевский отмечал историческую прогрессивность Гейне, причисляя его к людям, «которыми гордится новая европейская литература»; они, писал Чернышевский, «вдохновляются стремлениями, которые движут жизнью нашей эпохи»; их произведения «внушены идеями гуманности и улучшения человеческой участи» [1]. Поэзией Гейне увлекался и Добролюбов, считавший, что немецкий поэт полагал «весь смысл искусства и философии в том, чтобы пробуждать от сна задремавшие силы народа» [2].

Единомышленник Чернышевского и Добролюбова, Михайлов воспринимал поэзию Гейне с революционно-демократических позиций. В предисловии к «Песням Гейне» он писал: «Гейне родился вместе с веком...и все волнения и тревоги времени отразились в его произведениях». «По праву ставят его во главе литературной школы, которую именуют обыкновенно «юною Германией», «Гейне был барабанщиком этого воинственного легиона». В то же время Михайлов характеризовал Гейне как «лирического поэта, певца любви и природы» и замечал: «Едва ли не это титло дает ему главное право на долгую жизнь в потомстве» [3]. В своих переводах Михайлов стремился представить творчество Гейне во всем многообразии, показать его как тончайшего лирика и пламенного борца, глубокого мыслителя и язвительного сатирика.

Михайлову больше, чем кому-либо из переводчиков XIX века, удалось передать неповторимое своеобразие творчества немецкого поэта. Добролюбов в своей рецензии на «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова» назвал их, несмотря на имевшиеся ранее переводы, «первою лите-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 302.

[2] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. I, М. 1934, стр. 213.

[3] Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова, СПБ 1858, стр. IX—XIII.

ратурною попыткою издания Гейне в русском переводе» и отмечал, что Михайлов «лучше всех других передавал силу впечатления, оставляемого в читателе стихами Гейне» [1]. А в 1919 году А. А. Блок, подводя итог деятельности русских переводчиков Гейне, говорил, что Михайлов «до сих пор по качеству своих переводов не превзойден никем», «большая часть из них — настоящие перлы поэзии» [2]. Показательно, что крупнейшие русские композиторы XIX века, которые вдохновлялись поэзией Гейне,— Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, Ц. А. Кюи, М. А. Балакирев, А. К. Лядов и др.,— писали романсы на текст переводов Михайлова.

Михайлов-переводчик был в подлинном смысле «взыскательным художником». Он неутомимо работал над своими переводами, возвращался к сделанным раньше и переделывал их заново, стремясь достигнуть возможно большей точности и художественного совершенства. Многие его переводы из Гете, Шиллера и особенно из Гейне имеют по две-три редакции.

Это стремление к точности перевода было для Михайлова глубоко принципиальным. Рассматривая перевод как одну из форм просветительской деятельности, он считал, что подлинный переводчик «имеет прежде всего в виду познакомить как можно ближе, сколько позволяют его силы, с избранным им подлинником читателей, лишенных возможности узнать сочинение в оригинале» [3]. Именно то обстоятельство, что для читателя оригинал недоступен, требует от переводчика прежде всего добросовестности. «Добросовестность,— писал Михайлов в рецензии на перевод «Фауста» Гете Н. Грековым,— великое дело в переводчике. Она ставит высоко и не сильные дарования; тогда как без добросовестности и хорошие стихотворцы падают очень, очень низко».

Важнейшей заслугой Михайлова-переводчика и теоретика перевода является то, что он отчетливо сформулировал требование точного воссоздания формы переводимого поэтического произведения.

В этом отношении теория Михайлова, равно как и его практика, явились новым этапом в развитии переводческого искусства в России.

До середины XIX века критика обычно не требовала точной передачи в переводе характерных черт поэтической формы, особенно в лирических стихотворениях. Более того, самая возможность и целесообразность такой передачи зачастую подвергались сомнению. Правда, Белинский указал однажды: «Так как форма всегда соответствует идее, то размер отнюдь не есть случайное дело,— и изменить его в переводе

---

[1] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. I, М. 1934, стр. 366, 367.
[2] А. А. Блок, Собр. соч., т. XI, Л. 1934, стр. 226, 228.
[3] «Русское слово», 1860, № 8, отд. II, стр. 43.

значит поступить произвольно»[1], но эта мысль не получила у него дальнейшего развития.

Михайлов в своих статьях обосновал необходимость сохранения формы в переводе. «В художественном произведении,— писал он, анализируя перевод «Фауста»,сделанный Н. Грековым,—форма постоянно обусловливается содержанием, в ней не может быть ничего произвольного. Мы говорим как о форме в обширнейшем смысле, то есть о постройке всего произведения, о согласии между идеей и образом, являющимся для ее воплощения, так и о форме в более тесном, но чрезвычайно важном значении, а именно об языке, о стихе, о метре».

Вопрос о правильной передаче художественных средств оригинала ставился Михайловым отнюдь не формалистически. Рассматривая форму и содержание в единстве, он требовал прежде всего проникновения в идейное содержание подлинника, понимания смысла его формы, «того проникновения духом подлинника, которое сообщает переводу характер почти оригинального, не заимствованного произведения» [2].

С другой стороны, считал Михайлов, переводчик должен сделать новую форму органичной, естественной, «усвоить» ее русскому языку. Для этого недостаточно механического воспроизведения внешних признаков строфики, размера и т. д., но нужно подлинное овладение формой в ее новом языковом воплощении, нужна, как он писал в рецензии «Шиллер в переводе русских писателей», «твердость руки гения, распоряжающегося языком, как покорным своим орудием».

В своей переводческой практике Михайлов сознательно стремился к точному воспроизведению оригинала и работал над «усвоением» новых стихотворных форм. Бывали, однако, случаи, когда поэт, подчиняясь укоренившейся традиции «вольных переложений», нарушал провозглашенные им самим принципы и отступал от формы подлинника. Так, например, в переводе «Песни Миньоны» Гете он заменил ямбы амфибрахиями и смежные рифмы опоясывающими, в «Прощании Гектора» Шиллера вместо хорея употребил дактиль и т. д. Правда, такие нарушения встречаются у Михайлова значительно реже, чем у других переводчиков его времени. На переводах Михайлова не могло не отразиться и общее состояние современной ему поэтической культуры. В частности, он обычно передавал акцентный стих, встречавшийся у английских и немецких поэтов (в том числе и у Гейне), правильными русскими силлабо-тоническими размерами, согласно почти повсеместной практике его времени.

Блестящим примером «усвоения» новой для русской поэзии стихотворной формы может служить михайловский перевод цикла стихотворе-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т.V, М. 1954, стр. 287.
[2] «Русское слово», 1859, № 10, отд. II, стр. 32—33.

ний Гейне «Северное море». Безрифменные вольные стихи, отличающиеся от прозы лишь внутренней музыкальностью, не были приняты в русском стихосложении. Обычный для времени Михайлова способ — переложение необычной формы на привычный русский размер — представлялся поэту своеволием, он считал необходимым «удержать» форму подлинника[1].

Глубокое осмысление цикла, творческое воссоздание на русском языке «стройности, благозвучия и поэзии» при сохранении вольных ритмов подлинника позволили Михайлову передать музыкальное звучание стихотворений и обогатить русскую поэзию произведением, которое до сих пор остается классическим образцом переводов из Гейне. Особую трудность для перевода представляли многочисленные в стихотворениях цикла составные немецкие слова, которые сообщают произведению Гейне совершенно своеобразный характер. Михайлов справился с задачей, не погрешив против правильности русского языка и в то же время передав это своеобразие немецкого оригинала[2].

Сопоставление переводов Михайлова с оригиналами наглядно показывает, насколько он был точен, как малы были допускаемые им неизбежные в стихотворном переводе отступления от подлинника. Одним из ярких примеров является перевод «Песни о рубашке» Т. Гуда[3]. Первое,

---

[1] См. в наст. томе предисловие Михайлова к этому переводу.

[2] Один из многочисленных примеров:

Und immer dich suchte,	Все только искал тебя,
Du Immergeliebte,	Вечно-любимая,
Du Langstverlorene,	Давно-утраченная,
Du Endlichgefundene...	Наконец-обретенная!

(*«Морской призрак»*)

Ср. также первую строку стихотворения в цикле «Песни»: «Как из пены волн рожденная», которая буквально передает немецкую строку: «Wie die Wellenschaumgeborene».

[3] Строфы 1 и 5 английского оригинала:

With fingers weary and worn,
With eyelids heavy and red,
A woman sat, in unwomanly rags,
Plying her needle and thread —
Stitch — stitch — stitch!
In poverty, hunger and dirt,
And still with a voice of dolorous pitch
She sang the «Song of the shirt!»

. . . .

«But why do I talk of Death!
That phantom of grisly bone,
I hardly fear his terrible shape,
It seems so like my own —

что бросается в глаза при сопоставлении с оригиналом,— это текстуальная точность перевода. Кроме строки «Здоровье не явится вновь» (она введена поэтом, чтобы закончить строфу весьма существенным для смысла произведения словом «кровь»), все образы перевода, все художественные детали так или иначе содержатся в подлиннике. Некоторые строки даже представляют собою дословный перевод, но при этом они не утрачивают поэтического звучания, например: «В грязи, нищете, голодна» или замечательные по силе гневного протеста слова: «О боже! зачем это дорог так хлеб, // Так дешевы тело и кровь?». В других случаях поэт передает не текст, а образы подлинника, например: «сердце не дрогнет мое», «костлявая гостья» и т. д.

Все эти характерные черты михайловского перевода становятся особенно ясными, если сопоставить его с близкими по времени другими переводами «Песни о рубашке» — Д. Д. Минаева (1866) и Д. Л. Михаловского (1864). Минаев, например, вольно пересказывает содержание подлинника, нарушая последовательность его изложения; не удовлетворяясь простотой образов Гуда, он дополняет их. Например: «Поет и шьет она, *спины не разгибая, // Рукой усталою едва держа иглу*» или «Всегда голодная, *ведь я едва жива*». Михаловский придает своему переводу несвойственную оригиналу метафоричность: «Худобой черты мне исказила // *Горькой нужды жесткая рука*» и т. п. Все это лишает переводы Минаева и Михаловского той суровой лаконичности и сдержанной страсти, присущей произведению Гуда, которую удалось передать Михайлову.

Добиваясь адекватной передачи художественной формы оригинала[1] Михайлов сохранил неравномерное чередование трех- и четырехударных строк, порядок и характер рифмовки (мужские окончания — abcbdede) и в ряде случаев точно воспроизвел те необычно резкие и выразительные строки, состоящие только из трех ударных слогов, которые придают стихотворению особую напряженность (в приведенном примере: «Stitch—stitch—stitch!» — «Шьет—шьет — шьет!»). В тех случаях, когда точная

It seems so like my own,
Because of the fasts I keep;
Oh God! that bread should be so dear,
And flesh and blood so cheap!»

(С пальцами усталыми и стертыми, с веками тяжелыми и красными, сидит женщина в неженском тряпье, упорно работая иглой с ниткой. Стежок — стежок — стежок! В нищете, голоде и грязи. И все же заунывным голосом она поет «Песню о рубашке»...

«Но зачем я говорю о Смерти! этом страшном костлявом призраке. Едва ли меня испугает ее ужасный вид, она так похожа на меня, она так похожа на меня из-за постов, которые я соблюдаю. О боже! что это хлеб так дорог, а плоть и кровь так дешевы!»).

[1] См. в наст. томе прим. М. Л. Михайлова к переводу этого стихотворения.

передача формальных особенностей оригинала была невозможна, Михайлов стремился достичь того же художественного эффекта, используя аналогичные стилистические средства. Так, параллелизм в строении первых двух строк оригинала он заменяет лексическим повтором: «Затекшие пальцы *болят*,// И веки *болят*...» В пятой строфе частично воспроизведен содержащийся в оригинале повтор: «Я стала *похожа* сама *на нее*.// *Похожа* от голоду я *на нее*» и т. д. Все это позволило поэту передать не только содержание, но и эмоциональный тон произведения.

Интересным опытом была работа Михайлова над переводом песен Беранже. Первые попытки относились еще к 1859 году («Прощание», «Залоги»), но в следующем году Михайлов высказывал сомнение в переводимости произведений Беранже [1]. Затем он снова вернулся к ним в ссылке. Михайлов несомненно знал знаменитые переводы В. С. Курочкина (во всяком случае большую их часть, вышедшую до 1861 года), но искал новых, своих путей разрешения этой сложнейшей переводческой задачи, причем обращался и к тем стихотворениям, которые уже перевел Курочкин. Совпадение выбора объясняется идейной близостью обоих переводчиков, методы же перевода у них были различны.

Сравнивая стихотворения Михайлова и Курочкина, мы убеждаемся, что переводы Михайлова по содержанию почти всегда ближе к оригиналу. Точнее, чем Курочкин, воспроизводит он и размеры оригиналов, стремится удержать их песенный характер, тогда как Курочкин часто придавал стихотворениям Беранже вид устного рассказа. Наконец Михайлов сохранял в переводах соответствующий национальный колорит, а Курочкин, напротив, «руссифицировал» их, за что его упрекал в свое время Добролюбов [2]. Однако, несмотря на все достоинства переводов Михайлова, нельзя не признать, что он часто уступал Курочкину в остроте выражения, в легкости и изяществе стиха, и, конечно, в сознании русских читателей XIX века поэзия Беранже связывалась прежде всего с именем Курочкина, а не Михайлова [3].

Поэтическое наследие Михайлова-переводчика не утратило своей ценности и в наши дни. Лучшие его переводы, до сих пор непревзойденные по мастерству, продолжают включаться в советские издания классиков мировой литературы: Гейне, Беранже, Гете, Шиллера и др.

---

[1] «...он (Беранже.— *Авт.*) или совсем непереводим, или... нужно браться за перевод его несколько иначе» («Сборник стихотворений иностранных поэтов», Переводы В. Костомарова и Ф. Берга. «Современник», 1860, № 12, Совр. обозрение, стр. 289).

[2] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. I, М. 1934, стр. 472.

[3] Этому отчасти способствовало и то обстоятельство, что значительная часть переводов Михайлова из Беранже не была опубликована до советского времени.

5

В творческом наследии Михайлова художественная проза занимает второстепенное место. Бо́льшая часть его прозаических произведений — главным образом те, что написаны до ссылки,— лишена значительных художественных достоинств. И хотя романы и повести Михайлова пользовались успехом у современников и сыграли положительную роль в развитии литературы 50-х годов, в настоящее время большинство их во многом утратило свой интерес.

Михайлов дебютировал как прозаик в пору «мрачного семилетия». Однако его первое прозаическое произведение — повесть «Адам Адамыч» (1851) — свидетельствовало о верности молодого писателя традициям реализма 40-х годов. Во второй редакции повести это было подчеркнуто и посвящением И. С. Тургеневу — автору поэмы «Помещик» и «Записок охотника».

В своей повести Михайлов рассказал незамысловатую историю гувернера-немца, сентиментального идеалиста, который стал жертвой пошлости и грубости нравов провинциальной помещичьей среды. Прототипом героя послужил немец — воспитатель Михайлова в детские годы. Верность писателя принципам «натуральной школы» сказалась и в сатирическом пафосе, пронизывающем картины косного помещичьего быта, и в глубокой гуманистической симпатии к «маленькому человеку», беззащитному перед произволом, жестокостью и тупым невежеством, окружающими его.

Мнения критики по поводу повести Михайлова резко разделились. И. И. Панаев в «Современнике» писал, что «Адам Адамыч» — «замечательная повесть», которая «обнаруживает... дарование несомненное» в начинающем писателе [1]. Сотрудники же славянофильского «Москвитянина» (В. И. Даль, А. А. Григорьев), несмотря на то, что повесть печаталась в этом журнале, отнеслись к ней отрицательно.

Это отрицательное отношение славянофильской критики к прозаическим произведениям Михайлова не изменилось и в дальнейшем. Писателя обвиняли в грязи, в грубости, в привычке нести в литературу все, что «увидишь на улице, во имя естественности и верности действительности» [2]. Резко отрицательное отношение славянофилов к Михайлову основывалось не столько на действительных недостатках его произведений (отсутствие глубины в раскрытии противоречий действительности, схематизм психологического рисунка и т. п.), сколько на неприятии

---

[1] «Современник», 1851, № 12, отд. VI, стр. 152, 153.

[2] «Москвитянин», 1852, май, кн. 2, отд. V, стр. 137 (из отзыва о повести «Кружевница»).

критиками «Москвитянина» реалистических принципов «натуральной школы», которым следовал писатель в своем творчестве 50-х годов.

В 1852 году Михайлов публикует ряд сатирических рассказов, обличавших обывательскую рутину и духовное убожество провинциальной жизни, с которой писатель близко познакомился во время своего пребывания в Нижнем-Новгороде («Он. Дневник уездной барышни», «Поэт», «Сынок и маменька»). Другие рассказы и очерки Михайлова изображали «бедных людей» города, тружеников, которые живут, считая гроши, еле сводя концы с концами. Скудная событиями жизнь мелких чиновников, их маленькие радости и печали показаны в рассказе «Скромная доля» (1852); герои очерка «Кухмистерша» (1853) — разношерстный городской люд, посетители небольшой кухмистерской на Васильевском острове; в повести «Наш дом» (1855) рассказывается о бедных обитателях петербургского доходного дома. Михайлов становится признанным бытописателем этой среды. В статье «Отечественных записок» «Русская литература в 1852 году» отмечалось, что «низший класс городского населения... никто не умеет так хорошо рисовать, как г. Михайлов» [1].

В 1853 году был опубликован роман Михайлова «Марья Ивановна», вызвавший ряд откликов современников. Роман был высоко оценен молодым Чернышевским, внимание которого привлек образ Александра Петровича Крутоярова, нового героя в литературе 50-х годов. Крутояров — один из тех разночинцев-провинциалов, которым книги открывали глаза на убожество окружающей среды; пешком отправлялись они в столицу с целью приобрести знания и с надеждой найти счастье. Крутояров терпит крушение своих надежд, связывает жизнь с пустой и никчемной женщиной и гибнет, задавленный нуждою, бессильный бороться за свое существование.

Молодой Чернышевский видел в Крутоярове «глубоко задуманный характер» и отмечал как главную отличительную черту этого характера «застенчивую гордость», приведшую героя в конечном итоге к гибели. Возражая тем, кто считал причиною бедственного положения Крутоярова его безволие и пассивность, Чернышевский, как бы дополняя Михайлова, разъяснял смысл образа, созданного писателем: «Он (Крутояров.— *Авт.*) не трудится, потому что нет у него побуждения трудиться, потому что не для кого и незачем ему трудиться... Есть люди, которые работают во что бы то ни стало, лишь бы работать; случится важное дело, они делают важное дело; нет важного дела, они работают с таким же усердием над пустяками. Но есть другие люди, которые любят труд тогда только, когда он ведет к чему-нибудь, когда он кому-нибудь и на что-нибудь нужен. К последнему разряду принадлежит Александр Петрович». У человека должна быть настоящая цель в жизни, иначе он

[1] «Отечественные записки», 1853, № 1, отд. IV, стр. 20.

не устоит в борьбе с окружающей пошлостью и нуждой,— говорил Чернышевский. «Нужда! Чего не делает нужда! Не ищите в людях героической твердости против нужды»,— заканчивал он свой отзыв [1].

Следующий роман Михайлова — «Перелетные птицы» (1854) был посвящен изображению жизни провинциального театра. В основу романа были положены наблюдения и театральные впечатления Михайлова в пору пребывания в Нижнем-Новгороде, где он был завсегдатаем местного театра. По свидетельству историка этого театра, в «Перелетных птицах» «можно встретиться с главными персонажами нижегородской сцены 1849 и двух-трех последующих годов...» [2] Произведение, несмотря на довольно шаблонный романический сюжет, представляет интерес богатой галереей образов актеров, от премьера до последнего статиста, реалистическими зарисовками театрального быта.

В прозе Михайлова 50-х годов постепенно начинает все более отчетливо звучать тема социальной несправедливости. Так, повесть «Кружевница» (1852) рассказывает о судьбе бедной кружевницы Саши, соблазненной богатым бездельником и затем брошенной им после приезда его невесты. Писатель несколько идеализирует свою героиню, противопоставляя моральную чистоту бедной девушки распущенности и эгоизму «заезжего барина» [3]. Для Михайлова история Саши — типичное явление в обществе, разделенном на имущих и неимущих, сильных и бесправных. Он показывает, что трагедия обманутой девушки нимало не нарушает душевного равновесия виновника ее несчастья: «...он казался совершенно спокойным, *как будто все шло самым обыкновенным образом*» [4]. Участь Поли, подруги Саши, как бы указывает на возможное будущее кружевницы: жизнь на содержании, постоянные унижения и оскорбления.

Еще более трагична судьба Фроси — героини рассказа «Голубые глазки» (1855). Девушка-сирота, отданная в золотошвейную мастерскую и получающая за свой труд ничтожную плату, она, чтобы заработать несколько лишних рублей, вынуждена сидеть за пяльцами дотемна. Не выдержав непосильного напряжения, Фрося слепнет за работой. «Из-за чего потухли эти голубые глазки, которым только бы весело

---

[1] Сведения об анонимном обзоре Чернышевского, в котором содержится приведенный отзыв, сообщены нам В. Э. Боградом, установившим авторство на основании обнаруженного им чернового автографа.

[2] А. С. Гацисский, Нижегородский театр (1798—1867), Нижний-Новгород, 1867, стр. 11.

[3] Интересно отметить, что повесть Михайлова привлекла в свое время внимание Толстого (см. Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46, М. 1937, стр. 125).

[4] М. Л. Михайлов, Полн. собр. соч., т. II, СПБ 1914, стр. 147. (Курсив наш. — *Авт.*)

смотреть на божий свет да улыбаться?» — восклицает автор, и этот возмущенный вопрос звучит обвинением строю, основанному на эксплуатации человека человеком.

В середине 50-х годов Михайлов обращается и к изображению крестьянской жизни. В 1854 году вышли очерки «Святки», тепло встреченные критикой. «Святки» — воспоминание о детстве; окружающий мир предстает перед читателем преломленным через сознание ребенка, который живо ощущает красоту окружающей природы и сельского быта. Лиричны картины русского зимнего пейзажа и патриархального помещичьего быта. Очерки овеяны поэзией народных обрядов и поверий, устного народного творчества — сказок, песен и преданий. Носители этой поэзии — простые крестьянки, нянюшка Фоминишна и птичница Устинья. Ребенку раскрывается мир народных сказок с «дивными героями», которые в борьбе со злом утверждают идеалы добра и правды. Крестьянка-сказочница сливается в детском сознании с этими героями: «...впереди всех этих мифических образов, обступающих меня при воспоминании об Устинье-птичнице, является мне она сама, как одно из чудных видений туманного, сказочного мира».

Если очерки «Святки» совершенно не касались основных противоречий народной жизни, то написанный через пять лет рассказ «Кормилица» (1859), связанный также с воспоминаниями детских лет, показывал, как соприкосновение с людьми из народа открывает «маленькому барину» глаза на существование неведомой для него «темной среды вечных забот и нескончаемого труда», воспитывает «его душу на суровую битву жизни» [1].

Художественно слабее были рассказы Михайлова 50-х годов, непосредственно рисующие крестьянскую жизнь. Сказалось прежде всего недостаточное знакомство писателя с нею. В рассказах «Ау!» (1855), «Шелковый платок» (1859) сюжет не выходит за пределы семейных и любовных конфликтов. Правда, в «Шелковом платке» писателю удалось показать социальные противоречия в крестьянской семье: рассказ повествует о страшной участи бедной девушки, выданной замуж в богатый дом.

Весьма интересен по замыслу рассказ Михайлова «Африкан» (1855). Внимание писателя привлекла здесь религиозная форма, зачастую облекавшая протест крестьян против социальной несправедливости. В образе крепостного Африкана Михайлов рисует определенный тип крестьянина с присущим ему особым душевным складом и пытается проследить, как возникает у него тяга к странничеству, как стремление избавиться от крепостного гнета находит свое выражение в религиозных исканиях.

---

[1] М. Л. Михайлов, Полн. собр. соч., т. IV, СПБ 1914, стр. 287.

Это роднит рассказ Михайлова с «Касьяном с Красивой Мечи» (1851) из «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Крестьянские рассказы Михайлова все же не затрагивали коренные противоречия крепостнической действительности. Это в известной мере сближало их с той разновидностью рассказов и повестей 50-х годов, авторы которых пытались соединить романические сюжеты с изображением быта современной деревни. Поэтому Добролюбов, резко критиковавший такие произведения «из народного быта», отнес к их числу в рецензии на «Повести и рассказы» С. Т. Славутинского «Ау!» и «Африкан»[1].

Сравнительно немногочисленные прозаические произведения Михайлова 1862—1865 годов представляют собою лучшее из того, что он создал в этой области. На творчестве тех лет сказалось и расширение жизненного опыта писателя, и его личное общение с народом, и бо́льшая идейная зрелость. В нем проявилась также наиболее сильная сторона дарования Михайлова — умение воспроизводить непосредственно увиденное и пережитое.

Несомненно высшим достижением Михайлова-прозаика, а также выдающимся памятником русской мемуарно-художественной литературы являются «Записки», в которых писатель изложил события своей жизни от ареста в сентябре 1861 года до прибытия на Казаковский промысел в марте 1862 года. «Записки» были написаны в марте — июне 1862 года для Шелгуновой. Обращения к любимой женщине, прерывающие временами повествование, подчеркивают точность и достоверность изложения недавно происходивших событий. Значение «Записок» не ограничивается их документальной, мемуарной стороной. Они продолжают автобиографическую линию в прозаическом творчестве Михайлова, представленную рассказами «Святки», «Уленька», «Кормилица» и завершенную неоконченным романом «Вместе».

Более цельной является первая половина воспоминаний, описывающая арест, заключение, следствие и суд, то есть события, которые уже успели отстояться в сознании писателя. С большой силой и художественной выразительностью воссоздает Михайлов обстановку Третьего отделения, портреты его служителей. В каждой детали «этого разбойничьего вертепа у Цепного моста» он видит проявление самодержавного произвола и протестует против беззаконного попрания гражданских прав человеческой личности.

С большой искренностью и психологической тонкостью рисует Михайлов свои душевные переживания и настроения: первоначальную растерянность, вызванную внезапным арестом и проявляющуюся в раздражительности и озлобленности, затем твердое упорство на доп-

[1] См. Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, М. 1935, стр. 541—542.

росе и провокационных очных ставках в Третьем отделении, все возрастающую тревогу за судьбу близких ему людей, которая приводит его к принятию вины на себя, одинокие раздумья в Петропавловской крепости и т. п. Скупые психологические черты создают живой образ человека и гражданина, покоряющий своим нравственным обаянием.

Во весь рост встает фигура революционера Михайлова в главе «Суд в Сенате». Картина суда и образы сенаторов в «позлащенных одеждах», которые «по неподвижной важности» напоминают «позолоченных бурханов», проникнуты сатирическим духом. Перед царскими холопами, вскакивающими при одном упоминании императора, «как вскакивают лакеи в передней, когда проходит барин», гордо и непреклонно стоит революционер, презирающий своих судей [1].

Во второй половине «Записок» Михайлов описывает свой путь в Сибирь. С напряженным вниманием всматривается писатель в новое для него окружение. Большое место в этой части «Записок» он уделяет изображению народа. Обозы разоренных казаков-переселенцев, бесконечные партии ссыльных, семьи крестьян, которых гонят «по бунту» без суда и следствия, каторжные — бывшие господские крестьяне, бежавшие от своих помещиков, «доверитель от пермских заводских крестьян», подававший их просьбы и протесты, и др.,— таким предстает перед Михайловым народ, страдающий под гнетом крепостничества и бюрократии, обманутый «царской волей» и протестующий. Повествование пронизано болью и гневом; оно перемежается публицистическими рассуждениями, свидетельствующими о непреклонности революционных убеждений писателя.

Уверенность в правильности избранного пути особенно ясно выражена в описаниях встреч Михайлова с политическими ссыльными — Петрашевским и декабристом Завалишиным. Уважая в них представителей старшего поколения русских революционеров, Михайлов тем не менее осуждает их за то, что они, поглощенные «местным, провинциальным», утратили общую перспективу, сознание необходимости революционной борьбы со всей системой самодержавия и крепостничества.

---

[1] Герцен писал в «Колоколе» в статье «1831—1863»: «Человек, гонимый за свои мнения, за слово, снова гордо стоит пред судом... он знает, что его пример будет великою проповедью. Грустно, твердо явился Михайлов пред сенатом. Богадельня стариков, судивших его, обомлела, разинула рот; в прохождении их долголетней военной и гражданской службы они ничего подобного не слыхали». (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XVI, П. 1920, стр. 191.)— См. также статью Герцена «Ответы М. И. Михайлова». (Там же, т. XV, стр. 117—119.)

Образ автора, созданный в «Записках», при всем своем индивидуальном своеобразии и неповторимости личной судьбы,— тип революционера-шестидесятника, сознательного и непреклонного борца с самодержавием и крепостничеством. В этом основное значение «Записок».

В «Записках» уже видны черты новой стилистической манеры, характерной для прозы Михайлова 60-х годов. Проще и суше становится язык произведения; обстановка, пейзаж передаются скупыми, точными и конкретными деталями, что сближает прозу с лирикой последних лет жизни писателя.

Эти художественные особенности присущи и «Сибирским очеркам» Михайлова, в которых повествуется о каторжниках и ссыльных. В основе очерков также лежат подлинные факты, они как бы продолжают «Записки». Рассказ часто ведется от имени героя, человека из народа. Суровая лаконичность и безыскусственность повествования с огромной силой передают ужас изображаемой действительности.

В «Записках», размышляя о причинах преступлений, Михайлов писал: «...откуда приходит ожесточение, как не из условий самой жизни, обреченной на невежество, нужду и невыносимые ни для какого животного лишения?» И в очерках его прежде всего интересуют судьбы людей, причины, приведшие их на каторгу («Аграфена», «Незабываемое горе»). В очерках отсутствуют авторские отступления и публицистические выводы; само их содержание — истории загубленных человеческих жизней — заключает в себе обвинение антинародному режиму беззакония и произвола.

Как в «Записках», так и в очерках, создан образ бесправного и порабощенного народа, который не может примириться со своей долей. Они рассказывают о людях из народа, которые не желали покориться насилию, пытались защитить свое достоинство. Нравственному облику этих людей, замечает Михайлов в очерке «Зеленые глазки», «может позавидовать каждый... не испытавший ни острога, ни кандалов, ни каторги». Последний из очерков — «Кукушка», посвященный беглым каторжникам, повествует о неистребимой тяге человека к свободе и его отчаянной борьбе за то, чтобы «подышать волей под открытым небом».

В ссылке Михайлов начал писать роман «Вместе», в основу которого, по-видимому, должны были лечь воспоминания писателя о своей революционной деятельности. Время действия романа относится к периоду общественного подъема 1858—1860 годов. С его страниц веет предчувствием революционной борьбы, грозной и беспощадной, требующей жертв. Характер содержания обусловил своеобразный лирический и иносказательный стиль произведения. Роман рассчитан на понимающего читателя, он полон намеков и символов.

Сохранившиеся первые четыре главы[1] повествуют о любви двух молодых людей — будущих революционеров Владимира Борисова и Наташи, в которых нетрудно узнать самого Михайлова и Л. П. Шелгунову [2]. С публицистической страстностью провозглашает писатель этические принципы «новых людей», их понимание любви, отношений между мужчиной и женщиной. Владимир и Наташа испытывают друг к другу не «обманчивое и преходящее влечение»; «сочувствие их шло глубоко, до самых затаенных движений сердца и мысли». Любовь, утверждает Михайлов, духовно обогащает людей: «...Два существа их, сливаясь в одно, становились будто вдвое сильнее, чище, прекраснее, добрее, богаче мыслью и чувством каждое». Сближение героев не заставляет их замкнуться в себе, не обрекает на равнодушное созерцание окружающего мира, напротив, в них зреет «сила деятельности, сила дела». Взаимная любовь подготовляет их к совместному участию в борьбе за то, чтобы «просветлела печальная жизнь людей», ибо они не отделяют свою собственную будущность от будущности общества, в котором живут. Следует, однако, отметить, что публицистичность, в которой слышен голос автора статей о женском равноправии, в значительной мере подменяет анализ психологии героев.

В романе «Вместе» получила воплощение и дорогая для Михайлова идея преемственности революционной борьбы. Одно из действующих лиц романа, дедушка Роман Петрович — декабрист, вернувшийся после тридцатилетней ссылки,— приветствует молодое поколение и благословляет его на новую борьбу. «Я надеялся недаром,— говорит он.— Я знал, что не к мертвой нации принадлежу. Она должна же была тронуться. Посмотрите-ка теперь на народ, на молодежь,— это уже не то, что было в нашу пору. Может быть, еще и я доживу!»В этих словах звучит надежда и самого Михайлова на приближение победоносной революции.

В последний год жизни Михайлов написал научно-популярные очерки «За пределами истории. (За миллионы лет)». В полубеллетристической форме писатель рассказал о самых ранних этапах развития человеческого общества, о происхождении языка, о первых изобретениях, о возникновении семьи, частной собственности, религии и т. д. Повествование Михайлова о заре человечества было основано на достижениях современной ему антропологии и проникнуто духом материализма и атеизма. Михайлов работал над своими очерками в то время, когда он

---

[1] «Дело», 1870, № 1.

[2] Отдельные места романа могут служить как бы комментарием к лирическим стихотворениям Михайлова — «Долиной пышной шли мы рядом...», «Зарею обновленья...», «Идут года, но все сильней любовь...», обращенным к Шелгуновой.

жил вместе с Чернышевским, и вполне вероятно, что Чернышевский, интерес которого к антропологии хорошо известен, помогал другу своими советами [1]. По всей видимости, «За пределами истории» было последним прозаическим произведением Михайлова.

* * *

Вся жизнь Михайлова, его революционная деятельность, его творчество были отданы беззаветному служению своей родине, своему народу. Он был, по словам Некрасова, один из тех редких людей, чьи «благие порывы» «способны переходить в дело» [2]. Высокая нравственная чистота и гражданская доблесть, которыми проникнуты лучшие его произведения, делают их дорогими для советских людей. Ибо прав был Михайлов, когда писал, что «только те имена идут в потомство и становятся дорогими для людской памяти, о которых люди, носившие их, забывали, жертвуя всею своею личностью общему благу» [3].

М. Дикман
Ю. Левин

---

[1] См. И. Г. Жуков, Воспоминания шестидесятника. «Литературный Саратов», кн. 8, 1947, стр. 252.

[2] Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т.2, М. 1948, стр. 653.

[3] «Русское слово», 1860, № 6, отд. II, стр. 87—88.

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Ее он безмолвно, но страстно любил:
И редко и холодно с ней говорил;
А в сердце его все была лишь она,
И ум занимала об ней мысль одна...
Но детской и резвой своею душой
Любви не постигла она той святой.—
Он вечно был мрачен, в печаль погружен,
А взор ее ясный к другим обращен...
Но вот уж расстались они, — и далеко
Живет он, но любит ее, одинокой;
А те, что встречали взор девы живой,
Об ней позабыли холодной душой...

ДОРОГА

Черными ветвями
Машет мне сосна,
Тусклыми лучами
Светит мне луна,

И как вихрь несется
Тройка через лес...
Сердце тихо бьется...
Мрачен свод небес,

Вторит отклик дальний
Песне ямщика, —
Будто вздох печальный
Мне звучит она.

Колокол унылый!
Сон напел ты мне,
И край сердцу милый
Вижу я во сне.

Вижу дом знакомый,
Вижу круг родной,
Вижу, будто дома
Отдан мне покой;

И в саду заветном
Я опять брожу,
Вновь в речах приветных
Радость нахожу...

Но недолго тешил
Меня чудный сон;
Скоро все умчалось, —
И я пробужден...

Темная дорога
По лесу бежит,
Под дугой уныло
Колокол звенит,

Мрачно ель кивает
Мне издалека...
Сердце замирает,
Душу рвет тоска.

МУЗА

Рано в тенистой дубраве являлась мне чудная дева,
Рано учила ребенка играть на свирели. Сломивши
Гибкий тростник у потока, в стволе я отверстия делал—
И, приложивши к устам, играл нестройные песни.
Муза, довольная мною, меня целовала в награду,—
И с младенчества я полюбил ее поцелуи.
Часто я играю с тех пор на звонкой свирели,
Часто на жарких устах моих веет дыханье богини.

ЭЛЛАДА

Как часто я тоскующей душою
Безумно рвусь в твой чудный древний мир,
Святая Греция! Как часто я мечтаю,
Молюсь тебе, низвергнутый кумир!..
Ты снишься мне с свободою святою;
Я вижу твой роскошно вольный пир,
Твоих богов и женщин светлооких
С смолой кудрей на их грудях высоких...

Твоих певцов я слышу песнопенья:
Звучит как гром свободная их речь;
Мне видятся твоих сынов сраженья,
Я зрю в мечтах их всеразящий меч.
Виденьями сменяются виденья...
Передо мной, средь мира и средь сеч,
Несется жизнь пирующей Эллады.
. . . .

ДУМА

Где б ни был я: в тиши ль уединенья,
В собранье шумном ли — меня гнетет одна
Всегда присущая мне дума. Песнопенья
Не могут разогнать тяжелой; тишина
Моих священных лар ее живей лелеет,
И дума черная моим челом владеет.
Но ведь бывают дни: чело мое ясно,
И этой думою не сдавлено оно...
И память этих дней блестящею звездою
Горит над сумрачным путем, пройденным мною...
Когда на лоне я природы нахожусь
И жадною душой в молчании дивлюсь
Святой гармонии и ясному покою —
Та дума черная прощается со мною.
Под говор тростников, под шум родных дубров,
Под плески волн морских, под пенье соловьев
На бледное чело нисходит вдохновенье,—
И шепчут внятное уста мои моленье...

К СТИХАМ А. ШЕНЬЕ

Андре! твоих стихов мелодия живая
Несет мои мечты в чудесный древний мир —
Мир красоты и воли.— Забывая
Наш грустный век, я строю древних лир
В твоих строфах пластических внимаю.
Как наша жизнь бедна в сравненье с той,
Которую тогда в мечтах переживаю:
Как дышит эта жизнь свободой, красотой!

ГОРНЫЙ ПОТОК

О юноша вечный! ты мчишься
Из мрака ущелий...
Не зрело смертного око
Твоей колыбели, могучий!
И ухо ничье не внимало
Великого детскому лепету
В шумном потоке.

О, как ты прекрасен в кудря́х серебристых!
Как страшен в громе отзывном
Окрестных скал!

Трепещет сосна пред тобою,—
И со́сну ты повергаешь
С главой и корня́ми.
Боятся утесы тебя, —
Ты рушишь утесы —
И с смехом, как легкие камни, их катишь.

Солнце тебя одевает
Славы лучами,—
Оно покрывает красками радуги
Волны твои.

Зачем ты спешишь к зеленому озеру?..
Разве не любо тебе
Вблизи у небес?
Не любо в отзывных скалах?
Не любо в висячих дубовых кустах?

О, не спеши так к злачному озеру!..
Юноша! еще как бог ты могуч, —
Свободен как бог!

Тебе улыбается там тишина
И зыбь молчаливая струй —
То серебристых при лунном мерцанье,
То золотых и пурпурных
В лучах заката!..

О юноша! что в шелкóвом покое,
В улыбке доброго месяца,—
В золоте, в пурпуре солнца вечернего —
Тому, кто в рабских цепях.

По зову сердца
Ты вольно стремишься теперь;
А там часто царствует ветер изменчивый
Или смертная тишь...

О, не спеши так к злачному озеру!..
Юноша! еще как бог ты могуч,—
Свободен как бог!

* * *

Помню я рощу зеленую,
Помню я пруд голубой,
Помню я речи свободные —
Речи вечерней порой;

Помню я взгляды любимые,
Щечку с румянцем живым,
Помню уста твои влажные
С их поцелуем немым;

Помню я трепет руки твоей —
Детской, прекрасной руки...
Помню... но сердцу не жалко их —
Дней этой глупой тоски!

НАДЯ

По улице шел я... Мерцали
В тумане кой-где фонари...
Пуста была улица; встретил
Я пары четыре иль три
Прохожих. Но вдруг я увидел,
Навстречу мне девушка шла;
На ней была белая шляпка,
И плечи ей шаль облегла.

Когда я был близко к ней, ярко
Фонарь подле нас засверкал,
Знакомый я образ увидел,—
И за руку бедную взял...
И с тайною грустью взглянул я
На вянущий этот цветок.
Она крепко руку мне сжала,
Сронив с своей шеи платок...

Хоть много сказать мне хотелось,
Молчали упорно уста;
Она мне твердила: «Что, разве
Я хуже теперь, чем была?»
И взором печальным я долго
С тоскою глядел на нее...
«Нет, Надя! Тебя не узнал я:
Лицо изменилось твое.

В глазах твоих черных нет блеска,
И бледность видна на щеках;
Искусствен их яркий румянец,
Притворна улыбка в устах!»
Печально она улыбнулась...
Я много во взоре прочел —
И проповедь бросил— и с нею
Вдоль улицы молча пошел.

Ее до квартиры довел я
И молча ей руку пожал...
Она мне сказала: «Зайдите!»
Но я отвечал: «Я устал!»
И грустно своею дорогой

Побрел я... Туман все густел,
И крупными каплями дождик
По темным плитам зашумел...

ПОМЕЩИК

Когда-то и я в Петербурге живал,—
Писателей всех у себя принимал —
И с гордой улыбкой являлся на ба́лах...
Стихи мои очень хвалили в журналах:
Я в них и свободу и истину пел;
Но многих представить в цензуру не смел.

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лошадь седлай!

Политикой также заняться любил,—
В кондитерских все я журналы следил...
Читал и философов... Сам рассужденье
Писал о народном у нас просвещенье...
Потом за границей я долго блуждал;
Палаты, Жорж Занда, Гизо посещал.

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лошадь седлай!

В чужбине о родине я сожалел,
Скорей воротиться домой все хотел —
И начал трактат (не окончил его я)
О том, как нам дорого вчуже родное.
Два года я рыскал по странам чужим:
Все видел — Париж, Вену, Лондон и Рим.

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лошадь седлай!

Приехавши в Питер, соскучился я...
Казна истощилась порядком моя.—
Поехал в деревню поправить делишки,
Да все разорились мои мужичишки!..
Сначала в деревне я очень скучал —
И все перебраться в столицу желал.

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лошадь седлай!

А нынче так, право, меня калачом
Туда не заманишь. И славный здесь дом,
И повар обед мне готовит прекрасный;
Дуняшке наделал я платьев атласных.
Пойдешь погулять — вкруг мальчишки бегут...
(Пострелы! Они меня тятей зовут.)

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лошадь седлай!

С соседями езжу я зайцев травить;
Сойдемся ль — за карты, а после попить...
Прекрасные люди мои все соседи, —
Хоть прежде твердил я с презреньем: «Медведи!»
Политику бросил — и только «Пчелу»
Читаю от скуки всегда поутру.

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лошадь седлай!

Однажды я как-то письмо получил:
Писал мне приятель мой славянофил,
Чтоб ехал скорее к нему я в столицу —
Тащить меня вздумал опять за границу...
Но я отвечал ему: «Милый мой друг!
В себе воскресил я народный наш дух!»

Эй, Ванька! Скорее собак собирай!
Эй, Сенька! Живее мне лощадь седлай!

«Мне ладно в деревне: здесь сладко я сплю,
Гоняться с собаками в поле люблю.
С житьем не расстануся патриархальным,
Дышу теперь духом я национальным!..
Ко мне, братец, лучше сюда приезжай:
Народность в деревне моей изучай!»

Что ж, Ванька-каналья! Чего же ты ждешь?
Да скоро ль ты, Сенька, Гнедка приведешь?

С тех пор мой приятель ко мне не писал...
А слышал я, нынче известен он стал
Своими трудами. Знакомцы другие —
Все люди теперь тоже очень большие...
А все отчего? — нет деревни своей:
А то бы гонялись за зайцами в ней!!

Мерзавцы! Уж сколько я вам говорю!..
Постойте! Ужо я вам спину вспорю.

* * *

Если б я вас снова встретил,
Что бы было между нами?—
Я бы вам одно заметил:
Что умнеем мы с годами;
Что во мгле туманно-бледный
Лик луны и листьев шепот,
И ландшафт полночный бедный,
И пруда немолчный ропот,—
Много детской нашей страстью
Управляли в стары годы;
Что любовь теперь, к несчастью,
Не зависит от погоды,—
Ни от бледного мерцанья
Звезд небесных, молчаливых,
Ни от глупого мечтанья
И стишков пустых, слезливых...
Я сказал бы вам при встрече,
Если вы умнее стали:
«Переменим эти речи,
Чтобы нас не осмеяли!»

* * *

Еще в школе он был,
А стишки уж кроил,—
И частенько
Книги в сторону клал,—
Хоть уроков не знал
Хорошенько...

Запирали его,
И секали его...
    Мало прока!..
Страсть была велика:
Не касалась рука
    До урока.

Школу бросив потом,
Он сердитым пером
    Размахался...
Не признал его свет,—
И великий поэт
    Стушевался.

Нынче, в мирной тиши,
Он в уездной глуши
    Процветает:
Служит — все о делах
Да про восемь в червях
    Рассуждает...

Завелся он женой,
Есть пяточек-другой
    И ребяток...
Средь семейных отрад
Счастлив он... и *богат*...
    (Не от взяток!)

ГРУНЯ

Снег засыпает окошко.
С треском лучина горит...
Дремлет старик на полатях,
С пряжей старуха сидит.

Вяло жужжит у старухи
Веретено под рукой...
В теплой печурке свернувшись,
Кот распевает седой.

А у окна молодица
Тихо, сгорюнясь, сидит,
В белую вьюгу все смотрит...
Слезка глаза ей мутит.

Воле послушна отцовской
Она, бедняжка, была —
И за немилого замуж
Не прекословя пошла...

С Ваней ее разлучили:
Ваню любила она...
Вот и теперь все об милом
Плачет она у окна.

Жалко ей Ваню... Бедняжка,
Как повезли под венец
Грунюшку, больно крушился —
Да и ушел наконец...

С той поры в ихней деревне
Нету вестей от него.
«Воля родимых, сгубила
Милого ты моего».

ХОРОШАЯ ПАРТИЯ

Она пред налоем стояла,
Бледна и поникнув головкой,—
Вдоль щек у ней слезка сбегала
И билася грудь под шнуровкой.
Жених старичок был почтенный:
Увешана грудь орденами...
И с важностию неизменной
Вокруг поводил он глазами.

И вот обвенчалася пара...
У них беспрестанно пируют,
Средь бального часто разгара
Жена и бледна и тоскует.

За картами мужу не время
Заметить, как чахнет супруга;
Уж в грудь ей заброшено семя
Ужасного, злого недуга.

И скоро болезнь и несчастье
Цветок этот нежный сломили...
«Как мало жила она в счастье!» —
Так в свете об ней говорили.
Супруг же по-прежнему любит
Сытнее в обед нагрузиться,
Здоровья страстями не губит...
И чаще за карты садится.

СОСЕДКА

Тому давно... Я был почти ребенок;
Она была прекрасна, молода;
Ее волнистый волос был так тонок,
А голосок так серебрист и звонок...
Прошли давно те ясные года.

В большом саду плющовую беседку
Как будто вижу я перед собой...
Раздвинувши ветвей густую сетку,
Бывало жду красавицу соседку
И рву листок дрожащею рукой.

Придет она... Глаза горят так ярко,
И пышут щеки нежные огнем...
И с ней вдвоем (Лаура и Петрарка!)
Мы говорим так долго и так жарко...
О чем?.. Да так! Бог ведает о чем!

Рука моя так радостно сжимала
Ее ручонку детскую. Меня
Она порой тихонько целовала
И, наклонясь, мне на ухо шептала...
А что?.. Все это позабыл уж я.

И уж давно я с нею не видался...
Я слышал, замужем теперь она...

А я с тех пор все по свету скитался,—
И чувством что-то очень издержался,
И стала мне смешна та старина.

А все иной порою, и нередко,
Случается, придет на память мне:
Цела ли та плющовая беседка?
Меня забыла ль милая соседка?
Иль так, как я, смеется старине?

* * *

Акация цветы душистые роняет,
И роза аромат с листов мне посылает...
По тихим берегам хожу в раздумье я;
В водах спит лебедей пугливая семья,—
И тихо все кругом... Лишь редко пронесется
Зефир по тростникам, и нежно раздается
В них песня дивная, — и лебедь, пробудясь,
Взмахнет крылом и вновь уснет, в волну глядясь...

ПУТНИК

Ночной туман покрыл мой путь...
Пора мне дома отдохнуть!..
Меня он ждет, мой кров родной,
Там будет путнику покой.

Приятно страннику заснуть,
Когда он кончил длинный путь...
Мне виден дуб в дали немой:
Под ним приют родимый мой.

АНАКРЕОН

Он любил плющом ползучим
Кудри белые венчать
И при звоне чаш глубоких
В час полночный пировать...

Наполняя светлый кубок,
Пел он негу и вино,
И, при звуках флейты звонкой,
Осушалось в чашах дно.
Незакрытая амфора
Аромат вокруг лила,—
И вакханка к ложу неги
Старца юного влекла...
Как ее пылали щеки,
Кровью жертв не смочены!
Как уста полуоткрыты
Были трепета полны!
И когда вкруг шеи старца
Ручка нежная вилась,
Громко струны трепетали,
Песня чудная лилась...
Нам оставил он кифару
С этой песнию живой...
Над далекою могилой
Долго вился плющ густой;
Долго Грации на камень
Приносили по венку,—
Девы, юноши ходили
На могилу к старику.—
И теперь, когда порою
Веселится тесный круг,—
В песне старой, вечно юной
Песнопевца веет дух...

КОЛЬЦОВ

Он с юных лет был угнетен судьбою,
Своей семьей он не был оценен...
Несытый ум томился; но борьбою
С холодной жизнью не был сокрушен.

Его душа любовию святою
Любила все, чем был он окружен...
И песнь его нам кажется родною:
Весь мир души в ней завещал нам он.

Степной разгул, крутую силу воли,
Упорную борьбу с лихой судьбой,
И эту долю, сумрачную долю,

В которой жизнь он проклинал порой,
И грусть свою, порою плач неволи —
Все высказал он в песне огневой.

ЗИМА

I

Что нам весна с соловьями, с цветущею рощей! На что нам
Пышный венок из цветов и горячее солнце полудня?
Если со мной ты, дитя, и зима мне милее весенней
Теплой поры. Разложивши огонь, сижу я с тобою
Так же, как в солнечный день. Твоя резвая песня мне тот же
Звонкий напев соловья. А цветущая роща... Зачем мне
Рощу!.. И здесь, в мягком кресле, я счастлив, как
в чаще дубовой
На душистой траве.— Вместо ярких долины цветов
Есть незабудки в глазах у тебя, на щеках твоих розы;
Шея и грудь твоя — те же лилеи; а светлые волны
Русых кудрей благовонней, чем воздух расцветшего сада.

II

Сивка по полю бежит,
Снег под санками скрипит;
Солнце светит высоко...
Так отрадно и легко!

Щечки свежие в мороз
Расцвели алее роз...
Не озябла ль ты, дитя?
Дома сядем у огня.

Сивка по полю бежит,
Снег под санками скрипит...

Поседели в злой мороз
Кудри шелковых волос!

Вьется дым невдалеке...
В нашем теплом уголке
Печка весело горит,
Кресло мягкое стоит.

Там согреешься шутя,
Мое доброе дитя...
Будут греть уста мои
Ручки мерзлые твои.

Солнце ярко в небесах,
Поле все горит в звездах...
Сивка, ну!.. лети стрелой...
Стой! приехали домой!..

III

Ярко и с треском огонь разгорелся... Уж поздно!..
Надо ли свечи зажечь?.. Для чего! В полумраке
Будем сидеть и болтать... да о чем же? — О всем мы
Переболтали с тобою вечерней порой.
Что говорить... Поцелуй меня лучше, малютка!
Лучше всех толков моих поцелуй твой один.

IV

Вечером поздно уляжешься ты на кушетке. Сижу я,
Лампа горит на столе, быстро вожу я пером.
Только задумаюсь, только перо отведу от бумаги,
Тотчас ты мне говоришь: «Рифмы не можешь найти?
Что за слово? скажи!.. Я найду тебе тотчас отзвучье...
Разве не знаешь, что я рифмы люблю прибирать?»
Знаю, дитя: ты прекрасный поэт, и уста твои звучно
К каждой ласке моей в рифму целуют меня!

НА ПУТИ

Предо мной лежит
Степь печальная.
Все мне слышится
Речь прощальная.

Все мне видятся
Взоры милые,
Все твержу «прости»
Через силу я.

И все та ж в ответ
Речь прощальная...
Но молчит кругом
Степь печальная.

КАБАК

У двери скрыпучей
Красуется елка...
За дверью той речи
Не знают умолка.

Тяжелое ль горе
На сердце заляжет,
Аль лапушка слово
Немилое скажет,

Аль денег к оброку
В мошне не хватает,
Аль староста рыжий
За леность ругает,—

К той елке зеленой
Своротит детина...
Как выпита чарка,—
Пропала кручина.

Да если и счастлив,
Кипит ретивое,
И с Машей шептался
Всю ночь за рекою,

Оброк весь заплачен,
Сам староста любит...
И радость, как горе,
Кабак приголубит.

Под елкой зеленой
Лей чарку полнее!..
Там горькое горе
Пройдет поскорее.

Под елкой зеленой
Лей чарку полнее...
Коль весело,— будет
Еще веселее.

СОВРЕМЕННЫЙ ГИДАЛЬГО

Юноша поджарый,—
Кудри по плечам...
Сюртучишко старый
Расползся по швам...

Рыжая шляпенка,
Стеклышко в глазу,
Завит очень тонко,—
Угорь на носу.

Сморщен лоб широкий,
Ямы вместо щек,
И в глазах глубокий
Светится упрек...

Скверная сигара
У него в зубах...
Говорит он с жаром,
Прогрессивно страх.

Весь в дугу согнулся,
Словно пуд несет...
Слушайте! Надулся,—
Речь он поведет:

«Манекены-люди,
Вам ли *нас* понять?
Камень — ваши груди...
Вам ли мысль приять?

— Избраны веками
Для чреды иной,
Высимся над вами
Целой *мы* главой.

Суета мирская
Занимает вас,—
Ноша мировая
На плечах у *нас*».

Юноша умолкнул,
Грозно брови сжал,
Языком прищелкнул
И сигару взял.

Речи не внимая,
Все шумит народ,
И толпа пустая
Мимо вдаль идет.

ВСТРЕЧА

Давно тебя знал я: ребенок
Была ты веселый, живой;
Был голос твой детский так звонок,
Так ярок твой глаз голубой.
Мы часто с тобою играли...
(Я сам был ребенок тогда!)
Мы вместе резвились. Умчали
И детство и юность года.
И встретил тебя я печально,
Мне горько тебя узнавать...
Я вспомнил и угол мой дальний,
Отца и покойницу мать;
Я вспомнил про игры с тобою,
Я вспомнил о давних годах...

Все ожило вдруг предо мною
В роскошных и светлых мечтах.
Да! многого вовсе не стало,
Другое же стало не тем,
Чего мое сердце желало,
Во что уповало... Зачем
Тебя еще раз я встречаю
На жизненном темном пути?
Мне было легко, уповая,
По грустной дороге идти...
Неужто и всем упованьям
Такая ж судьба суждена?
Убитая тяжким страданьем,
И ты не была спасена.
Как много я думал, бывало,
О счастье грядущем твоем...
Все светлую жизнь обещало,
Сияло приветливым днем.
Душа твоя, полная силы,
И в трудной житейской борьбе,
Казалось, до самой могилы,
Всю жизнь — не уступит судьбе.
Удары ль ее беспощадно
Сгубили всю силу твою,
Иль только мечтою отрадной
Лелеяла душу мою
Надежда... не знаю; но встрече
С тобою теперь я не рад...
Так пусты короткие речи,
Так грустен мой сумрачный взгляд.
И ты избегаешь со мною
Свиданий тяжелых, и я...
Я встреч избегаю с тобою...
Душа изнывает моя!
Тебя не узнаешь... Ты стала
Бледна и худа и больна,
Ты рано и скоро увяла,

. . . .

И только одним сожаленьем
Могу я тебя подарить,
Я беден и сам, я с терпеньем
Обязан мой путь проходить...

Но образ твой грустный и бледный
Все будет мечта представлять,
И буду я — счастием бедный —
Молиться, терпеть, уповать!..

СМЕХ

Она смеется,— но когда б случайно
Взглянул кто в глубь души ее больной,
Увидев все, что там сокрыто тайно
От глупости людей, от их насмешки злой,
Как слышались тогда ему бы внятно
В веселом смехе слезы!.. Все, что есть
Страданий, горя в жизни, так понятно
В ее улыбке мог бы он прочесть.

Антологические стихотворения

НАЯДА

Когда на западе горит заря пожаром
И грудь моя дрожит, пылая тайным жаром,—
Иду на берег вод и, распростершись там,
Устами теплыми к холодным льну волнам.

И из зеленых вод наяда молодая,
Устами влажными мои уста лобзая,
В моей груди тогда желаний гасит жар,
Как гасит мрак ночной на западе пожар.

ЖАТВА

Помона щедрая так пышно убрала
Златою жатвою широкие поляны
И в частые ряды колосьев заплела
Лазурноглавые, прелестные цианы.
Оделась ризою богатою земля:
Как море злачное, волнуются поля,
И спеет наливной, под лаской солнца, колос...
Вечернею порой под кровлей поселян
Звучнее песни: всяк, кто лишь имеет голос,
Поет богине гимн за пышный вид полян.

МОЛЬБА

Что бы просил ты у Зевса, великого бога вселенной,
Если б из урны судеб жребий выбрать ты мог?
Дар сладких песен просил бы и сильно разящее слово;
Словом порок поражать, песнью сердца умилять.

* * *

Мне жаль тебя... Семья жестоко
Тебя замучила, и ты
Постыдно пала — и глубоко
Погрязла в тине пустоты.
Но мне не больно было б это,
Когда б не знал я, что в тебе
Была душа, и ум поэта,
И сила — устоять в борьбе.

* * *

Бывало, в беседке
Зеленой и темной
Читал я соседке,
Плаксивой и томной,
И плакал я с нею
Над песнями Гейне,
Звал милой своею
(Du Holde, du Meine [1]).

Немецкие грезы
Давно мной забылись,
И глупые слезы
Давно истощились...
Она ж вспоминает
Меня на свободе
И Гейне читает
В моем переводе.

ОБЛАКА

Волнистой чертой отделились
От поздней зари облака
И грозно, как горы, столпились...
И светит заря, как река.
С тоской безотчетною взоры

---

[1] Милая, моя (*нем.*).

Глядят на разлив той реки,
На эти воздушные горы...
И мысли мои далеки.
И снится река мне иная,
Угрюмые горы над ней,
На береге роща большая
С роскошною тенью ветвей,
Деревья за рощею темной,
Там церковь с крестом золотым
И дом одинокий, огромный,
Закутанный садом густым.
По-прежнему церковь белеет
И бедные избы стоят,
Но дом опустелый дряхлеет —
И глохнет заброшенный сад.
В том доме, где людно так было,
Теперь, как в гробу, тишина...
В разбитые окна уныло
Вечерняя светит луна.
В саду заросла та дорожка,
Где часто, как спрячется день,
Бродила прекрасная ножка
И белая виделась тень.

* * *

Опять в ночной тиши напрасно сон зову я:
Мне не дает заснуть бессонная мечта.
С безумной негою и страстью поцелуя
Мерещатся твои мне бледные уста.
Передо мной во тьме горят и светят глазки,
И кудри мягкие льют нежный аромат;
Блаженством жгут меня твои живые ласки,
И тихие слова любовно мне звучат...
Но мертвый сон кругом и мертвое молчанье:
Все спит; не спит одна бессонная мечта...
В глубокой тишине любимое званье
Лепечут лишь мои горячие уста!

ПЕСНЯ ПЛОВЦА

Небо в тучах, страшно море...
Как мне хочется быть дома!
Волны воют на просторе,
Небо в тучах, страшно море...
Сам пытал беду и горе!..
Даль темна и незнакома,
Небо в тучах, страшно море...
Как мне хочется быть дома!

* * *

В молчанье грустном мы стояли
Над погасающей рекой.
Две тучки по небу бежали
Жемчужно-белою чертой...
Разливом берег затопляя,
Неслась широкая река,—
И где-то, тихо замирая,
Звучала песня рыбака.

В тоскливой думе, головою
Поникла ты, и две струи
Горячих слез текли рекою
На щеки бледные твои...
Но молчаливыми устами
К твоим щекам я не припал;
Ни поцелуем, ни словами
Я дум твоих не возмущал.

И ты сказала мне, рыдая:
«Далек наш путь, река шумна...
Но наша воля молодая
Тут не натешится сполна.
Дорога наша раздвоится,—
И по неведомым волнам
Всё розно будем мы носиться,
Не приставая к берегам!»

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Мы встречались часто, говорили
Много всякой безотрадной гили;
А о том, как сердце наше ныло,
Как рвалось, как бешено любило,
Никогда словца не проронили.

Мы прощались тихо, без рыданий,
Без излишних нежных излияний;
При пожатье не дрожали руки...
А меж тем душа рвалась от муки,
Сердце замирало от страданий.

СТРАННИК

I

Темнеет... Влажные туманы
Над сонным озером встают,
И бледных тучек караваны
Лениво по небу идут.

Не запылится путь пустынный...
Ни зверь по нем не пробежит,
Ни стая птиц чертою длинной
Над ним, шумя, не пролетит.

Как тяжкий гнет над ровной степью
Лежит глубокий, смертный сон.
Тоскою смутной, словно цепью,
Окован путник... Ищет он

В тумане дали непроглядной
Приветной искры огонька;
Но тот же мрак всё безотрадный,
Дорога так же далека!

II

Был темен путь мой, бесприютен, глух.
Я шел один, бездомный странник. Сзади
Я не оставил ни родного крова,

Ни сердца матери: давно разрушен
Был дом отцовский; любящее сердце
Моей родной давно в могиле тлело.
Я шел вперед; но силы молодые
Все больше, больше иссякали, тяжкий
Смертельный сон крылами бил мне в очи.
Передо мной седой туман клубился
И застилал унылую дорогу.
Глухая тишь была кругом меня, —
И голос мой, бесплодно замирая,
Ждал отклика напрасно. Долго так
Тянулся этот безотрадный путь,—
И не хватало сил влачиться дальше.
Но вдруг, среди могильной тишины,
Раздался голос сладкий и певучий:
Меня он назвал именем моим...
И разглядел я среди мрака образ
Прекрасный. Много было в нем родного
Моей душе. Казалось, так же мрачно
И перед ним шел бесконечный путь,
Туманом затканный; казалось, так же
Искал и он ночлега или сердца
Знакомого — и так же, как и я,
Не находил ни отклика, ни крова.
Мы протянули друг ко другу руки,
Готовы были оба на распутье
Остановиться... Но опять туманом
Все заволок угрюмый мрак, и дикий
Нас вихрь помчал вперед, своей дорогой
Отдельно каждого... Зачем же посох
Из слабых рук моих тогда не выпал?
Не оковал последний сон очей?

III

Сердцу трудно, оку больно...
Тяжко мне идти.
Где же отдых ждет привольный?
Где конец пути?

Шаг за шагом... Да куда же?
Где же мой приют?
«Близок он... Твой путь туда же,
Куда все идут».

* * *

Я видел во сне человечка
С косым и зеленым лицом.
Он глупо смотрел, улыбался
И тотчас же плакал потом.

Ко мне подошел он, и руку
Мне крепко и дружески сжал,
И долго качал головою,
И мне наконец прошептал:

«Меня вы не знаете, друг мой,
Да я-то вас знаю давно.
Ну что? исцелилось ли сердце,
Иль так же болит все оно?

Зачем вы в лицо мне глядите?
Ну что́ вы увидите тут?
Хоть цвет его — краска надежды,
Да нашей надежде — капут.

Как вы, я надеялся долго,
И зелен с надежды я стал,
Как вы, я все плакал да грезил,
Стишонки писал и вздыхал.

Пора нам, ей-богу, оставить
Так глупо страдать и любить,
Пора нам от грез пробудиться
И жизнью действительной жить».

Со мною он тут распрощался,
Отвесив неловкий поклон,
И все-то смеялся да плакал...
Какой безалаберный сон!

* * *

Когда пройдут искуса годы?
Когда из лона черных туч
Тебя, колосс, осветит луч —
Животворящий луч свободы?
Ты гордо голову вознес,

Дивя испуганное око;
Но безглаголен ты, колосс!..
Когда же тьма сойдет с востока?
Когда под заревым огнем
Твоих речей раздастся гром?
Ведь говорят: во время оно
И неподвижный столб Мемнона
Гудел под солнечным лучом!!

* * *

Как храм без жертв и без богов,
Душа угрюмо сиротеет;
Над нею время тяготеет
С суровым опытом годов.

Кумиры старые во прахе,
Погас бесплодный фимиам...
Но близок миг — и, в вещем страхе,
Иного бога чует храм!

* * *

Спали́, господь, своим огнем
Того, кто в этот год печальный
На общей тризне погребальной,
Как жрец, упившийся вином,
В толпе, рыдающей кругом,
Поет с улыбкою нахальной
Патриотический псалом.

ПЕРЕПУТЬЕ

Труден был путь мой. Холодная мгла
  Не расступалась кругом,
С севера туча за тучею шла
  С крупным и частым дождем...

Капал он с мокрых одежд и волос;
Жутко мне было идти:
Много суровых я вытерпел гроз,
Больше их ждал впереди.

Липкую грязь отряхнуть бы мне с ног
И от ходьбы отдохнуть!..
Вдруг мне в сторонке блеснул огонек...
Дрогнула радостью грудь...

Боже, каким перепутьем меня,
Странника, ты наградил!
Боже, какого дождался я дня!
Сколько прибавилось сил!

НА ПУТИ

За туманами потух
Свет зари вечерней;
Раздражительнее слух,
Сердце суеверней.

Мне грозит мой путь глухой
Злою встречей, битвой...
Но душа полна тобой,
Как святой молитвой.

* * *

Говорят, весна пришла,
Ярки дни и ночь тепла;
Луг зеленый весь в цветах,
Соловьи поют в лесах.
Я хожу среди лугов,
Я ищу твоих следов;
В чаще слушаю лесной,
Не раздастся ль голос твой.

Где ж весна, и где цветы?
Их срывать не ходишь ты.

Где же песня соловья?
Не слышна мне речь твоя...
Не пришла еще весна.
День угрюм, ночь холодна.
Поле инеи куют,
Птицы плачут, не поют.

* * *

О сердце скорбное народа!
Среди твоих кромешных мук
Не жди, чтоб счастье и свобода
К тебе сошли из царских рук.

Не эти ль руки заковали
Тебя в неволю и позор?
Они и плахи воздвигали
И двигали топор.

Не царь ли век в твоей отчизне
Губил повсюду жизнь сплеча?
Иль ты забыл, что дара жизни
Не ждут от палача?

Не верь коварным обещаньям!
Дар царский — подкуп и обман.
Он, равный нищенским даяньям,
Их не введет в изъян.

Оставь напрасные надежды,
Само себе защитой будь!
На их привет закрой ты вежды,
Их злодеяний не забудь!

Ты сильно! Дремлющие силы
В глуби болящей воскреси!
Тысячелетние могилы
О гнете вековом спроси!

И все, что прожито страданий,
Что в настоящем горя есть,
Весь трепет будущих желаний
Соедини в святую месть.

О, помни! чистый дар свободы
Назначен смелым лишь сердцам.
Ее *берут* себе народы;
И царь не даст ее рабам.

О, помни! не без боя злого
Твердыню зла шатнет твой клик.
Восстань из рабства векового,
Восстань свободен и велик!

ВАДИМ

I

Темной ночью в двор Вадима
Вече тайное сходилось.
Тут голов немного было,
Да зато голов все вольных.

Да, голов немного было,
Но за каждой головою
Рать сомкнулась и пошла бы
Все равно в огонь и воду.

«Запирай, Вадим, ворота,
Запирай избу и сени.
Говори! Мы за советом»,—
Говорили новгородцы.

И сказал, тряхнув кудрями,
Им Вадим: «Один лишь только
У меня совет. Другого
Я не знаю. Каждый слушай!

Завтра к ночи наточите
Вы ножи свои острее,
Завтра к ночи соберите
Каждый верную дружину.

Завтра ночью с вражьей силой
Нам сходиться на расправу.

Если головы мы сложим,
Так за волю и за славу.

Завтра к ночи в княжий терем
Все на пир они сберутся:
Вся родня сберется княжья,
Вся их чадь и вся дружина.

Все на пир они сберутся,
Станут пить и есть беспечно,
А напьются, наедятся —
Станут хвастаться, наверно.

Многим хвастаться им можно,
Как из жалких проходимцев
Стали вдруг они князьями
Над народом смелым, вольным.

Кто то видел? кто то слышал?
Чтоб в семье на ссору звали
Рассудить чужих, соседей.
Иль наскучила нам воля?

А заморские бродяги
Рады — тотчас прикатили,
Навели с собою рати,
Словно вороны на падаль.

Не было у нас наряду!
Заведут наряд тюремный.
Видите теперь и сами,
Есть ли где наряд без воли?

Пировать недаром будут:
Княжья сволочь разбирает
Наши волости родные
По рукам своим голодным.

По селеньям нашим рыщут,
Словно зверь какой, варяги,
Грабят, дани собирают,
Наших дочерей позорят.

Грабежу их и насилью
Нет суда и нет расправы.
Не от княжных рук дождаться,—
На расправу встанем сами!

Как расхвастаются очень
На пиру своем варяги,
Тут-то пир другой с врагами
Заварим мы, новгородцы!

Тут-то мы князьям покажем,
Что не все у нас холопы
И что вольные остались
В Новегороде граждáне.

Их дубовые столы мы
Опрокинем, вместо меда
Обольем их черной кровью
Все их скатерти цветные.

Завтра ночью пир нам будет!
А не сломим эту силу,
Сами ляжем головами,
Но на воле, — не рабами.

Пусть погибнем, — наше дело
Не умрет и, рано ль, поздно,
Отзовется; восстановим
Новгородскую свободу».

II

Но коварная измена
В терем княжеский прокралась,
И уже к двору Вадима
Собиралась вражья сила.

У ворот и у заборов,
У плетней и у калиток,
Утаясь во мраке ночи,
Соглядатаи засели.

И как вече расходилось,
Безоружно, потаенно,
В груди всех гостей Вадима
Нож варяжский очутился.

Что борьбы, сопротивленья
Было, скрыла ночь во мраке;
Под ее ж туманом Волхов
Нес волнами десять трупов.

И поутру двор Вадима
Пуст стоял и заперт. К ночи
В княжьем тереме варяги
Пировали и хвалились.

Но лилось не много меду,
Похвальба была скромнее,
И порою шепот страха
Пробегал по всей палате.

Старый княжеский приспешник
Говорил: «С таким народом
Справиться не скоро можно,
Нам не жить здесь безопасно.

Ночью тайной и изменой
Все они побиты нами;
Нынче пали, завтра станут
Помыкать, владеть князьями».

* * *

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

Стонет и тяжко вздыхает
Бедный забитый народ;
Руки он к нам простирает,
Нас он на помощь зовет.
Час обновленья настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,—
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

Das Wort wird Tat, das Kind wird Mann,
Das Wind wird Sturm,— wer zweifelt daran?

Chamisso [1]

Вечный враг всего живого,
Тупоумен, дик и зол,
Нашу жизнь за мысль и слово
Топчет произвол.

И чем жизнь честней и чище,
Тем нещаднее судьба!
Раздвигайся ты, кладбище!
Принимай гроба!

Гроб вчера и гроб сегодня,
Завтра гроб... А мы стоим
Средь могил и — «власть господня»,
Как рабы, твердим.

Вот и твой смолк голос честный,
И смежился честный взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.

---

[1] Слово становится делом, ребенок становится мужем,
Ветер — бурей, — кто в этом сомневается? *Шамиссо* (*нем.*).

Жаждой правды изнывая,
В «темном царстве» лжи и зла
Жизнь зачахла молодая,
Гнета не снесла.

Ты умолк; но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
«Что ж молчит в вас, братья, злоба?
Что ж любовь молчит?

Иль в любви одни лишь слезы
Есть у вас для кровных бед?
Или сил и для угрозы
В вашей злобе нет?

Братья, пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный
И открытый бой!»

Мы стоим, не слыша зова...
И ликуя — зверски зол —
Тризну мысли, тризну слова
Правит произвол.

* * *

Крепко, дружно вас в объятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды и проклятья
С вами, братья, разделил.

Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.

Но и там, назло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.

В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.

ПЯТЕРО

Над вашими телами наругавшись,
В безвестную могилу их зарыли,
И над могилой выровняли землю,
Чтоб не было ни знака, ни отметы,
Где тлеют ваши кости без гробов, —
Чтоб самый след прекрасной жизни вашей
Изгладился, чтоб ваши имена
На смену вам идущим поколеньям
С могильного креста не говорили,
Как вы любили правду и свободу,
Как из-за них боролись и страдали,
Как шли на смерть с лицом спокойно-ясным
И с упованьем, что пора придет —
И вами смело начатое дело
Великою победой завершится.

Пора та близко. Пусть могила ваша
Незнаема, пусть царственная зависть
Старается стереть повсюду память
О вашем деле, ваших именах, —
В глуби живых сердец она живет!
И с каждым днем таких сердец все больше,
Самоотверженных, могучих, смелых
И любящих.

Близ места вашей казни
Есть пышный храм. Там гордыми рядами
Стоят великолепные гробницы,
Блестя резьбой и золотом. Над ними

Курится ладан, теплятся лампады,
И каждый день священство в черных ризах
Поет заупокойные обедни.
Гробницы эти прочны; имена
Их мертвецов угодливой рукою
Глубоко в камень врезаны. Напрасно!
От одного дыхания Свободы
Потухнет ладан и елей в лампадах,
Наемный клир навеки онемеет,
И прахом распадется твердый мрамор,
Последняя их память на земле.

Пора близка. Уже на головах,
Обремененных ложью, и коварством,
И преступленьем, шевелится волос
Под первым дуновеньем близкой бури,—
И слышатся, как дальний рокот грома,
Врагам народа ваши имена,
Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол,
Бестужев и Каховский! Буря грянет.
Под этой бурей дело ваших внуков
Вам памятник создаст несокрушимый.
Не золото стирающихся букв
Предаст святые ваши имена
Далекому потомству — песнь народа
Свободного; а песнь не умирает!
Не хрупкие гробницы сохранят
Святую вашу память, а сердца
Грядущих просветленных поколений,—
И в тех сердцах народная любовь
Из рода в род вам будет неизменно
Гореть неугасимою лампадой.

* * *

Те же всё унылые картины,
Те же всё унылые места:
Черный лес да белые равнины,
По селеньям голь и нищета.
А кругом все будто стоном стонет...
И вопрос тоскливый сердце жмет:
Лес ли то со стоном сосны клонит,

Или вьюга твой мне стон несет,
Изнемогший в вековом томленье,
Искушенный в вековом терпенье,
Мой родной, несчастный мой народ?

* * *

Если лет бесстрастный холод
Все в тебе оледенил
И забыл ты, как любил,
Как боролся, как был молод,—

Если юной жизни гул
Мирно спать тебе мешает,
Что же гроб тебя пугает?
В нем бы крепче ты заснул.

Под землей уж не наскучат
Дети шумом... Шуму нет,
И бессонницы не мучат,
И проходит злобный бред.

* * *

Горя, шуму и досады
    Много день принес.
Как хотел бы я отрады
    Сна без всяких грез!

Ночь; и немо все и глухо,
    Скованное сном.
Как ни вслушивайся ухо,
    Звука нет кругом.

Я лежу, закрывши вежды,
    И в тиши немой
Мне как будто весть надежды
    Шепчет голос твой.

* * *

Как долгой ночью ждет утра
Больной, томясь в бреду,
Так в этой безрассветной тьме
Я милой вести жду.

День бесконечен... грудь полна
Невыплаканных слез.
Наступит ночь — ко мне бегут
Рои зловещих грез.

О, только б знать, что над тобой
Без туч восходит день,
Что, ясная, встречаешь ты
Без слез ночную тень!

Как стало бы светло, тепло
В холодной этой тьме!
Пусть воли нет... Пока придет,
Есть счастье и в тюрьме!

Но дни и месяцы идут...
Я жду, — напрасно жду...
Так в ночь бессонную утра
Не ждет больной в бреду.

АРРИЯ

...Перед ним лежал
Уже наточенный кинжал,—
И молвил он, вздохнув невольно:
«А расставаться с жизнью больно».

Горда, прекрасна и бледна,
Стояла перед ним жена.
Вдруг ярче, радостней, смелее
Зажегся взор у ней. Она
Одной рукой у белой шеи
Застежку платья сорвала,—
На мужа, на кинжал взглянула
И верх туники распахнула:

Свежа, полна, как снег бела,
Раскрылась грудь... Еще мгновенье,—
И перед мужем со стола
Она без страха, без волненья
Другой рукой кинжал взяла.
Как луч, блеснул удар кинжала...
Кровь брызнула и струйкой алой
По белой груди потекла.

На ложе Аррия склонилась.
Последней судорогой билось
В ней сердце; взор оделся мглой...
Жизнь уходила молодая.
Но, холодеющей рукой
Кинжал из раны вынимая,
Она сказала, умирая:
«Не больно вовсе, милый мой!»

* * *

Долиной пышной шли мы рядом,
    Блаженных дум полны.
Кругом весь мир цветущим садом
    Сиял в лучах весны.

Казалось, радостным полянам
    Из века в век цвести,
И к ним ни бурям, ни туманам
    Не отыскать пути.

Мы как во сне остановились
    У быстрого ручья.
Как чудно в нем лучи дробились!
    Как искрилась струя!

Ты пела мне: «К угрюмой да́ли
    Журча бежит ручей:
Там всё страданья да печали;
    Темна там жизнь людей.

Пойдем — осушим Горю слезы
Счастливою рукой;
Снесем им радость, песни, розы,
Свободу, свет, покой!»

Мы шли, соединясь руками
Над синей быстриной;
Ручей играл, сверкал меж нами
Веселою волной.

Мы поцелуем обменяться
Через него могли;
Нам было любо петь, смеяться...
Мы в чудных грезах шли.

Но вдруг рассеял наши грезы
Зловещий шум ручья:
Вздымалась в нем, полна угрозы,
Померкшая струя.

Он шире стал,— и наши руки
Невольно разлучил,
Темнела даль,— и грома звуки
К нам ветер доносил.

Чрез миг завыла непогода...
Ручей влился в поток.
Искать мы стали перехода...
Волна срывала с ног.

Мы оглянулись... И за нами
Разливы бурных вод
Клубились по полям волнами...
Поток шумел: «Вперед!»

И мы пошли... Катилась с ревом
Меж нас уже река.
Мы только обменяться словом
Могли издалека.

Нам не сомкнуть уста и руки...
Река все шире, злей...
И милых слов родные звуки
Доносятся слабей.

Их заглушают злобной силой
И гром и вой реки.
Лишь виден мне твой образ милый
И знак твоей руки.

Но волны выше; тьма густая
Чернеет, свет губя...
Мне не видать тебя, родная!
Мне не видать тебя!

Зову... Во мраке исчезает
Бесследно крик тоски.
Лишь ураган мне отвечает
Один из-за реки.

И вот передо мною море:
В него влилась река...
И я один... со мной лишь горе,
Тревога и тоска.

Напрасно вопли посылаю
Я с темных берегов...
Ни мой тебе, ни твой, я знаю,
Мне не услышать зов.

Вдали лишь молнии трепещут
Среди зловещей мглы,
Вблизи же злобно в берег хлещут
Студеные валы.

* * *

Снова дней весенних
Дождалися мы:
Ласточки щебечут
Над окном тюрьмы.

Между гор зеленых
Темной полосой
Вьется вдаль дорога
К стороне родной.

* * *

Вышел срок тюремный:
По горам броди;
Со штыком солдата
Нет уж позади.

Воли больше; что же
Стены этих гор
Пуще стен тюремных
Мне теснят простор?

Там под темным сводом
Тяжело дышать:
Сердце уставало
Биться и желать.

Здесь над головою
Под лазурный свод
Жаворонок вьется
И поет, зовет.

* * *

Зарею обновленья
В моей ночи взошла любовь твоя,
В ней стали ясны мне и мир, и жизнь моя,
Их смысл, и сила, и значенье.

В ней, как в сиянье дня,
Я увидал, что истинно, что ложно,
Что жизненно, что призрачно, ничтожно
Во мне и вне меня.

Когда я сердцем ощутил биенье,
Которым сердце билося твое,
В нем мира целого вместилось бытие,
Все радости людей, тревоги и стремленья.

О свет всевоскрешающей любви!
Ты дал на дело мне и на страданье силы.
Веди меня сквозь мрак моей живой могилы
И к делу жизни вновь могучим призови!

ПОСЛАНИЕ УЗНИКА

На ваш приветливый и милый,
Хотя и незнакомый, зов,
Что скажет вам мой стих унылый
Из-за решеток и замков?..

Под гнетом каменного свода
Твердишь и думаешь одно:
«Свобода... скоро ли свобода?..»
А впереди — темно, темно!..

Но верю я, что я вас встречу,
Как выйду вновь на вольный свет,
И вольной песнью вам отвечу
На добрый, ласковый привет.

А здесь — и стих мой не клеится
И в сердце — жалобы одне...
Я не балованная птица,
А не поется в клетке мне!..

НОВЫЕ ГОЛОСА

Еще обилен мир бедами,
Невежеством, корыстью, злом;
Печалью, горькими слезами
И неоплаченным трудом.

Еще немало уцелело
Порядку старому опор.
Еще не кончен тьмы и света,
Добра и зла давнишний спор.

Но с каждым днем все крепнут боле
Добро и свет,
Им уступают поневоле
И тьма и зло.

Свой свет разносит в массах знанье,
Свое добро любовь несет,

И всюду упованье
В сердцах проснувшихся растет.

Счастливых более, чем было;
И счастье стало их прочней.
Но новую ему даст силу
Благополучье всех людей.

DIES IRAE[1]

Настает пора уплат кровавых,
Настает день страшного суда,
Кара злым и торжество для правых —
Лейся кровь, пылайте города!

* * *

Минуты горького сомненья,
Когда слабел средь битвы я,
Минуты скорби и паденья
Не помяните мне, друзья.

Все, в чем пред правдой я в ответе,
За что я сам себя корил,
Желайте, чтоб минуты эти
Годами горя искупил.

И если. . . . .
Дождаться нам святого дня,
Пусть лучшим, скорбью обновленным
Ваш круг приветствует меня.

* * *

Только помыслишь о воле порой,
Словно повеет откуда весной.

[1] День гнева, день «страшного суда» (*лат.*).

Сердце охватит могучая дрожь;
Полною жизнью опять заживешь.

Мир пред тобою широкий открыт;
Солнце надежды над далью горит.

Ждет тебя дело великое вновь,
Счастье, тревога, борьба и любовь.

Снова идешь на родные поля,
Труд и надежды с народом деля.

Пусть будет снова боренье со злом,
Пусть и падешь ты, не сладив с врагом,

Пусть будут гибель, страданья, беда,—
Только б не эта глухая чреда.

* * *

Ведь только строчка лишь одна,
Узнать, что ты жива,
Что ты здорова и ясна;
Всего лишь слова два,—

И все вокруг меня светло,
И счастлив я опять,
И все, что бременем легло,
Могу я презирать.

* * *

Всегда, везде ты, друг, со мной,
Пока гляжу на свет.
В моей душе любви к одной
Тебе утраты нет!

Все, чем живу, что есть в душе
Святых и чистых грез,
Не ты ли, светлый гений мой,
Для жизни мне принес!

* * *

Идут года, но все сильней любовь;
И думаешь — пора угомониться.
Но сердце любит с прежней страстью,
И хочет воротить всю негу,
Которая одним воспоминаньем
Все сердце жжет.

* * *

Знаю, что ты память
Ко мне сбережешь;
Но с другим, быть может,
Счастье ты найдешь.

О, пришли ко другу
Весть о счастье том.
Эта весть мне будет
Светлым дня лучом.

От моих страданий,
От тоски моей
На твоем я счастье
Отдохну скорей.

* * *

Вам смешно, что часто
Так мечтаем мы:
Что наш мир не создан
Для беды и тьмы.

Что и нам засветит
Здесь из темных туч
Счастья и довольства
Для народа луч.

Что мы все, как братья,
Будем общий пир

Праздновать, вкушая
Беспредельный мир.

Вам бы — чтобы вечно
Был везде раздор,
Чтоб с тюремной двери
Не сходил запор.

Чтобы ворон жадный
Голубей клевал,
Чтобы над землею
Вечный мрак лежал.

Наши грезы светлы,
В них для бедняка
Светит будто счастье —
Хоть издалека.

* * *

И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье,
И за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей;
Ни мысли движущей, ни смелого воззванья,
Ни дела бодрого в родной стране моей!

Идет за годом год. Порою весть приходит;
А что несет та весть в глухие норы к нам?
Все тот же произвол людей в оковах водит,
Все тот же молот бьет по рабским головам.

Иль все ты вымерло, о молодое племя?
Иль немочь старчества осилила тебя?
Иль на священный бой не призывает время?
Иль в жалком рабстве сгнить — ты бережешь себя?

А кажется, давно ль, о юноши, я видел
В вас доблесть мужества и благородный пыл?
Не каждый ли из вас глубоко ненавидел?
Не каждый ли из вас боролся и любил?

Что ж изменило вас? Иль напугали казни?
Иль нет уж общего и давнего врага?

Иль стал вам другом он, внушив вам дрожь боязни?
Иль не скользит теперь в крови его нога?

Давно ли он дрожал, — уступками, и лестью,
И обещаньями вам отводил глаза?
Иль вы поверили? Иль, правосудной местью
Не разразясь над ним, рассеется гроза?

Иль жизненный поток улегся в мирном ложе?
Иль стало зло добром, надев его наряд?
Иль позабыли вы: змея и в новой коже —
Все прежняя змея и в ней все тот же яд?

Иль длинный ряд веков не прояснил вам зренье?
Иль можете, слепцы, надежду вы питать,
Чтоб то, что было век орудьем угнетенья,
Могло орудием любви и блага стать?

Иль на одни слова у вас хватило силы?
Иль крик ваш криком был бессильного раба?
Не плюйте на отцов бесславные могилы!
Чем лучше сами вы? где ж дело? где борьба?

Иль истощились вы в своем словесном преньи,
И вместо смелых дел вам сладок жалкий сон?
Иль рады, что на вас надели в утешенье
Каких-то мнимых прав заплатанный хитон?

О горе! о позор! Где ж, гордые любовью,
Свидетельства любви вы показали нам?
Опять у вас в глазах исходит Польша кровью...
А вы? Поете гимн державным палачам?

Иль в жертвах и крови геройского народа,
В его святой борьбе понять вы не могли,
Что из-за вечных прав ведет тот бой свобода,
А не минутный спор из-за клочка земли?

Иль ход истории достиг того предела,
Где племя юное уж не несет с собой
Ни свежих доблестей, ни свежих сил на дело
И вслед тупым отцам идет тупой толпой?

Иль тех, кто миру нес святое вдохновенье,
Ведет одна корысть и мелочный расчет?
Кто с песнью шел на смерть и возбуждал движенье,
В мишурное ярмо покорно сам идет?

И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье,
И за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей;
Ни мысли движущей, ни смелого воззванья,
Ни дела бодрого в родной стране моей!

Так часто думаю, в своей глуши тоскуя,
И жду, настанет ли святой, великий миг,
Когда ты, молодость, восстанешь негодуя,
И бросишь мне в лицо названье: клеветник!

* * *

Вечером душным, под черными тучами нас похоронят.
Молния вспыхнет, заропщет река, и дубрава застонет.

Ночь будет бурная. Необоримою властью могучи,
Громом, огнем и дождем разразятся угрюмые тучи.

И над могилами нашими, радостный день предвещая,
Радугу утро раскинет по небу от края до края.

* * *

Зимние вьюги завыли
В наших пустынях глухих,
Саваном снега накрыли
Мертвых они и живых.

Гроб — моя темная келья,
Крыша тяжелая — свод;
Ветер полночный в ущелье
Мне панихиду поет.

* * *

Вечерний ветер встал и по ущельям стонет;
По скатам голых гор ложится гуще тень;
Глухая ночь идет... Придет и похоронит
Еще один пустой, бесплодный день.

Ты просишь радости, любви, борьбы, свободы?
Угомонись, засни и не гляди вперед!
Что день? так провожать тебе придется годы
И говорить: еще бесплодный год!

А там и смерть придет, как эта ночь, — и канет
Одним бесплодным днем вся жизнь во мрак немой...
И разве лишь одна душа вдали помянет
Бесплодный век бесплодною слезой.

* * *

I

Праздник весны. Наше небо холодное
Хмурится меньше; с темнеющих гор
Катятся с шумом струи многоводные,
Рвется река из оков на простор.

Не напрасно ли ранней надеждою,
Радостью жизни себя обольщать?
Может быть, зимней холодной одеждою
Вьюга закутает все здесь опять?

Горы опять побелеют; под холодом
Снова застынут ручьи;
Небо грозить станет снова лишь голодом
Бедному жителю грустной земли.

Все здесь обманчиво — дни безненастные,
Небо, замерзшая почва, весна.
Вы же, надежды отрадные, ясные,
Изменчивость вам здесь больше всего суждена.

II

Праздник весны, воскресения,
Братства, сверженья цепей,
Всех воскресения, всех обновления
Грустно мне встретить в глуши своей.

Пусть к тебе мыслью я полон неверия,
Знаю, что все в тебе ложь;
Знаю, что в маске одной лицемерия
Ты нам обман лишь несешь.

Знаю я, ложны все эти объятия
Слабого с сильным, с богачом бедняка;
Знаю, что ты не снимаешь проклятия
С жизни и цепь ее так же тяжка.

Знаю, но памятью детства далекого
Часто мне твой отраден обман.
День лишь забвенья средь горя глубокого —
Ладно и то, — и он в тебе дан.

Бедный поет, забывая страдания,
Темного завтра как будто и нет.
Нет ожидания, воспоминания,
Только и виден, что праздничный свет.

Помню, мне в детстве казались так радостны
Эти веселые, ясные дни.
Звон раздавался, широкий и благостный,
Были мне видны улыбки одни.

В доме у нас будто все обновленное:
Тьма исчезала с лица.
Светлело у матери лицо огорченное,
Были похожи на ласки — ласки отца.

Бедные люди казались счастливыми,
Все улыбалось кругом;
Веяло всюду лишь жизни призывами,
Все было полно неведомым звом.

* * *

Грусть ко мне в сердце назойливей просится...
Будто я к доле своей не привык.
Громкие песни в мой угол доносятся —
Будто бы ожил рудник.

Пусты сегодня трущобы бездонные,
Где при мерцанье свечей
Видны лишь лица одни истомленные,
Слышно бряцанье цепей.

Песни доносятся в мрачное здание,
Где за решеткой за строем штыков
Собрано нации целой страдание.
Братья поляки! ваш праздник каков!

Над головою проносится каждого
Воспоминание радостных дней.
Воли опять ненасытною жаждою
Сердце налилось полней.

Там, на далекой отчизне подавленной, —
Праздник весны там праздником слез.
Много на почве их там окровавленной,
Много на почве, спаленной от гроз.

Плачет там мать, и жена, и милая
Плачет сестра, не осушая глаз.
Плачет и вся отчизна унылая,
Плачет по вас.

Плачь, о страдалица, плачь над могилами
Мертвых своих и живых сыновей.
Каждая слезка там новыми силами
Отродится на почве кровавой твоей.

Снова сошла ты во гроб искупления;
Но не смерть же тебе суждена.
Праздник воскресения, праздник обновления
Всем принесет иная весна.

Сатирические стихотворения

ЭПИГРАММА

Мне твой стих надоедает,
Ты писал его с трудом...
Сальной свечкой он воняет,
Сильно пахнет табаком.

* * *

Опять налетают роями
Знакомые сердцу виденья,—
И снова объят я мечтами
И полон любви и томленья...
То милый доносится шепот,
То видятся светлые очи;
То слышен немолкнущий ропот
Далекого моря; то ночи
Темнеют туманом осенним,
То дни лучезарные блещут;
То в тихом мерцанье весеннем
Знакомые руки трепещут;
То поле, — широкое поле,
Белеет, как саваном, снегом;
То лодка гуляет на воле;
То быстрым проносятся бегом
Родные, любимые лица,—
И все мне поют про былое...
Вот вся пронеслась вереница —
И смотрит лицо молодое...

Далекая! светлая! ты ли?
Тебя ли мой глаз различает?
Твоей ли обманчивой были
Опять мое ухо внимает?..
Широко волшебною тканью
Чарующих снов я окутан...
Я весь поддался обаянью,
Я негой и страстью опутан.
То ласки, то песни, то слезы...
Во мне и тоска и отрада!
Безумные, дикие грезы,
Чего же от сердца вам надо?

* * *

Месяц в тумане вставал,
Стлался туман по земле...
Кто-то манил меня, звал,
Чей-то мне голос звучал,
Чей-то мне образ мелькал,
Смутно теряясь во мгле...
Месяц в тумане вставал,
Стлался туман по земле.

* * *

О мой призрак далекий,
Неземной, светлоокий!
Мрак безмесячной ночи
Застилает мне очи.
О! пошли мне луч света!
Золотого привета
Сердце ждет не дождется;
Оно ноет и рвется.
Мрак безмесячной ночи
Ослепит мои очи.
Где ты, призрак далекий,
Неземной, светлоокий?

* * *

Мой нежный друг, мой чистый гений,
Я одинок, я одинок...
Ни песен нет, ни вдохновений!..
Мой свет далек, мой свет далек.

Мой нежный друг, мой чистый гений,
Я одного себе молю:
Молю я слез, молю мучений...
Зачем так грустно я люблю?

* * *

Друг мой! мне довольно полуслова.
Друг мой! мне довольно полувзгляда.
Верить и любить душа готова;
И любви она и вере рада.

Друг мой! уверений мне не надо:
Это счастье так свежо и ново!
Друг мой! мне довольно полувзгляда
Друг мой! мне довольно полуслова.

ИСКУШЕНИЕ

(См. «Путешествие по святым местам русским» А. Н. Муравьева)

Некий гость на Валааме,
Поклонясь мощам во храме,
В келью к иноку зашел.
Постной пищи там вкушая,
Молвил: «Жизнь у вас святая:
Труд, молитва, скудный стол!
Говорят — игумен новый
Не велит вам и коровой
Заводиться...» — «Враг силен —
Искушал на шалость братий!» —
Досказал отец Савватий,

Как бы некий антифон.
«Я читал у Муравьева
(Боголюбец начал снова),
Что оленя к вам весной
Занесло сюда на льдине —
И у вас он жил в пустыне...
Скоро стал совсем ручной,
Полюбил вас круторогий;
Но ворчал игумен строгий —
И олень был выгнан вон...» —
«Искусивши грешных братий», —
Досказал отец Савватий,
Как бы некий антифон.

ЭКСПРОМТ АРЕСТОВАННОГО ЛОНДОНСКОГО МАЗУРИКА

(pocket-boy[1])

С полисменом, поневоле,
Должен я хлеб-соль вести;
Иль они со мною в доле,
Или я у них в части.

ГИПЕРБОРЕИ

«За фракийскими горами,—
Говорил элидский грек,—
Над безвестными морями
Не прошел астреин век.

Есть счастливое там племя:
Дольше жизнь его идет;
В сладкой неге мчится время;
Все невинностью цветет.

[1] Карманный воришка (*англ.*).

Не несет крыло Борея
Вздоха к нам из той страны:
Не мрачат гиперборея
Ни вражда, ни зло войны.

Выпив чашу наслажденья,
Чашу смерти он берет
Равнодушно, без волненья, —
И друзей на пир зовет.

И когда сойдутся братья
К берегам в единый круг,
К морю синему в объятья
Сам кидается их друг.

Хоть еще никто на свете
Не видал тех чудных стран,
Но твердят: счастливцы эти
Будут предки россиян».

Орхоменский гость почтенный
Так элидцу отвечал:
«В этот край благословенный
С кораблем я раз попал.

Да, в блаженстве и покое
Там для всех катятся дни!
Есть и племя там такое —
Под названьем «тюлени́».

АПОСТОЛ АНДРЕЙ

Апостолы носят ученье Христа
По свету стопой неустанной;
Идет и в славянские наши места
Апостол Андрей Первозванный.
По северным дебрям, холмам и топям
Забрел он к туманным ильменским водам.

Пустынное озеро в сизых волнах;
Ни паруса нет в отдаленье.
Но люди тут есть: на его берегах
Местами темнеют селенья.
«Каков-то,— подумал апостол,— народ,
Что в этих убогих лачугах живет?»

И шаг ускорил он, идя к берегам.
Вот к первым избушкам подходит.
Навстречу народ к нему выбежал сам;
Кричит и руками разводит...
Ни слова пришельцу сказать не дает
И за руки к озеру прямо влечет.

В их криках нельзя разобрать ничего:
Привет ли то, или угрозы?
Но вот притащили на берег его:
Горой тут навалены лозы.
«Не казнь ли какая?» — подумал Андрей.
Но мимо влекут его, с воплем: «Скорей!»

Стоит деревянная дальше изба.
Обуглены срубы,— и паром
Все щели дымятся; а сбоку труба
Погибельным дышит угаром.
В избе все клокочет, шипит и бурлит,
И дымная туча над кровлей висит.

Зияет, как пасть, почерневшая дверь,
Вся мокрою сажей одета.
Подумал апостол: «Погибну теперь!»
Но верой душа в нем согрета.
«Спасся Даниил и от хищных зверей.
Изми меня, боже, из рук дикарей!»

Все ближе толпа подступает к нему,
С обоих боков нажимает,
Теснит его к двери — и в грозную тьму
Как жертву с собой увлекает.
Зловонным и знойным туманом объят,
Апостол подумал, что ввергнулся в ад.

На миг у него помутилось в глазах,
И дух захватило от жара.
Хотел закричать он, — ни звука в устах!
И видит сквозь облако пара:
Стоит раскаленная печь, и при ней
Хлопочет толпа обнаженных людей.

Растрескались красные камни жерла,
И искры дождем с него прыщут;
В потемках угара два страшных котла
Шипят и клокочут и свищут.
Припомнил Андрей вавилонскую печь
(В которой трех отроков думали сжечь).

Он хочет спросить о вине их своей.
Все разом кричат, не внимая.
Опять обступили. «Скорее, скорей!»
Толпятся, его раздевая...
По скользкому полу волочат к печи.—
В жерло ей плеснули водой палачи.

Пары над каменьями шумно встают
Удушливой белою тучей.
Андрей содрогнулся: его обдают
Ушатами влаги кипучей.
Едва удержаться он мог на ногах...
И видит — у всех уже пруты в руках.

Запрыгали лозы по мокрым спинам:
Все сами себя они хлещут.
Смеясь, и апостола бьют по бокам;
Смеясь, в него щелоком плещут.
От скорби великой лишаяся сил,
Отчаянным голосом он возопил:

«Скажите, пред кем я из вас виноват?
За что мне такое мученье?»
Те хлещут и плещут, хохочут, кричат:
«Какое мученье! мовенье».
Тут замертво на пол апостол упал
И, как его вынесли вон, не слыхал.

Но вот окатили студеной водой:
Он ожил. Толпа суетится,

Его одевая,— и снова с собой
    Зовет; но зовет подкрепиться.
Хотел из них каждый его угостить,—
И начал апостол по избам ходить.

Отведав их хлеба и соли, Андрей
    На холм из села удалился;
Прилег там и нравам славянских людей
    Смущенной душою дивился.
И думал о том он, что в будущем ждет
И сторону эту и этот народ.

«Казалось бы,— молвил он,— славно им жить;
    У всех есть и хлеб и свобода.
Откуда ж привычка самих себя бить
    Явилася здесь у народа.
Никто их не мучит, никто их не бьет,
Так сами придумали. Странный народ!

Да, любит побои, пристрастен к битью!
    Пожалуй, народу такому
Захочется спину подставить свою
    Под розги и палки другому».
Но, баней славянской вконец истомлен,
Андрей погрузился в дремоту — и в сон.

И снится ему, что его уж давно
    В Патрасе распяли как надо,
Что мир обновился, и всюду одно
    Христово покорное стадо,
Что там, где стояла в болотах вода,
У русских воздвиглись везде города;

Что вот миновал и семнадцатый век,
    Как умер он крестной кончиной,—
Великий у русских царит человек,
    И ходит повсюду с дубиной;
И орден апостолу в честь создает
Для тех, кто народу с ним больше побьет.

От ужаса вмиг пробудился Андрей,
    Немедля собрался в дорогу
И дальше пошел от ильменских зыбей,
    Смиряя молитвой тревогу.
«О господи! всякого в жизни земной
Избавь от невольных и вольных побой!»

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Много у нас толковали в журналах о прессе свободной.
Публика так поняла: гни нас свободно под пресс!

БЕСПОКОЙСТВО

(После чтения «Северной пчелы» в июле 1862)

Что за странным беспокойством
Обуяло вдруг всю Русь?
С этим новым нашим свойством
Я никак не примирюсь.
Сверху, снизу, слева, справа,
Беспокойны все и вся;
Как хотите, эдак, право,
Скоро будет жить нельзя!
Беспокойство и в столице,
Беспокойство и в глуши;
Беспокойны царь с царицей,
Беспокойны голыши.
Беспокоен губернатор,
Частный пристав, откупщик,
Поп, фотограф, регистратор,
Мещанин, купец, мужик,
Сыщик, доктор, сочинитель,
Типографщик, журналист,
Архирей, студент, учитель,
Академик, гимназист,
Старый воин, юный воин,
Новобранец, инвалид...
Разве тот один спокоен,
Кто уж в крепости сидит!

КОНСТИТУЦИОНИСТ

Тошно из уст его слышать и самое слово *свобода*.
Точно как будто кастрат стал о любви рассуждать.

ВЗЫСКАНИЕ

Каторгу даже и казнь именуют указы взысканьем:
Взыскан (так понимай!) царскою милостью ты.

ПРЕДАННОСТЬ

Преданность вечно была в характере русского люда.
Кто ли не предан теперь? Ни одного не найдешь.
Каждый, кто глуп или подл, наверное предан престолу;
Каждый, кто честен, умен, предан, наверно, суду.

БОРОДЫ

Долго на бороды длилось гоненье, но сняли опалу.
Всем теперь ясно, куда либерализм этот вел.
Слышатся толки везде о земских соборах и думах.
Как же, «уставя брады», в них без бород заседать?

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ГУМАННОСТЬ

Дайте мне слово не думать о кознях подземных
и вредных,
Хоть за вами следить будут шпионы везде.

ДЕСПОТУ

Резец истории тебе, ханжа лукавый,
Глубоко начертит на гробовой плите:
«Он знаменье креста творил рукою правой,
А левой распинал народы на кресте».

ХРИСТИАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Меньше пекись о земном — и в царствии будешь небесном!»
Новый земский устав прямо нас в рай приведет.

Шуточные стихотворения

<Я. П. ПОЛОНСКОМУ>

В стихах тебе посланье шлю,
О друг Полонский, издалека.
Вот видишь — болен я жестоко,
Бульоны ем, микстуры пью
И огорчен притом глубоко:
Сгубил я молодость свою
Среди пиров и буйных оргий
И за безумные восторги
Страданья чашу ныне пью.
Тебе хотел бы я поведать
О всем случившемся со мной:
Сегодня враг желудок мой
Не мог и супом пообедать.
Но нет! я нынче страшно глуп,
И телом вял и мыслью туп,
И потому в Женеве дальней
При шелесте женевских струй
Прими от друга хоть печальный,
Но братски нежный поцелуй.

<Н. В. ШЕЛГУНОВУ>

Встала младая из мрака с перстами пурпурными Эос.
Мирный покинула сон Николаева сила святая.
Встал он и видит: в ковчеге лежат драгоценном (подносом
Этот ковчег в просторечье зовется) подарки от милых
Сердцу его домочадцев: два чудной работы чугунных

Тяжких сосуда, чтоб пепел с сигар отряхать
в кабинете,—
В виде корзины один, другой же дракону подобный;
Восемь пар превосходных носков, и самой Пенелопой
Лучше б не связанных, и папиросница темныя кожи
С внутренним малым карманом, к хранению денег
удобным,
Если они не поют петухами, просяся на волю.
О Шелгунов, лесоводственный муж, Николай
благородный!
Сам на эти дары напросился ты хитростной речью,
Так же, как древле в гостях у святой Алкиноевой силы
Выклянчил много подарков себе Одиссей хитроумный.

ПЕРЕВОДЫ И ПОДРАЖАНИЯ

Подражания восточному

ДЖАЛАЛАДДИН РУМИ

* * *

Я — дикий виноград; мне явором ты будь,
Чтоб мог своей лозой я стан твой обогнуть!

Я — плющ; мне кедром будь, под бурями созрелым,
Чтоб слабой зеленью ко праху мне не льнуть!

Я — птица робкая; ты мне крылом будь смелым,
Чтоб мог я в синеве твоих небес тонуть!

Я — утомленный конь; будь шпорой мне колючей —
Да быстро к цели мчусь, куда твой ляжет путь!

Я — черная гряда; в ней розой будь пахучей,
Чтоб корни диких трав ей не сушили грудь!

Я — сумрачный восток; взойди над темной бездной
Ты солнцем пламенным — туманы распахнуть!

Я — ночь безлунная; о! будь ей ризой звездной,
Чтобы, отринув страх, я мог вольней вздохнуть!

МУШРИФАДДИН СААДИ

* * *

Капля дождевая пала с тучи в море,
Где буграми волны ходят на просторе.

«Что же я-то в этой страшной бездне значу? —
Капля горевала,— здесь и жизнь утрачу!»

Но от темной доли в лоне вод суровом
Раковина каплю осенила кровом...

Сберегла от смерти, от беды и страха,
И теперь та капля — лучший перл у шаха.

* * *

Крепко ударил я заступом в рыхлую землю.
Вдруг из таинственной тьмы ее вещему голосу внемлю:
«Помни, врываясь в глубокие недра мои:
Их удобрили своими костями собратья твои!»

БХАРТРИХАРИ

* * *

Слеза упоенья
Увлажила глаз —
И тотчас погас
Огонь вожделенья.

* * *

Пусть горит лампада,
Пусть очаг пылает,
Пусть сияет в небе
Месяц в сонме звездном,
Пусть и солнце блещет:
Если мне не светят
Ненаглядной очи,
Мир передо мною
Мглой ночной окутан.

* * *

Как не вижу — только б увидаться;
Увидал — охота целоваться;
Поцелую — сросся бы с тобой,
Светлоокая, и телом и душой!

* * *

Лесом шла она; смотрел я,
Притаившись за кустами,
Да смотрел и месяц с неба
Сладострастными глазами.
Устыдясь, с груди покровом
Все лицо она закрыла
И как будто ненарочно
Волны персей обнажила.

* * *

Груди волнуются; кудри трубчатые
Бьются, дрожа, за спиной.
Почки лилеи, глаза ее сжатые
Брызнули страстной росой.
Блещут, как жемчугом, щеки пушистые
Влагой любовной борьбы.
Медом поят меня губы душистые;
Я ль не избранник судьбы?

* * *

Как тень поу́тру,
Со злыми дружба —
Что час, то меньше;
А дружба добрых,
Как тень под вечер,
Растет, покуда
Не закати́шься
Ты, солнце жизни!

* * *

Пусть твои благие
Мысли и дела
Подавить, унизить
Тщится сила зла,—

Будь как яркий факел,
Обращенный вниз:
Пусть твой дух, как пламя,
Все стремится ввысь!

ИЗ «ШИ-КИНГ»

* * *

Мой хороший, мой пригожий
Носит смушковый кафтан;
Опоясан стройный стан
    Барсовою кожей.
Игры — скучны без него;
    В битву ль понесется —
Не страшится ничего.
«Много их таких найдется!»
    Да, найдется!
Только мне не надо никого!

Мой хороший, мой пригожий
Носит смушковый кафтан;
Опоясан стройный стан
    Барсовою кожей.
Все мечты об нем одном —
    Де́нные, ночные...
Кротость в нем, отвага в нем...
«Есть такие и другие!»
    Есть другие!
Только мне не думать о другом!

ИЗ КОРАНА

* * *

Из рода в род твой глас идет:
«Жестокосердые, внемлите!
Кормясь от трапезы сирот,
Вы пламень огненный ядите!»
Но, не спалив себе гортань,
Они не ведают боязни...
Восстань, о господи! и грянь
По ним бичами правой казни!
Да в день, как нищий с богачом
И раб с владыкой рядом станут,
Завет твой злобные помянут,
Палимы внутренним огнем!

ИЗ ТАЛМУДА

* * *

Где сверкает меч,
Не цвести искусству;
Где цветет искусство,
Не сверкать мечу.

* * *

«Что мое — мое,
Что твое — твое!»—
Общий глас людской.

«И мое — мое,
И твое — мое!»—
Так вещает злой.

«И твое — твое,
И мое — твое!»—
Говорит благой.

С ПЕРСИДСКОГО

* * *

Что не могу в моих стихах
Я сам незримо притаиться,
Чтоб с ними вместе появиться —
И поцелуями упиться
На молодых твоих устах!

ПЕСНИ МИРЗЫ ШАФФИ

* * *

Мирза Шаффи! Пчелой прилежной
Ты долго по́ свету летал;
Тебя поили влагой нежной
Фиал лилеи белоснежной
И розы пу́рпурный фиал.

Пора из рощи благосклонной,
Мирза Шаффи, тебе домой.
С своею ношей благовонной
На крыльях песни легкозвонной
Лети к подруге молодой!

* * *

Распахни покрывало! не прячь ты себя!
Ведь не прячутся розы в саду у тебя...
Красота тебе богом, как розе, дана;
Ты, как роза, на радость очей создана...
Создана ты под солнцем цвести и сиять.
Перестань же чадрою лицо закрывать!

Распахни покрывало! Увидит весь свет,
Что пышней и желанней красавицы нет.
Пусть огнем по сердцам пробегает твой взгляд,
А уста многоценным рубином горят,
И одна только ночь самотканой чадрой
Облекает твой лик и твой стан молодой!

Покажись!.. Пред лицом твоим, бледен и нем,
У султана в Стамбуле смутится гарем.
Да и где же, когда же, какой падишах
Перед взглядом таким не упал бы во прах?..
Не тумань же чадрой лучезарных очей,
Торжества красоты и блаженства людей!

ФАРИДАДДИН АТТАР

* * *

Что от врагов ты хочешь скрыть,
Друзьям не должен говорить.

АБДУРРАХМАН ДЖАМИ

* * *

Кедр, твоей вершины стройной
Не достать моим рукам.
О, хотя бы в полдень знойный
Тенью лечь к твоим ногам!

Из поэтов древней Греции

САФО

* * *

Чем эта женщина могла тебя пленить,
Твой ум и сердце так себе поработить? —
Своею грубою, неловкою рукою
И локона она не может мило взбить!
Ни груди молодой ей ризой дорогою
С искусством не суметь, закрыв, полуоткрыть.

НАДГРОБИЕ РЫБАКУ

Бедный отец рыбака Пелагона — Мениск схоронил здесь
Милого сына и холм его смертный просто украсил...
Ве́рша с веслом означают могилу пловца молодого:
Памятник грустный жизни его и печальной и трудной!..

* * *

Закатилася луна,
Закатилися плеяды;
Ночь идет... А я, тоскуя,
Все лежу без сна, одна,
И душе все нет отрады,
И устам нет поцелуя!

АНАКРЕОН

* * *

Ты розою роскошной расцветаешь...
А я... да, я старик!.. Зачем же убегаешь
Моих кудрей сребристой белизны?..
Смотри: как в том венке согласно сплетены
С прекрасной розою, столь молодой и нежной,
Широкие листы лилеи белоснежной!

* * *

Молодая кобылица,
Знойной Фракии дитя!
Полно бешено коситься,
Полно рваться, полно биться,
Полно бегать от меня;
Захочу: узда крутая
Кровью рот твой обагрит,—
Кобылица удалая,
Робко голову склоняя,
Мерным шагом побежит;
Не скакать тогда ретивой
На раздолье луговом,
Не махать густою гривой,
Выступая терпеливо
Под искусным седоком.

* * *

На пиру, за полной чашей,
Мне несносен гость бесчинный:
Охмеленный, затевает
Он и спор и бой кровавый.
Мил мне скромный собеседник,
Кто, дары царицы Гнида
С даром муз соединяя,
На пиру беспечно весел.

* * *

Увидал Эрот, что время
Мне покрыло снегом темя,—
Крылья быстрые расправил,
Одного меня оставил.

СИМОНИД

СТАТУЯ НИОБЕИ

В камень живую меня превратили всесильные боги;
Мертвый камень опять к жизни воззвал Пракситель.

НАДГРОБИЕ СПАРТАНЦАМ В ФЕРМОПИЛАХ

О прохожий! Скажи, как придешь в Лакедемон, что все мы,
Верны законам его, здесь костями легли.

МОГИЛА САФО

Имя и пепел певицы под этою насыпью скрыты;
Нежная песня ее вечною жизнью живет.

ГОМЕР

* * *

Та же, что листьям дубравным, чреда и людским поколеньям.
Ветер развеет листы по земле; но дубрава завяжет
Новые почки, лишь снова весна народится. И люди
Так же: одно поколение мрет — подрастает другое.

ЭСХИЛ

СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ

(Последняя сцена из трагедии)

Прометей, прикованный к скале, и Хор океанид.

Прометей

И Зевс — как гордо ни упорствуй — будет
В урочный час унижен глубоко.
Он сеть себе сплетет, вступивши в брак:
Тот брак и власть отнимет у него,
И трон отнимет. Вочью совершится
Проклятие, которым Крон-отец
Клял сына, в прах летя со своего
Предвечного престола... И никто
Из всех богов, опричь меня, не может
Ему сказать, как отвратить погибель.
Лишь я единый слово тайны знаю.—
Пусть царствует покуда, тешась властью,
Своим воздушным громом величаясь!
Пусть ярко прыщут из его руки
Губящих молний огненные стрелы!
Ничто уж не спасет его; ничто
От страшного позора не удержит
И горького паденья. Он снарядит
И сам вооружит себе врага,—
И явится противник с дивной мощью:
Найдет он пламя жгучей молний Зевса,
И голосом заставит онеметь
Могучий гром и сокрушит державный
Трезубец Посейдона, все моря
И земли потрясающий. Тогда-то —
Постигнут грозным роком — Зевс узнает
Различие меж властью и паденьем!

Хор океанид

Давно грозишь желанным злоключеньем
Ты Зевсу.

Прометей

Сбудется, чего желаю!

Хор океанид

Кто смеет думать Зевса одолеть?

Прометей

Страшней и горше гибель он узнает!

Хор океанид

И произнесть ты это не страшишься?

Прометей

Страшиться? мне? Я непричастен смерти.

Хор океанид

Тебя страшнейшей пытке он подвергнет.

Прометей

Пускай! Я вижу все — и жду всего
Бестрепетно.

Хор океанид

Пред правотой небесной
Склоняется, немея, ум премудрых.

Прометей

Молись, немей, склоняйся пред властями!
А я... Да что мне этот Зевс? что в нем?
Пусть царствует как знает! Срок коро́ток —
И быть ему царем богов недолго.
Но вон летит сюда гонец крылатый:
Шлет новый царь мне нового посла.
Уж, верно, с важной новостью!

Гермес несется по воздуху, с жезлом и в крылатых сандалиях.

Гермес

Тебе,
Вреднейший, нетерпимый бунтовщик,
Восставший мятежом против богов
Из-за людского блага, дерзкий хищник
Священного огня, тебе сказать
Я прилетел по повеленью Зевса:
Сейчас же объясни свои намеки
На брак какой-то, хвастовство свое,
Что кто-то Зевса свергнет с трона. Все
Без всяких изворотов и загадок
Определенно сказывай! Смотри,
Чтоб плохо не было, как мне придется
В другой раз прилететь к тебе. Ты знаешь,
Пощады не бывать тогда от Зевса.

Прометей

Надменно, важно, с горделивым видом
Словами сыплешь ты, как подобает
Холопу Зевса. И давно ль попали
Вы, новички, на царство? А туда же —
Уверены, что можно беспечально
Вам в золотом чертоге пировать!
Я видел сам, как с этой вышки двое
Владык свалилось [1], — и еще увижу,
Как третий — господин твой — полетит...
Быстрее всех, позорней всех... Иль ты
Вообразил, что я затрепещу
И преклонюсь пред новыми богами?
Нет, многого до этого не хватит —
Всего! Так знай: ты можешь отправляться
Обратно той же самою дорогой,
Какой сюда явился! Ничего
На все свои допросы от меня
Ты не узнаешь.

Гермес

Не такое ль точно
Упорство привело тебя сюда
И горькой муке предало?

---

[1] Уран, дед Зевса, и Крон, отец его. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

Прометей

Своей
Плачевной доли — знай ты это! — я
Отнюдь не променяю на твое
Служенье Зевсу. Нет! милей мне этой
Скале служить, чем быть, как ты, усердным
И преданным рассыльным Зевса. Так-то
Должны мы вам, противникам всего,
Противиться!

Гермес

Тебе, как видно, любо
Быть в этом положенье?

Прометей

Любо? Очень
Желал бы я, чтоб так же было любо
И всем моим врагам! Ты в их числе.

Гермес

По-твоему, я тоже виноват
В твоем страданье?

Прометей

Что тут толковать?
Всех вас, богов, я ненавижу — всех
И каждого,— неправых и спокойных
В своем злодействе надо мной!

Гермес

Я вижу,
Ты сильно болен умственным расстройством.

Прометей

Да, болен, если только ненавидеть
Своих врагов — болезнь.

Гермес

Коль ты здоров,
Нигде терпим ты быть не можешь.

Прометей

Ах!

Гермес

Такого звука прежде от тебя
Мы не слыхали.

Прометей

Время старит нас
И учит многому.

Гермес

Тебя, однако ж,
Не научило быть благоразумней.

Прометей

Конечно; ведь иначе ты, холоп,
Ни слова от меня не услыхал бы.

Гермес

Так ты не скажешь ничего о том,
Что знать желает Зевс?

Прометей

Не должником ли
Меня считает он? не ждет ли платы
За всю любовь свою ко мне?

Гермес

Оставь
Свои издевки: я ведь не ребенок.

Прометей

Ты не ребенок, а глупей ребенка,
Коль думаешь услышать от меня
Хоть что-нибудь! Такой нет пытки, нет
Таких уловок, чтоб меня заставить
Сказать, что́ знаю: можете в позорных
Цепях меня держать хоть до свершенья
Предвестья моего! Итак, пусть Зевс
Огонь своих зубчатых молний шлет!

Пусть белокрылым снежным ураганом
И грохотом подземным пошатнет
И опрокинет все кругом в бесчинный
Хаос! Меня не склонит он ничем
Открыть ему, кто некогда с престола
Его столкнет.

Гермес

Подумай, что́ себе
Готовишь ты!

Прометей

Давно обдумал все;
Давно решился твердо!

Гермес

Так узнай же,
Узнай, несчастный, все обилье зол,
Которым обречен!

Прометей

Ты надоел
Мне пустозвонным словом. И не думай,
Чтоб перед Зевсом в страхе я, как баба,
Метаться стал и вздохи воссылать
К нему, всененавистному, с мольбою,
Чтоб он меня от этих уз избавил!
Нет, этому вовеки не бывать!

Гермес

Напрасно я слова с тобою трачу.
Нет, просьбами своими мне тебя
Не укротить, не тронуть: ты, как конь,
Впервые взнузданный, рвешь удила
И бешено в ярме тяжелом бьешься.
Но ослеплен ты гордостью бессилья:
Одним упорством без разумной меры
Нельзя победы в споре одержать.
Подумай — коль слова мои ты презришь, —
Какая неминучая ударит
В тебя гроза, что за пучина мук
Тебя поглотит! Знай: нещадным громом
И булавами молний гневный Зевс

В утесы этого ущелья грянет,
Дробя их в прах, а твой состав телесный
Отсюда сбросит в каменные недра
Дремучей пропасти. Потом, когда
Свершится круг годов неисчислимых,
Ты свет дневной увидишь; но к тебе
Начнет слетать могучий, бурнокрылый
Орел от Зевса: дик и алчен, станет
Терзать тебе измученное тело
Незваный гость по целым дням,— клевать
Остатки черной печени твоей.
И уж не жди себе от этой муки
Спасенья: разве бог какой тебя
Захочет искупить собой — и снидет
В потемки ада, в мрачные, как гроб,
Пределы тартара. Размысли это!
Не выдумка мои угрозы; нет!
В них слишком много правды. Никогда
В устах священных Зевса не бывало
Ни слова лжи: что скажет, то исполнит.
Так рассуди ж, подумай хорошенько!
Благоразумья не гони упрямством!

Хор океанид

А право, Гермес недурной совет
Тебе дает. Вонми благоразумью,
Упрямство брось, послушайся его:
Неправо поступать — позор для мудрых.

Прометей

Давно я прежде знал все то, что мне
Ты насказал. От злейшего врага
Принять такую муку — не позорно.
Пускай в меня двойным ударит жалом
Губительная молния! пусть воздух
Всколеблется от грохота громов,
От судорог и взрывов урагана!
Пусть буря глубь земную расшатает
И с основанья сдвинет землю! пусть
Смешаются, бичуемые гневом,
В боренье диком — воющее море
И молчаливая стезя светил!
Пусть в вечный сумрак тартара свирепо

Низринет роковой круговорот
Мое грозой раздробленное тело!
Все ж умертвить меня не может Зевс.

Гермес

Как слово извращается, когда
Смешает мысли заблужденье,— в нем
Живой пример! Он близок уж к безумью;
А от безумья перейти легко
И к бешенству. Но вы — о нем скорбеть
И над его ужасной долей плакать
Пришедшие — идите прочь, о девы,
Из этих мест! бегите дальше, дальше!
Иль, оглушив, лишат сознанья вас
Раскаты нескончаемые грома.

Хор океанид

Найди совет получше, чтоб могли
Мы внять ему; твои ж слова глубоко
Противны нам: не совратишь нас ими!
Тебя мы не послушаем; себя
Не обречем позору. Нет, мы с ним
Погибель примем! Ненавистны нам
Отступники,— и нет на свете яда
Гнуснее и презреннее измены!

Гермес

Так ладно ж! Помните мои слова:
Коль вас сразят громо́вые удары,
Не жалуйтесь на участь вы свою;
Не смейте говорить, что в вас нежданно,
Негаданно грозой ударил Зевс!
Вы знали все вперед: ни тайных козней
Тут не было, ни хитрого обмана.
Вы сами в бесконечной мреже рока
Запутались в безумном ослепленье.

Гермес исчезает. Страшный грохот в воздухе. Землетрясение.

Прометей

Слова его сбываются: грозил
Недаром он. Земля заколебалась;

За молньей молния — шипят и вьются
И всюду мечут огненные стрелы;
Столбами вихри поднимают пыль;
Везде шумит, как в буйном хмеле, буря;
С мятежнической яростью и с воем
В отчаянном схватились бое море
И небеса... И эту кару Зевс
Мне шлет, чтоб испугался я!.. Рази,
Хлещи, гроза! — О мать моя святая!
О ты, эфир, священная стезя
Зиждительного света! посмотрите,
Какую я терплю несправедливость!

Из английских поэтов

КРИСТОФЕР МАРЛО

ИЗ «ФАУСТА»

Фауст

(*один*)

Часы бьют одиннадцать.

О Фауст!

Один лишь час тебе осталось жить,
И обречен ты муке бесконечной.
Остановись, клубящаяся бездна
Небесных сфер! Пусть оборвется время
И полночь не наступит никогда!
Ты, око светозарное природы,
Взойди опять; о солнце! принеси
Мне вечный день! Иль этот час продлится
Пускай хоть год, хоть месяц, хоть неделю,
Хоть даже день, чтоб покаяньем душу
Себе спасти от муки я успел!
O, lente, lente currite, noctis equi! [1]
Но звезды всё вращаются, и время
Бежит, бежит. Пробьют часы, и дьявол
Придет за мной — и я погиб навеки.
О! я рванусь — и буду в небе!.. Кто же
Все тянет вниз меня? По темной тверди,
Я вижу, кровь Христова разлилась.

---

[1] О, медленно, медленно бегите, кони ночи! (*лат.*)

Лишь каплю мне одну — и я спасен!..
О мой Христос! — Не истяжи мне сердца,
Что я своим Христом его зову!
Я звать не перестану. Пощади,
О Луцифер!.. Но где же всё? Исчезло!
Передо мной грозящая рука
И лик грозящий... О холмы! о горы!
Обрушьтесь на несчастного! сокройте
Меня от тяжкой кары неба! — Нет?
Так в землю я ударюсь головой.
Земля, раскройся! И земля не хочет
Меня укрыть... О звезды! вы светили,
Когда родился я; влиянье ваше
Определяет смерть и ад... Снимите
Вы Фауста, как дымный пар, с земли,
И туча пусть в своем тревожном чреве
Меня сожмет, чтобы потом извергнуть
Лишь тело из дымящейся гортани,
Душе же дать на небо вознестись!

Часы бьют раз.

Уж полчаса — и скоро час! О, если
Душа должна несть кару за грехи,
Все ж пусть конец скорбям бессонным будет!
Пусть проживу в аду тысячелетье,
Сто тысяч лет — и все ж потом спасусь!
Но мукам душ проклятых нет конца.
О, для чего я одарен душой?
Иль для чего моя душа бессмертна?
О Пифагор! зачем твое ученье
Несбыточно? Душа, со мной расставшись,
Вселиться в зверя дикого могла бы.
Зверь счастлив: умер — и душа его
В стихиях тонет. А моя душа
Все жить должна, чтоб ныть от адской пытки.
Будь прокляты родившие меня!
Нет; будь я проклят сам! будь проклят бес,
Меня лишивший радостей небесных!

Часы бьют полночь.

Бьет полночь! полночь! Распадись ты, тело,
Чтоб дьявол не унес тебя в геенну!

Душа! рассыпься брызгами над морем
И в нем неуследимо пропади!

Гром. Входят бесы.

О, сжалься, небо! не рази угрозой!
Ехидны! змеи! дайте мне вздохнуть!
Не разевай ужасной пасти, ад!
Не приближайся, Луцифер! Сожгу
Все книги я свои... О Мефистофель!

РОБЕРТ БЕРНС

* * *

Джон Андерсон, сердечный друг!
    Как я сошлась с тобой,
Был гладок лоб твой и как смоль
    Был черен волос твой.
Теперь морщины по лицу,
    И снег житейских вьюг
В твоих кудрях; но — бог храни
    Тебя, сердечный друг!

Джон Андерсон, сердечный друг!
    Мы вместе в гору шли,
И сколько мы счастливых дней
    Друг с другом провели!
Теперь нам под гору плестись;
    Но мы рука с рукой
Пойдем — и вместе под горой
    Заснем, сердечный мой!

К ПОЛЕВОЙ МЫШИ, РАЗОРЕННОЙ МОИМ ПЛУГОМ

(В ноябре 1785)

Трусливый серенький зверек!
Велик же твой испуг: ты ног
Не слышишь, бедный, под собой.
        Поменьше трусь!
Ведь я не зол — я за тобой
        Не погонюсь.

Увы! с природой наша связь
Давно навек разорвалась...
Беги, зверек, хоть я, как ты,
Жилец земли
Убогий: сам терплю беды,
Умру в пыли.

Воришка ты; но как же быть?
Чем стал бы ты, бедняжка, жить?
Неужто колоса не взять
Тебе в запас,
Когда такая благодать
В полях у нас?

Твой бедный домик разорен;
Почти с землей сровнялся он...
И не найдешь ты в поле мхов
На новый дом;
А ветер, грозен и суров,
Шумит кругом.

Ты видел — блекнули поля
И зимних дней ждала земля;
Ты думал: «Будет мне тепло,
Привольно тут».
И что же? — Плуг мой нанесло
На твой приют.

А сколько стоило хлопот
Сложить из дерна этот свод!
Пропáло все — и труд и кров;
Нигде вокруг
Приюта нет от холодов,
От белых вьюг.

Но не с тобой одним, зверек,
Такие шутки шутит рок!
Не верен здесь ничей расчет:
Спокойно ждем
Мы счастья, а судьба несет
Невзгоду в дом.

И доля горестней моя:
Вся в настоящем жизнь твоя:
А мне и в прошлом вспоминать
Ряд темных лет,
И с содроганьем ожидать
Грядущих бед!

К СРЕЗАННОЙ ПЛУГОМ МАРГАРИТКЕ

(В апреле 1786)

Цветок смиренный полевой!
Не в добрый час ты встречен мной:
Как вел я плуг, твой стебелек
Был на пути.
Краса долины! я не мог
Тебя спасти.

Не будешь пташки ты живой,
Своей соседки молодой,
Поутру, только дрогнет тень,
В росе качать,
Когда она румяный день
Летит встречать.

Был ветер северный жесток,
Когда впервые твой росток
Родную почву пробивал;
В налете гроз
Ты почку раннюю склонял,
Под бурей взрос.

От непогод цветам садов
Защитой стены, тень дерёв.
Случайной кочкой был храним
Твой стебелек;
В нагих полях ты цвел незрим
И одинок.

Ты скромно в зелени мелькал
Головкой снежною; ты ждал
Привета солнышка,— и вдруг

Во цвете сил
Тебя настиг мой острый плуг —
И погубил.

Таков удел цветка села —
Невинной девушки: светла
Душой доверчивой, живет
Не чуя бед;
Но злоба срежет и сомнет
Прекрасный цвет.

Таков удел певца полей:
Среди обманчивых зыбей
По морю жизни он ведет
Свой хрупкий челн,
Пока под бурей не падет
Добычей волн.

Таков удел в борьбе с нуждой
Всех добрых: гордостью людской
И злом на смерть осуждены,
Они несут —
Одних небес не лишены —
Кровавый труд.

Над маргариткой плачу я...
Но это доля и моя!
Плуг смерти надо мной пройдет
И в цвете лет
Меня подрежет — и затрет
Мой слабый след.

ПАХАРЬ

Вешнее солнце взошло над землей.
Пахарь-красавец идет за сохой.
Тихо идет он и громко поет:
«Кто-то весною как пахарь живет?»

Резвая пташка летит в небеса;
Рано проснулась: на крыльях роса.
С пахарем пташка поутру поет;
К ночи подруга в гнезде ее ждет.

ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

Когда-то сильных три царя
Царили заодно —
И порешили: сгинь ты, Джон
Ячменное Зерно!

Могилу вырыли сохой,
И был засыпан он
Сырой землею, и цари
Решили: сгинул Джон!

Пришла весна, тепла, ясна,
Снега с полей сошли.
Вдруг Джон Ячменное Зерно
Выходит из земли.

И стал он полон, бодр и свеж
С приходом летних дней;
Вся в острых иглах голова —
И тронуть не посмей!

Но осень томная идет...
И начал Джон хиреть,
И головой поник — совсем
Собрался умереть.

Слабей, желтее с каждым днем,
Все ниже гнется он...
И поднялись его враги...
«Теперь-то наш ты, Джон!»

Они пришли к нему с косой,
Снесли беднягу с ног
И привязали на возу,
Чтоб двинуться не мог.

На землю бросивши потом,
Жестоко стали бить;
Взметнули кверху высоко —
Хотели закружить.

Тут в яму он попал с водой
И угодил на дно...
«Попробуй, выплыви-ка, Джон
Ячменное Зерно!»

Нет, мало! взяли из воды
И, на пол положа,
Возили так, что в нем едва
Держалася душа.

В жестоком пламени сожгли
И мозг его костей;
А сердце мельник раздавил
Меж двух своих камней.

Кровь сердца Джонова враги,
Пируя, стали пить,
И с кружки начало в сердцах
Ключом веселье бить.

Ах, Джон Ячменное Зерно!
Ты чудо-молодец!
Погиб ты сам, но кровь твоя —
Услада для сердец.

Как раз заснет змея-печаль,
Все будет трын-трава...
Отрет слезу свою бедняк,
Пойдет плясать вдова.

Гласите ж хором: «Пусть вовек
Не сохнет в кружках дно,
И век поит нас кровью Джон
Ячменное Зерно!»

ЗЛАЯ СУДЬБА

Под знойным вихрем злой судьбы
Мой свежий лист опал;
Под знойным вихрем злой судьбы
Мой свежий лист опал!

Мой стан был прям, побег могуч,
Мой цвет благоухал;
В росе ночей, в блистанье дня
Я бодро возрастал.

Но буйный вихорь злой судьбы
Весь цвет мой оборвал;
Но буйный вихорь злой судьбы
Весь цвет мой оборвал!

ДЖОРДЖ БАЙРОН

ИЗ «ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА»

Прости, прости, мой край родной!
Ты тонешь в лоне вод.
Ревет под ветром вал морской,
Свой крик мне чайка шлет.
На запад, солнцу по пути,
Плыву во тьме ночной.
Да будет тих твой сон! прости,
Прости, мой край родной!

Недолго ждать: гоня туман,
Взойдет и день опять.
Увижу небо, океан;
Отчизны — не видать.
Заглохнет замок мой родной;
Травою зарастет
Широкий двор; поднимет вой
Собака у ворот.

Малютка паж мой! ты в слезах.
Скажи мне, что с тобой?
Иль на тебя наводят страх
Шум волн и ветра вой?
Корабль мой нов; не плачь, мой паж!
Он цел и невредим.
В полете быстрый сокол наш
Едва ль поспорит с ним.

«Пусть воет ветер, плещет вал!
Не все ли мне равно?
Не страх, сэр Чайльд, мне сердце сжал:
Оно тоской полно,
Ведь я отца оставил там,
Оставил мать в слезах.
Одно прибежище мне — к вам
Да к богу в небесах.

Отец, как стал благословлять,
Был тверд в прощальный час;
Но долго будет плакать мать,
Не осушая глаз».
Горюй, горюй, малютка мой!
Понятна грусть твоя...
И будь я чист, как ты, душой,
Заплакал бы и я!

А ты, мой йомен, что притих?
Что так поник челом?
Боишься непогод морских,
Иль встречи со врагом?
«Сэр Чайльд, ни смерть мне не страшна,
Ни шторм, ни враг, ни даль;
Но дома у меня жена:
Ее, детей мне жаль!

Хоть и в родимой стороне,
А все ж она — одна.
Как спросят дети обо мне,
Что скажет им она?»
Довольно, друг! ты прав, ты прав:
Понятная печаль!
А я... суров и дик мой нрав:
Смеясь я еду вдаль.

Слезам лукавых женских глаз
Давно не верю я:
Я знаю, их другой как раз
Осушит без меня!

В грядущем — нечего искать,
    В прошедшем — все мертво.
Больней всего, что покидать
    Не жаль мне ничего.

И вот среди пучин морских
    Один остался я...
И что жалеть мне о других?
    Чужда им жизнь моя.
Собака разве... да и та
    Повоет день-другой,
А там — была бы лишь сыта,
    Так я и ей чужой.

Корабль мой! пусть тяжел мой путь
    В сырой и бурной мгле,
Неси меня — куда-нибудь,
    Лишь не к родной земле!
Привет вам, темные валы!
    И вам, в конце пути,
Привет, пустыни и скалы!
    Родной мой край, прости!

ФЕЛИЦИЯ ГИМЕНО

* * *

Убаюкай, родная, больную меня,
  Как баюкала, в люльке качая!
  Мне изнывшее сердце, родная,
  Убаюкай, крестом осеня!

Головой утомленной склонилась бы я:
  Засыпает цветок ночью темной;
  Отдыхает и странник бездомный...
  Убаюкай, родная, меня!

Непогодой запугана птичка твоя...
  Тяжела ты мне, жизнь молодая!
  И зачем я любила, родная?..
  Ах, баюкай! баюкай меня!

* * *

Все, что вольно, снится мне:
Голубой степной поток,
И по яркой быстрине
Убегающий челнок;
Скок оленя в тьме лесов —
Глаз в огне, рога к спине;
Звон от тысячи ручьев...
Все, что вольно, снится мне!

Над зубцами ясных гор
Снится мне полет орла,

Виден солнечный простор,
Слышен шумный взмах крыла.
Я иду... кусты к реке
Никнут будто в мирном сне...
Хоть бы парус вдалеке!..
Все, что вольно, снится мне!

Снится мне дитя в цветах
Средь сияющих полян;
Синей ночью при звездах
Стан кочующих цыган;
Шум на людных площадях;
Рощи в праздничном огне...
Сердце сдавлено в цепях —
И, что вольно, снится мне!

ТОМАС ГУД

У СМЕРТНОГО ОДРА

Всю ночь стерегли мы дыханье у ней...
Недвижно лежала она;
В груди колебалась слабей и слабей
Последняя жизни волна.

Старались чуть внятно мы все говорить,
Едва шевелились вокруг,
Как будто часть жизни своей уделить
Хотели, чтоб ожил наш друг.

То страхом надежда убита была,
То страх был надеждой убит:
Уснула — и кажется нам, умерла;
Скончалась — мы думаем, спит.

Туманное утро настало для нас.
Сырая чуть дрогнула тень;
А очи усопшего друга, смежась,
Сияющий видели день.

ПЕСНЯ О РУБАШКЕ

Затекшие пальцы болят,
И веки болят на опухших глазах...
Швея в своем жалком отрепье сидит
С шитьем и иголкой в руках...
Шьет — шьет — шьет,

В грязи, в нищете, голодна,
И жалобно горькую песню поет —
Поет о рубашке она.

«Работай! работай! работай,
Едва петухи прокричат!
Работай! работай! работай,
Хоть звезды сквозь кровлю глядят!
Ах, лучше бы мне пропадать
В неволе у злых басурман!
Там нечего женщине душу спасать,
Как надо у нас, христиан.

Работай! работай! работай,
Пока не сожмет головы как в тисках!
Работай! работай! работай,
Пока не померкнет в глазах!
Строчку — ластовку — во́рот —
Во́рот — ластовку — строчку...
Повалит ли сон над шитьем — и во сне
Строчишь все да рубишь сорочку.

О братья любимых сестер!
Опора любимых супруг, матерей!
Не холст на рубашках вы носите — нет!—
А жизнь безотрадную швей.
Шей! шей! шей!..
В грязи, в нищете, голодна,
Рубашку и саван одною иглой
Я шью из того ж полотна!

Но что мне до смерти? Ее не боюсь,
И сердце не дрогнет мое,
Хоть тотчас костлявая гостья приди.
Я стала похожа сама на нее.
Похожа от голоду я на нее...
Здоровье не явится вновь.
О боже! зачем это дорог так хлеб,
Так дешевы тело и кровь?

Работай! работай! работай!
Мой труд бесконечный жесток.
А плата? Отрепье, солома в углу

Да черствого хлеба кусок.
Скамейка да стол — голый пол —
Убогая кровля сквозится...
И то́ любо мне, как на серой стене
Порой моя тень отразится.

Работай! работай! работай
От боя до боя часов!
Работай! работай! работай,
Как каторжник в тьме рудников!
Строчка — ластовка — во́рот —
Во́рот — строчка — рубец...
Застелет глаза, онемеет рука,
И сердце замрет под конец.

Работай! работай! работай,
Когда леденеет в окошке стекло!
Работай! работай! работай,
Когда и светло и тепло —
И ласточки, к выступам кровли лепясь,
Щебечут в сиянии дня,
И кажут мне яркие спинки свои,
И дразнят весною меня.

О! только бы раз подышать
Дыханьем лугов, полевыми цветами!
Вверху только небо одно,
Трава и цветы под ногами.
О! только бы час лишь пожить
Блаженством младенческих лет,
Когда я не знала, что буду ценить
Дороже прогулки обед!

О! только бы час лишь один!
Лишь миг!.. чтоб душа ожила...
Любовь и надежда! и мига вам нет:
Все время печаль отняла.
Поплакать бы — легче бы сердцу от слез...
Нет, слезы мои! не теките!
Иголке моей не мешайте вы шить!
Шитья моего не мочите!»

Затекшие пальцы болят,
И веки болят на опухших глазах...

Швея в своем жалком отрепье сидит
С шитьем и иголкой в руках...
Шьет — шьет — шьет,
В грязи, в нищете, голодна,
И жалобно горькую песню поет...
Иль песня та к вам, богачи, не дойдет?..
Поет о рубашке она.

СТАНСЫ

I

Жизнь, прощай! мутится ум;
Мир стал мертвенно угрюм;
Меркнет свет, и тьма растет,
Словно ночь, грозясь, идет;
Холодней и холодней
Серый пар ползет с полей,
И дыханье роз сменил
Запах тленья и могил.

II

Здравствуй, жизнь! теплеет кровь;
Ожила надежда вновь;
Черный страх бежит, как тень
От лучей, несущих день;
Быстро гонят тьму и хлад
Свет, тепло и аромат...
Запах тленья все слабей,
Запах розы все слышней.

ИЗГНАНИЕ

Из-за моря ласточка
Весной полетит,
И ветер, мне веющий,
Твой сад навестит;

С тем ветром кораблик наш
Вернется домой.
А я? Не видать уж мне
Сторонки родной!

Немало там льется слез —
И слезы твои
О том, что от слез твоих
Далеко мои.
И чем мы разрознены,
Родная, с тобой?
Одним только морем ли,
Иль смертью самой?

Белеет ли облачко
Вдали на волнах,
Мне грезится домик наш
На белых скалах.
Но облачко легкое
Вспорхнет к небесам...
Знать, заживо, милая,
Не свидеться нам!

БАРРИ КОРНУОЛ

ЛОДОВИКО СФОРЦА

СЦЕНА I

Улица.
Герцог Миланский. Лодовико Сфорца.

Герцог

А так ли гордая была чиста,
Как и прекрасна?

Сфорца

О! чиста, как пламя,
Горевшее на алтаре Дианы,
Мила, как вешний день. Она сияла,
Как светлый образ греческого мифа,
Как из стихий рожденная богиня,
Влекущая в свои объятья смертных.
Прекраснее виденья не являлось
Поэту в грезах; из арабских сказок
Такая гурия в заветный рай
Обетом счастья не манила. Голос
Чарующею музыкой звучал,
Как издали уловленные тоны
Певучей флейты, что разносит резвый
Июньский ветерок по цветникам
И по садам, в вечерней неге спящим.

Герцог

И умерла?

Изабелла показывается у окна.

Сфорца

Да! умерла!.. О боже!
Кого я вижу? кто это?

Герцог

Взгляните
И полюбуйтесь ею!

Сфорца

Вижу, вижу...
Иль мертвые выходят из могил?..
Она сама... иль тень ее?.. Возможно ль?
Все тот же блеск в глазах, хотя их смерть
Своей плевою темной затянула.
Смотрите!

Герцог

Государь!
Изабелла отходит от окна.

Сфорца

Она исчезла.

Герцог

Моя невеста это — Изабелла.

Сфорца

Невеста ваша?.. Да! она прекрасна!..
Ее лицо знакомо мне... В мечтах я
Его видал... иль где-то... где — не знаю...
Теперь мечтать не стану — стану думать...
А может быть — и действовать.

Входит Изабелла со свитой, Пиетро де Медичи и другие.

Герцог

Прошла ли,
Мой друг, твоя усталость? Отдохнула ль
Ты после переезда? Да?.. Тревожить
Тебя и утомленье пожалело:
Твой взор горит, ища побед в Милане.

И з а б е л л а

Мой долг велит искать мне лишь одной
Победы здесь.

Г е р ц о г

А сердце?

И з а б е л л а

Сердце — тоже.

Г е р ц о г

Послушай, милая!.. два слова...

Говорят про себя.

М е д и ч и

Принц!

С ф о р ц а

А! Медичи! здорово!

М е д и ч и

Милый Сфорца,
Что с вами? Вы в каких-то думах. Даже
Друзей не замечаете.

С ф о р ц а

Ах, нет!
Вот разве мой племянник — в сладких грезах —
О дяде позабыл...

Г е р ц о г

Простите, друг мой!
Простите!— Изабелла! это дядя
И опекун мой... Мне отцом он был.
Люби его!

С ф о р ц а

Я — Лодовико Сфорца
И рыцарь ваш, принцесса, если только
Такой вам жалкий рыцарь пригодится.

И з а б е л л а

Благодарю вас, Сфорца.

Герцог

Вон и Альпы!
Взгляни-ка, милая!

Сфорца

Сюда, принцесса,
Взгляните! Снежные вершины блещут,
Как будто солнце увидали.

Герцог

Горы —
И те встречают радостным приветом
Мою любовь. Все счастливо и ясно.
А сколько счастья тут — вот в этом сердце!

Изабелла

Меня ты избалуешь!

Сфорца

Этот день —
Торжественный для всей природы праздник,
И вы — его царица.

Изабелла

Перестаньте!
Довольно!

Герцог

Так идем! Здесь стало жарко;
Поищем тени.

Сфорца

Я сейчас за вами.

Они уходят.

Она ушла — и будто ночь настала.
Как! мне безумствовать — в мои года?
Мне быть игрушкой этого мальчишки?
Ему теперь *поцарствовать* охота...
Нет! это уж моей заботой будет!—
Что за глаза у ней!.. По ним не скажешь,
Что жизнь ее спокойно потечет;
Иное у нее во взгляде. Будет
Она всем править здесь. А я?.. О, будь я

Тот Сфорца, что тому лет двадцать был
Увенчан во Флоренции, быть может,
Она и полюбить меня могла бы.
Любовь!.. Ее ль стараться победить,
Иль честолюбье?.. Но и жажда власти
И страсть меня влекут непобедимо.
Мой путь намечен... Но куда? То скрыто
Во мгле грядущего.— Подумать надо.
(*Уходит.*)

СЦЕНА II

Комната с пышно накрытым для ужина столом.

Год спустя.

Изабелла

Как медлит время! словно позабыло
Свою обязанность. А были дни,
Когда оно летело. О, как сладки
Те дни казались! как тогда досадна
Была мне быстрота его! А ныне
Его крыло слезами я мочу.
Так тяжко подвигаются минуты!
Уж не боится ль он прийти?.. О, нет!..
Чу! звонкий шаг по зале. Это *он*,
Убийца, Сфорца.— Сердце! собери
Всю мощь свою и бодро соверши
Долг правосудной мести!.. Вот он!

Входит Сфорца.

Сфорца

Радость,
Любовь моя и божество! я вас
Пришел благодарить за вашу милость.
Не опоздал ли?

Изабелла

Нет, как раз — минута
В минуту.

Сфорца

Но вы грустны, Изабелла...
Уж не лишило ль что меня надежды
На ваше обещанье?

Изабелла

О, ничто!
Не сомневайтесь, не ропщите, герцог!
Вы знаете, что мне порою сердце
Вдруг схватывает боль... Но я сегодня
Достойно угостить вас постараюсь.

Сфорца

Надеюсь, лучше, милая, чем стою?

Изабелла

Вам стоит пожелать — и нет желанья
Неисполнимого. Хоть я вдова,
Хоть и не все я выплакала горе,
Но улыбаться стану вам сквозь слезы,
Как солнышко апрельское сквозь дождь.
Ведь надо ж положить предел любовным
Победам вашим: загордились вы!
Я постараюсь вас сдержать немножко.

Сфорца

О, милая!..

Изабелла

Вы будете моим,
Моим, пока — не разлучит нас смерть.
Мне было столько горя! так изныло
Все сердце!.. Вы утешите меня.

Сфорца

Чем, милая?

Изабелла

Придумаем.— Ах, нет!
Уж это слишком вольно, государь!..
Нет; покорить меня словами надо
(Хоть и пустыми), нежною улыбкой

И взглядом нежным, клятвами (хотя бы
Притворными) и тонкой лестью. Что ж?
Что ж? начинайте! говорите, герцог!
Я жду! я жду!

Сфорца

Да что ж тебе скажу я?
Пред прелестью твоей бессильно слово.
Поэтом воспеваемых красавиц
Считают люди вымыслом; не то же ль
И про тебя сказали б?

Изабелла

У меня
Поэта нет, чтоб лгать в гремучих рифмах,
И я останусь невоспетой.

Сфорца

Нет,
Нет! я хочу, чтоб в сладостных стихах
Твое звучало имя, чтобы славой
Скульптору и его искусству было
Твой образ изваять, чтоб живописцы
В изящном вымысле изображали
Нас вместе, милая, рука с рукою.

Изабелла

Мысль недурна.

Сфорца

Ты — царственная Гера,
А я — Зевес... в те чудные минуты,
Когда в ее очах тонул он взглядом.

Изабелла

Владычица Олимпа, государь,
Была сварлива, помнится; а я...

Сфорца

Так будь ты девой чудных древних басен,
Той девою, что весело сбирала
Цветы в полях Сицилии — и трон
С Плутоном разделила... Не была ли

Она прелестным о тебе предвестьем?..
Пусть встанут горы вкруг тебя, и лягут,
Дремотно нежась, пышные долины,
И потекут, сверкая, голубые
Ручьи Сицилии, и станет тихо
Под западным склоняться дуновеньем
Зеленый лес в мерцанье предрассветном,
Благоговейно ожидая светлой
Улыбки Аполлона на востоке.
Еще бы что?.. Да! Преклонив колени,
Ты будешь рвать цветы и чутким слухом
Чего-то ждать; а я — влюбленный бог —
Уже несусь на быстрой колеснице
К моей прелестной Прозерпине...

Изабелла

Этим
Я недовольна.

Сфорца

Отчего, мой ангел?

Изабелла

Ведь, значит, вы возьмете в *ад* меня?..
Простите!.. я расстроена — больна...
Не станемте об этом говорить...
Хотите сесть за мой непышный ужин?

Сфорца

Конечно, милая.

Изабелла

Одни мы будем.

Сфорца

Тем лучше.

Садятся за стол.

Я не голоден; но выпью,
Моя царица, за твое здоровье!

Изабелла

Вот, государь, и редкое вино:
Оно, как драгоценные те капли,

Которых ищут мудрецы, вам даст
Бессмертие.

Сфорца

Так дай его сюда!
Желаю никогда тебе не знать
Минуты грустной!

Изабелла

Ах! остановитесь!
Не пейте!

Сфорца

Что такое?

Изабелла

Вы хотите
Пить без меня?.. Не стыдно ли! Видали
Вы этот плод? Один моряк почтенный,
Объехавший кругом весь мир, привез мне
Его с индийских островов: туземцы
Там молятся, я слышала, ему
Как божеству.

Сфорца

Он вкусом сладок. Помню —
Его любил покойник Галеаццо.

Изабелла
(*про себя*)

Благодарю вас, духи мести! (*Громко.*) Что ж?
Теперь и за бессмертное вино
Приняться можно. Пейте, государь!
В честь Купидона!

Сфорца

Пью. О! это был
Коварный бог: он людям помрачал
Глаза, как мило повествует басня,
Но у *меня* (а как влюблен я!) светел
Взгляд, как у стоика... Ой!

Изабелла

Что такое?
Что с вами?

Сфорца

Ах, как холодно вино!

Изабелла

Сейчас теплей покажется: оно,
Мне говорили, согревает сердце.
Послушайте! вчера случилось мне
Прочесть про старца одного, поэта,
Что был когда-то в Греции. Всю жизнь
Он посвящал вину — и что же? умер
От виноградинки. Ведь справедлива
Такая смерть!

Сфорца

О, да!.. Твое вино...

Изабелла

И множество рассказов я слыхала,
Как люди жизнь постыдную кончали
Постыдной смертью: как бывал убийца
И сам убит, как жертвою измены
Изменник падал, как сирот губивший
Сам по миру с сумой потом скитался.
Таков закон господень правосудный!
Как часто злодеянье обращалось
На самого злодея, казнь отмщеньем
Была за казнь — и *яд* за *яд* отплатой!

Сфорца

Ой! сердце!

Изабелла

Что? все холодно вино?

Сфорца

Я весь горю. Скорей воды!

Изабелла

Вы бледны.
Я позову на помощь. Эй! сюда!

Входят *слуги.*

Изабелла

Связать его!

Сфорца

Предательница!

Изабелла

Ладно.
Оставьте нас одних!

Слуги уходят.

Теперь не стану
Тебя обманывать — на этом свете
Ты пить уже не будешь больше.

Сфорца

Ох!
Ох! сердце!.. Вероломная!.. Нет сил...

Изабелла

Хотела б я, чтоб правое возмездье
Свершилось над тобой не столь сурово.
Но можно ль было? Чувствовала я,
Что должен *умереть* ты — за меня,
За сына моего, за государя...
Ведь ты *убил* супруга моего.
Что смотришь?.. Это горестная правда!
Ты в герцогстве на первом месте сел
И все права малютки моего
Развеял прахом. Что на это скажешь?
Иль вздумаешь опровергать меня?
Что ж? отвечай, пока еще есть время!

Он умирает.

Молчишь? Итак, ты осужден навеки!
Мне жаль почти, что взгляд твой помертвел.
Глаза темны, недвижны... Как похож он
Становится на эти изваянья,
Что в каменной, холодной белизне
На насыпях кладбища восседают —
На память о жильцах его холодных...
Да говори ж! Иль ты окаменел?
Что можешь ты сказать себе в защиту?..

Ах, отвернись и не гляди! Как смеешь
Так устремлять глаза ты на меня?..
Теперь уже не влюбишься! — Не лучше ль
Его поднять? Как плети, у него
Повисли руки... Отвернись же!.. Страшно
Мне прикоснуться до него... а надо!..
А! умер!.. умер!.. от меня... О боже!
Прости ты мне! Я горькая вдова —
И мать... Ведь ради своего дитяти
Я это сделала. Он так жестоко
Нас притеснял, убийца! Он хотел
Из рук моих отнять мое дитя...
А у меня один он, — бедный птенчик!
Что было делать? как его спасти?
Другого средства не сыскала я!

ЖЕНА КАТОРЖНОГО

У тебя клеймо на лбу,
И позорно и черно;
Всем видна твоя вина,
И не смоется оно.

У тебя клеймо на лбу;
Но везде пойду с тобой.
Кто тебя полюбит там,
Если будешь брошен мной?

Целый мир тебя отверг,
И грешна душа твоя.
Целый мир тебя отверг;
Но не я, не я, не я!

Если насмерть ранен тигр,
Рядом с ним лежит, любя,
И тигрица. — Милый мой,
Я тигрица у тебя!

АЛЬФРЕД ТЕННИСОН

ГОДИВА

Я поджидал поезда в Ковентри́
И на мосту стоял с толпой народа,
На три высоких, древних башни глядя;
И старое преданье городское
Мне вспомнилось...

Не мы одни — позднейший
Посев времен, новейшей эры люди,
Что мчимся вдаль, пути не замечая,
И прошлое хулим и громко спорим
О лжи и правде, о добре и зле,—
Не мы одни любить народ умели
И скорбь его душою понимать.
Не так, как мы (тому теперь десятый
Минует век), не так, как мы, народу
Не словом, делом помогла Годива,
Супруга графа грозного, что правил
Всевластно в Ковентри. Когда свой город
Он податью тяжелой обложил,
И матери сошлись толпами к замку,
Неся детей, и плакались: «Коль подать
Заплатим — все мы с голоду помрем!» —
Она пошла к супругу. Он один
Шагал по зале средь собачьей стаи;
На пядь вперед торчала борода,
И на́ локоть торчали сзади космы.
Про общий плач Годива рассказала
И мужа умоляла: «Если по́дать
Они заплатят — с голоду умрут!»
Он странно на нее глаза уставил
И молвил: «Полноте! Вы не дадите

Мизинца уколоть за эту сволочь!» —
«Я умереть готова!» — возразила
Ему Година. Он захохотал;
Петром и Павлом клялся, что не верит;
Потом по бриллиантовой сережке
Ей щелкнул и сказал: «Слова! слова!» —
«Скажите, чем,— промолвила она,—
Мне доказать? Потребуйте любого!»
И сердцем жестким, как рука Исава,
Граф испытанье выдумал... «Ступайте
На лошади по городу нагая —
И отменю!» Насмешливо кивнул
Он головой и ровными шагами
Пошел, с собой собачью стаю клича.

Когда одна осталася Година,
В ней мысли, словно бешеные вихри,
Кружились и боролися друг с другом,
Пока не победило состраданье.
Она отправила герольда в город,
Чтоб с трубным звуком всем он возвестил,
Что граф назначил тяжкое условье,
Но что она спасти народ решилась.
«Они меня все любят,— говорила,—
Так пусть до полдня ни одна нога
Не ступит, ни один не взглянет глаз
На улицу, когда я ехать буду;
Пусть посидят покамест дома все,
Затворят двери и закроют окна».

Потом пошла она в свою светлицу
И пряжку пояса с двумя орлами,
Подарок злого лорда своего,
Там расстегнула. Но у ней стеснилось
Дыханье, и замедлилась она,
Как медлит в белой тучке летний месяц.
Опомнившись, тряхнула головой,
И до колен рассыпались волнами
Ее густые волосы. Поспешно
Она одежду сбросила и стала
Украдкою по лестнице спускаться.
Как луч дневной между колонн скользит,
Так и Година кралась от колонны

К колонне, и в воротах очутилась.
Тут конь ее стоял уж наготове,
Весь в пурпуре и в золотых гербах.

И на коне поехала Годива,
Одета целомудрием. Казалось,
Вокруг нее весь воздух притаился,
И ветерок едва дышал от страха,
И щурились исподтишка, лукаво
На желобах с широкой пастью рожи.
Дворняжка где-то тявкнула, и щеки
Годивы вспыхнули. Шаги коня
Ее кидали и в озноб и в трепет.
Казалось ей, что все в щелях коварных
Глухие стены, что затем теснятся
Над головой у ней шпили домов,
Чтоб на нее взглянуть из любопытства.
Но ехала и ехала Годива,
Пока пред ней в готические арки
Градской стены не показалось поле,
Сияя белым цветом бузины.

Тогда она поехала назад,
Одета целомудрием. В то время
Один несчастный, никогда не знавший
Биенья благодарности в груди
И бранному присловью давший имя,
Дыру в закрытом ставне пробуравил
И, весь дрожа, лицом к нему припал;
Но не успел желанья утолить,
Как у него глаза оделись мраком —
И вытекли. Так сила дел благих
Сражает злые чувства. Ничего
Не ведая, проехала Годива —
И с сотни башен разом сотней медных
Звенящих языков бесстыдный полдень
Весь город огласил. Она поспешно
Вошла в свою светлицу и надела
Там мантию и графскую корону,
И к мужу вышла, и с народа подать
Сняла, и в памяти людской навеки
Оставила свое святое имя.

ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

Песни о невольничестве

К ВИЛЬЯМУ ЧАННИНГУ

Когда из книги мне звучал
Твой голос величаво, строго,
Я сердцем трепетным взывал:
«Хвала тебе, служитель бога!»

Хвала! Твоя святая речь
Немолчно пусть звучит народу!
Твои слова — разящий меч
В священной битве за свободу.

Не прерывай свой грозный клич,
Покуда ложь — законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич
Позорят званье человека!

Во глубине твоей души
Господень голос непрестанно
Зовет тебя: «Пророк! пиши!» —
Как на Патмосе Иоанна.

Пиши кровавые дела
И возвести день скорби слезной,
День гнева над пучиной зла,
Апокалипсис этот грозный!

СОН НЕВОЛЬНИКА

Истомленный, на рисовой ниве он спал.
    Грудь открытую жег ему зной;
Серп остался в руке,— и в горячем песке
    Он курчавой тонул головой.
Под туманом и тенью глубокого сна
    Снова видел он край свой родной.

Тихо царственный Нигер катился пред ним,
    Уходя в безграничный простор.
Он царем был опять, и на пальмах родных
    Отдыхал средь полей его взор.
И, звеня и гремя, опускалися в дол
    Караваны с сияющих гор.

И опять черноокой царице своей
    С нежной лаской глядел он в глаза,
И детей обнимал,— и опять услыхал
    И родных и друзей голоса.
Тихо дрогнули сонные веки его,—
    И с лица покатилась слеза.

И на борзом коне вдоль реки он скакал
    По знакомым, родным берегам...
В серебре повода,— золотая узда...
    Громкий топот звучал по полям
Средь глухой тишины,— и стучали ножны
    Длинной сабли коню по бокам.

Впереди словно красный кровавый платок,
    Яркокрылый фламинго летел;
Вслед за ним он до ночи скакал по лугам,
    Где кругом тамаринд зеленел.
Показалися хижины кафров,— и вот
    Океан перед ним засинел.

Ночью слышал он рев и рыкание льва
    И гиены пронзительный вой;
Слышал он, как в пустынной реке бегемот
    Мял тростник своей тяжкой стопой...
И над сонным пронесся торжественный гул,
    Словно радостный клик боевой.

Мириадой немолчных своих языков
    О свободе гласили леса;
Кличем воли в дыханье пустыни неслись
    И земли и небес голоса...
И улыбка и трепет прошли по лицу,
    И смежилися крепче глаза.

Он не чувствовал зноя; не слышал, как бич
    Провизжал у него над спиной...
Царство сна озарила сиянием смерть,
    И на ниве остался — немой
И безжизненный труп: перетертая цепь,
    Сокрушенная вольной душой.

БЛАГАЯ ЧАСТЬ, ЯЖЕ НЕ ОТЫМЕТСЯ

Она живет у вод Кенгавы,
    В среде чужих детей.
Ей школа — все; надежды, славы
    Другой не нужно ей.

Как кроет всё одеждой ясной
    Цветущая весна,
Так святостью души прекрасной
    Объемлет всех она.

Сама с детьми в полях играет,
    Все с лаской жмутся к ней,
И кроткий взгляд ее смиряет
    Упрямых дикарей.

Под вечер слушать все готовы
О том, кто в мир грехов
Пришел снять с узника оковы,
Освободить рабов.

«Придет пора — все будут вольны!
По всей земле — по всей —
Как звон раздастся колокольный
Звук порванных цепей!»

Так, следуя Христа ученью,
Смиренна и бедна,
Себя лишь ближним на служенье
Всю обрекла она.

И у нее богатство было;
Но, помня божий страх,
Она рабов освободила
И в доме и в полях.

Все за морем они, на воле,
В краю своем родном;
Она ж живет в смиренной доле
Дневным своим трудом...

Горячей силой их молитвы
От бед охранена,
Как ангел, средь житейской битвы
Спокойна и ясна!

НЕВОЛЬНИК В ПРОКЛЯТОМ БОЛОТЕ

В Проклятом Болоте, в трущобе лесной,
Бежавший невольник лежал.
Он видел — костер зажигали ночной;
Он слышал собак, за ним рыскавших, вой
И топот коней различал.

Где светятся искры блудящих огней
  В болотной траве, по кустам,
Где лепится мох у древесных корней
И лозы — все в пятнах, как кожа у змей,—
  Ползут по кедровым стволам;

Куда человек заглянуть бы не смел,
  Где в зыбкой трясине кругом
Увлаженный дерн под ногами скрипел,
В колючей и вязкой траве он засел,
  Как зверь в логовище своем.

Несчастный старик, истомленный, больной,
  Лицо все в глубоких рубцах,
Как в клеймах позорных. Одеждой худой
Не мог он прикрыть и позор свой другой —
  Следы от бича на плечах.

Светло и прекрасно на свете всему,
  Свобода и радость есть всем!
Вот векша скакнула, вот в сонную тьму
Песнь вольная птиц донеслася к нему.
  А он неподвижен и нем!

Рассвета не видел он в жизненной мгле,
  В неволе, в цепях, под бичом...
Как Каин, проклятье он нес на челе,
Безвыходным рабством придавлен к земле,
  Как колос тяжелым цепом!

ПЕНЬЕ НЕВОЛЬНИКА В ПОЛНОЧЬ

Гимн Давида вдохновенный —
Раб и негр — он громко пел;
Пел Сион освобожденный,
Гром побед и славных дел.

Ночь была тиха, спокойна,
Все объято было сном,
И звучал полно и стройно
Голос в воздухе ночном.

Не такой ли гимн свободный
Слышал черный фараон,
Как грозой пучины водной
Был с войсками окружен.

В глубь души мне мощно, страстно
Голос негра проникал;
То торжественно и ясно,
То стенаньем он звучал.

Павел с Силой в заточенье
Песнью славили Христа,
И в ту ночь землетрясеньем
Дверь была им отперта.

Ангел вестником спасенья
К негру явится ль в тюрьму?
Дверь тюрьмы землетрясенье
Распахнет ли и ему?

СВИДЕТЕЛИ

В пучинах глубокого моря,
Схоро́нены в зыбких песках,
Лежат, позабытые всеми,
Людские скелеты в цепях.

В глуби, где под вечным волненьем
Недвижимо воды легли,
Со всем своим людом и грузом
Недвижно стоят корабли.

Над морем шумящие бури
Не хлещут их черных боков.
И в тех кораблях — всё скелеты
В тяжелых запястьях оков.

То бедных невольников кости!
Белея средь пагубной тьмы,
Из темных валов они громко
Взывают: «Свидетели мы!»

Есть рынки на нашей просторной
Земле, где людей продают:
Ярмо им вздевают на шею,
И ноги им в цепи куют.

Без гроба валяются трупы
В пустыне, на снедь коршунам;
Убийства мерещатся детям,
Мешая им спать по ночам.

Корысть ненасытная, похоть,
Кичливый, бесстыдный порок,
Кровавые мысли, злодейства,
Мутящие жизни поток!

Несется вам клик обвиненья
Из этой неведомой тьмы.
Из тайных могил своих кости
Взывают: «Свидетели мы!»

КВАТРОНКА

Повесив праздно паруса,
    Корабль в заливе ждал,
Чтоб месяц вышел в небеса
    И вздулся темный вал.

Причалив к берегу в челне,
    Рабочий люд следил,
Как аллигатор полз на дне
    Улечься в мягкий ил.

А воздух вкруг благоухал
    От трав и от цветов,
Как будто рай порой дышал
    На этот мир грехов.

Плантатор в шалаше своем
Задумчиво курил.
Купец, прибывший с кораблем,
Окончить торг спешил.

Он молвил: «Не гостить привел
Я свой корабль в залив.
Я жду, чтоб месяц лишь взошел
Да начался прилив».

В лице с предчувствием немым,
Робка и хороша,
Кватронка-девушка пред ним
Стояла чуть дыша.

Большие искрились глаза;
По груди молодой
Спускалась черная коса
До юбочки цветной.

Улыбки свет в лице у ней
Мерцал, так свят и тих,
Как свет лампад в углу церквей
На лике у святых.

Плантатор думал: «Стар мой дом,
И проку нет в земле!»
Взглянул на девушку — потом
На деньги на столе.

В душе смущенной верх брала
То жадность, то любовь:
Он знал, чья страсть ей жизнь дала
И чья текла в ней кровь.

Но глубь души была черна:
Он не осилил зла —
И деньги взял. Тут вся она
Застыла, замерла.

И жертву новую свою
Купец повел с собой,
Чтоб быть ему в чужом краю
Наложницей, рабой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Припомните еврейское сказанье
О муже том, что растерзал рукой,
Как агнца, льва, — как, жалкий и слепой,
Не видя света божья, истязанья
Он от врагов терпел, лишенный сил,
И жернов целый день в тюрьме кружил;
Как наконец на пир из заточенья
Был приведен — сносить врагов глумленья.

В отчаянье, средь пира, обнял он
Столпы громадной храмины руками —
Шатнулся свод над пирными столами,
И стены рухнули со всех сторон.
При грохоте разрушенного зданья
Сменились страшным воплем ликованья.
Погиб и раб, несчастный и слепой;
Но тысячи похоронил с собой!

Самсон порабощенный, ослепленный
Есть и у нас в стране. Он сил лишен,
И цепь на нем. Но — горе! если он
Поднимет руки в скорби исступленной —
И пошатнет, кляня свой тяжкий плен,
Столпы и основанья наших стен,—
И безобразной грудой рухнут своды
Над горделивой храминой свободы!

EXCELSIOR![1]

Уж Альпы крыла ночь туманом.
Селом, схороненным в снегах,
Шел юный путник и в руках
Нес знамя с начертаньем странным:
Excelsior!

Чело задумчиво и строго;
Но взгляд, как обнаженный меч,
Порой сверкал; звучала речь
Как звон серебряного рога:
Excelsior!

Вокруг сверкали так приветно
В домах огни; а с высоты,
Как призраки, грозили льды;
Но он шептал свой клич заветный:
Excelsior!

---

[1] Вперед и выше! (*лат.*)

ЭБЕНЗЕР ЭЛЛИОТ

НАДГРОБИЕ ПОЭТА

Ваш общий брат схоронен здесь,
Певец скорбей людских.
Поля и реки — небо — лес,—
Он книг не знал иных.

Его скорбеть учило зло:
Тиранство — стон раба —
Столица — фабрика — село —
Острог — дворцы — гроба́.

Повсюду он порок встречал.
Как быть! Он чистоты
От тины жизни и не ждал,
В страстях, в скорбях нужды.

Не тронул он червя в пыли
Презреньем, словом злым,—
И нищий с сильными земли
Был равен перед ним.

Он славил тех, кто беднякам
Служил своим добром,
И слал проклятье богачам,
Живущим грабежом.

Все человечество любил,
И, честным сердцем смел,
Врагов народа он клеймил
И громко Правду пел.

ТОМАС МУР

* * *

Мир вам, почившие братья!
Честно на поле сраженья легли вы;
Саваном был вам ваш бранный наряд.
Тихо несясь на кровавые нивы,
Вас только тучи слезами кропят.
Мир вам, почившие братья!

Смерть приняла вас в объятья.
Дуб, опаленный грозой, опушится
Новою зеленью с новой весной;
Вас же, сердца, переставшие биться,
Кто возвратит стороне вас родной?
Смерть приняла вас в объятья.

На победившем проклятье!
Вечная месть нам завещана вами.
Прежде чем робко изменим мы ей,
Ляжем холодными трупами сами
Здесь же, средь этих кровавых полей.
На победившем проклятье!

Из немецких поэтов

ИОГАНН-ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

ПЕСНЯ МИНЬОНЫ

Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут,
Где в темной листве померанец горит золотистый,
Где с неба лазурного негою веет душистой,
Где скромно так мирты, где гордо так лавры растут?
Ты край этот знаешь?
Туда бы! туда
С тобою, мой милый, ушла навсегда!

Ты знаешь ли дом? Его кровля на стройных столбах,
И зала сияет, и мрамор блестит на стенах,
И статуи рядом стоят и глядят, вопрошая:
«Ах, что с тобой, бедная? что с тобой сталось,
родная?»
Ты дом этот знаешь?
Туда бы! туда
С тобою, родной мой, ушла навсегда!

Ты знаешь ли гору? тропинка за тучи ползет,
И мул средь туманов там, тяжко ступая, идет,
И старые гнезда драконов в ущелье таятся,
И рушатся скалы, и с ревом потоки клубятся.
Ты гору ту знаешь?
Туда бы! туда
Путем тем, отец мой, уйти навсегда!

ОБМАН

Шелохнулась занавеска
У соседки на окне:
Видно, вздумалось плутовке
На окно взглянуть ко мне.

Видно, хочется проведать,
Все ли так же я сердит,
Или ропот мой ревнивый
Приутих — и гнев забыт.

Ах! плутовка спит спокойно —
И не грезит обо мне...
То шалун играет ветер
Занавеской на окне.

ПЕСНЯ КЛАРЫ

Радостных
И тягостных
Дум так много!
Томишься —
И боишься;
И счастье и тревога!
Небесно ликуешь —
И смертно тоскуешь...
Жизнь лишь тогда хороша,
Как полюбит душа!

МОГИЛА АНАКРЕОНА

Где роза юная в тиши благоухает,
Где горделивый лавр и цепкий виноград
Сплелися дружески, где горлица вздыхает
И слышен в зелени приятный крик цикад,
Кого из смертных здесь могила приютила?
Кому надгробный холм так пышно расцветила
Рука богов?— Тут спит Анакреон певец.
Счастливец, и весну он видел молодую,
И лето жаркое, и осень золотую,
И от седой зимы здесь скрылся наконец!

БЛИЗОСТЬ

Часто мы друг другу чужды,
Далеки в толпе людской.
Свет иль шум тому виной —
Право, знать нам мало нужды:
На безлюдье, в тишине
Близость нашу мы почуем,
И знакомым поцелуем
Тотчас скажешься ты мне!

БЛИЗОСТЬ МИЛОГО

С тобою мысль моя — горят ли волны моря
В огне лучей,
Луна ли кроткая, с туманом ночи споря,
Сребрит ручей.

Я вижу образ твой — когда далеко в поле
Клубится прах,
И в ночь, как странника объемлют поневоле
Тоска и страх.

Я слышу голос твой — когда начнет с роптаньем
Волна вставать;
Иду в долину я, объятую молчаньем,—
Тебе внимать.

И я везде с тобой, хоть ты далек от взора!
С тобой везде!
Уж солнце за горой; взойдут и звезды скоро...
О, где ты? где?

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ ОХОТНИКА

Я крадусь полем, тих и дик;
Взведен курок ружья.
Опять твой светлый, милый лик
В мечтанье вижу я.

Тиха, спокойна, в этот миг
Гуляешь ты в полях.

Мой промелькнувший, бледный лик
Не встал в твоих мечтах.

Тоска и зло сдавили грудь...
Я исходил весь свет:
К востоку путь, на запад путь;
К тебе — дороги нет!

Но о тебе и мысль одна
Мне луч во мгле ночной:
Покоем вновь душа полна...
Не знаю, что со мной!

НОВАЯ ЛЮБОВЬ И НОВАЯ ЖИЗНЬ

Сердце, сердце! что с тобою?
Что смутило глубь твою?
Жизнью ты живешь иною...
Я тебя не узнаю!
Мимо все, что ты любило,
Мимо, что тебя томило,—
И забота и покой.
Что же сделалось с тобой?

Или этот образ милый
Оковал мечты твои?
Иль в тебе не стало силы
Пре́зреть этот взор любви?
Захочу ли ободриться,
Отвернуться, удалиться —
Мне и шагу не шагнуть,
Снова к ней лежит мой путь.

Нить волшебную напрасно
Я стараюсь оборвать;
Против воли все к прекрасной
Возвращаюся опять —
И, вступая в круг суровый,
Покоряюсь жизни новой.
Как я слаб и молод вновь!
Отпусти меня, любовь!

СОН И ДРЕМОТА

Сон и Дремоту, двух братий, служенью богов обреченных,
С неба низвел Прометей роду людскому служить.
Что было в пору богам, человеку пришлось не по силам:
Стала Дремота их Сном, Смертию стал нам их Сон.

БЛАЖЕНСТВО ГРУСТИ

Не высыхайте, не высыхайте,
Слезы вечной любви!
Ах! и едва осушенному оку
Мертв и пустынен кажется мир.
Не высыхайте, не высыхайте,
Слезы несчастной любви!

НОЧНАЯ ПЕСНЯ СТРАННИКА

Ты, небесный, ты, святой,
Все печали утоляющий,
Изнуренному борьбой
Облегченье посылающий!
Утомителен мой путь,
Край далек обетованный...
Мир желанный,
Снизойди в больную грудь!

Из «четырех времен года»

* * *

Факел возьми Прометеев: людей оживи ты им, Муза!
Факел Амура возьми: мучь и счастливь им людей!

* * *

Ты не знаешь, кому тебе верить? Верь жизни! Научит
Лучше всех мудрецов, лучше всех книг тебя жизнь.

* * *

Сядь на коня, на корабль — и Забота с тобою засядет;
Но неотвязней еще, если пристанет, Амур.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Равенства нет и в небесных союзах. Психея с годами
Стала умна; но Амур — тот же ребенок, что был.

* * *

Жить мы должны и любить. И жизнь и любовь прекратятся.
Разом, о Парка, ты режь нити и той и другой!

Из «Венецианских эпиграмм»

* * *

Жизнью украсил язычник свои саркофаги и урны.
Пестрою вязью сплетясь, фавны, вакханки вокруг
Пляшут. Щеки надул козлоногий сатир и трудится:
Рог дребезжащий его хрипло и дико звучит.
Мнится, из мрамора слышны и стройный кимвал и тимпаны.
Вот наливные плоды резвые птицы клюют.
Шум не пугает их; он не спугнет и подавно Амура:
То-то раздолье ему с факелом бегать в толпе!

Так изобилию жизни и самая смерть покорилась:
В тихом вместилище сем словно и пепел живет!
Свиток мой! урну с пеплом певца окружи ты собою:
Жизнью обильной тебя щедро украсил певец!

* * *

Эта гондола мне кажется тихо качаемой люлькой;
Ящик же этот на ней — словно вместительный гроб.
Так-то меж люлькой и гробом качают и носят нас волны,
И беззаботно мы вдаль по́ морю жизни плывем.

* * *

Тщетно ты веешь, Морфей, надо мной усыпительным маком:
Глаз не закрою, пока их не смежит мне Амур.

* * *

Пусть сумасброд, как морского песку, набирает адептов!
Мне жемчужина ты, мой рассудительный друг!

* * *

Вижу ли я богомольца, от слез не могу удержаться:
Счастье находим свое в ложном понятии мы!

---

* * *

Порою мнится мне: на голове моей
Сверкает светлый луч бессмертия и славы,
С груди больной скатился груз скорбей,

И нет в очах горючих слез отравы.
Весь мир передо мной любовью обновлен:
В объятья братские певца он принимает —
И всем священ любви и истины закон,
И правда, как звезда, во всей красе сверкает.

Но этот миг прошел, — и голову мою
Опять, как прежде, жмет певца венец колючий,
И токи горьких слез по-прежнему я лью,
И скорби давят грудь, как пасмурные тучи,
И люди старою дорогою веков,
Не отряхая прах страстей своих отцов,
Как прежде лживые, идут передо мною,
Любви и истины чуждаяся душою...
И голос мой молчит — болезненно молчит!

* * *

Мидас! горька твоя участь была: в деснице дрожащей
В золото, старец голодный, твоя превращалася пища.
Часто случается вот что со мною — но это отрадней:
Все у меня под рукой превращается в легкую песню...
Нежные музы! я вам не противлюсь; но только, смотрите!—
Милую в жарких объятьях моих вы не сделайте сказкой.

ИЗ «ФАУСТА»

Собор.
Служба; орган и пение.
Гретхен (*в народе*). Злой дух (*за нею*).

Злой дух

То ли, Гретхен, бывало с тобою,
Когда ты, чиста и невинна,
Сюда к алтарю приходила?
По книжке старинной
Молитвы шептала ты,
И бог в сердце.
Гретхен!

Где голова твоя?
В сердце твоем
Что за преступленье?
Не за душу ль матери молишься ты?
Она от тебя же уснула на долгие, долгие муки.
Чья кровь на пороге твоем?
А под сердцем у тебя
Не движется ль что, не растет ли,
Тебя не пугает ли
Скорым рожденьем?

Гретхен

Горе! Горе!
Что за мысли в уме?
В голове они бродят
Против воли моей.

Хор

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla[1].

Звук органа.

Злой дух

Унынье объемлет тебя.
Гремит труба,
Гробы трясутся,
И сердце твое,
От сна во прахе
На муки ада
Вставая,
Трепещет!

Гретхен

Скорее б отсюда!
Орган меня
Лишает дыханья,
А сердце от пенья
Рвется на части.

---

[1] День гнева, этот день обратит мир в пепел (*лат.*).

Хор

Judex ergo cum sedebit
Quidquid latet, adparebit
Nil inultum remanebit[1].

Гретхен

Тесно мне!
Колонны стен
Меня гнетут.
Тоска
Меня давит. Душно!

Злой дух

Сокройся! Стыда и греха
Нигде не укроешь.
Душно! Темно!
Горе тебе!

Хор

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum cogaturus,
Cum vix iustus sit securus[2].

Злой дух

Лицо отвращают
Святые от тебя,
Руку подать тебе
Страшно пречистым!
Горе!

Хор

Quid cum miser tunc dicturus?[3]

Гретхен

Соседка, нет ли спирту?
(Падает в обморок.)

---

[1] Когда воссядет судия, то откроется все сокровенное и ничто не останется без возмездия (*лат.*).

[2] Что я скажу тогда, несчастный, какого покровителя я буду умолять, когда и праведник едва спасется? (*лат.*)

[3] Что я скажу тогда, несчастный? (*лат.*)

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ

Кто возвратит мне прекрасные дни,
Дни моей первой любви?
Кто возвратит мне хоть час лишь один
Этой поры золотой?

Грусть моей ране зажить не дает;
Сердце назад свое счастье зовет
С новой и новой тоской.

Кто возвратит мне прекрасные дни,
Дни той поры золотой?

НАПОМИНАНИЕ

Долго ль вдаль тебе стремиться?
Ведь добро перед тобой.
Лишь умей ты ухватиться,
Счастье вечно под рукой.

ИЗБРАННЫЙ УТЕС

Здесь в одинокой тиши о милой думал любовник.
Радостно молвил он мне: «Будь мне свидетель, утес!
Но не гордись чересчур: у тебя соучастников много.
Каждому камню полей, в счастье питавших меня,
Каждому дереву леса, где, светел душою, блуждаю,
Весело я говорю: «Памятью счастия будь!» —
Голос же только тебе я даю. Так Муза средь многих
Выберет вдруг одного и поцелует в уста».

МОРСКАЯ ТИШЬ

Тишь глубокая над морем,
Недвижимо лоно вод,—
И на гладь морскую смотрит,

Озабочен, мореход.
Хоть одно бы дуновенье
Среди мертвой тишины!
Хоть бы где в дали безбрежной
Показался всплеск волны!

СЧАСТЛИВОЕ ПЛАВАНИЕ

Туманы редеют,
Прояснилось небо;
Эол разрешает
Докучную цепь.
Вот ветром пахнуло;
Пловец встрепенулся.
Живее! живее!
Волна расступается,
Далекое близится.
Смотрите — земля!

СОЗНАННОЕ СЧАСТЬЕ

Что между многих всегда природа расчетливо делит,
Тем она, щедрой рукой, всем наделила одну,—
И, одаренная щедро, любимая многими жарко,
Мне, счастливцу, дала полную долю любви.

ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Тучней зеленейте,
Виноградные лозы,
Взбираясь к окну моему!
Полней наливайтесь,
Густые гроздья, и зрейте
Быстрее, пышнее!
Вас греет,
Как лоно матери,
Прощальный взор солнца;

Вас обвевает
Плодотворящая ласка
Благого неба;
Вас освежает
Чудной прохладой
Дружественный месяц;
Вас орошают
Из этих глаз
Вечно-живящей любви
Крупные слезы.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ

Тонким слоем земля покрывает зерно золотое;
Глубже в ней будут лежать мирные кости твои.
Бодро паши ты и сей! Здесь вырастет пища живая;
А надежда живет даже у самых могил.

СЛАДКИЕ ЗАБОТЫ

Прочь от меня вы, заботы! Но, смертных, нас покидают
Наши заботы тогда, как покидает и жизнь.
Если ж иначе нельзя, заботы любви, приходите
И, все иные изгнав, сердце займите мое!

ПЕРЕД СУДОМ

От кого я беременна, вам не скажу:
То заветная тайна моя.
Потаскушкой меня называете вы?
Лжете — честная женщина я.

С кем слюбилась я, этого вам не узнать;
Он хорош и пригож, милый мой,
В чем бы он ни ходил, в золотой ли цепи,
Иль в соломенной шляпе простой.

Если надо насмешки сносить и позор,
Их снесу я одна на плечах.
Знает милый меня, знаю милого я,—
И про все знает бог в небесах.

Перестаньте же, честные судьи мои,
Перестаньте меня вы томить!
Ведь дитя это было и будет моим,
И не вам его надо кормить.

ПРЯХА

В тихой горенке своей
Я пряла спокойно;
К прялке парень подошел
Молодой и статный.

Стал хвалить меня, сказал,
Что пряду я чисто
И что косы у меня —
Лен же золотистый.

Да не смирно он стоял,—
Не дал мне покою.
Нитка вдруг оборвалась
Между ним и мною.

Хоть на пряже мне пришлось
Много заработку,
Но не стать хвалиться им
Мне по околотку.

Шла я с пряжею к ткачу,
А сама горела;
Точно сердце у меня
Выскочить хотело.

Надо мыть, белить тканье,
У пруда трудиться;
А к воде едва-едва
Сможешь наклониться.

То, что в горенке тайком
От людей прядется,
Рано ль, поздно ль напоказ
Выносить придется.

ПРОМЕТЕЙ

Драматический отрывок

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

I

Прометей. Меркурий.

Прометей

Скажи им, не хочу —
Да, не хочу — и только!
Их воля противу моей!
Одно противу одного,
Мне кажется, равны!

Меркурий

И это передам я твоему
Отцу Зевесу? матери твоей?

Прометей

Что мать! отец!
Как знать, откуда мы?
Я стал стоять, как в первый раз заметил,
Что ноги у меня стоят,
И эти руки протянул, когда
Почувствовал, что тянутся они,—
И видел я, как чтили
Мои шаги *они*, которых ты
Зовешь отцом и матерью.

Меркурий

И подавали помощь,
Необходимую тебе, ребенку.

Прометей

За то и был покорен им ребенок,
И бедного птенца они могли
Воспитывать и так и этак,
По ветру прихотей своих.

Меркурий

Они ж тебя и охраняли!

Прометей

Да от чего?
От тех опасностей, которых
Страшились сами?
Они ли сберегли мне сердце
От змей, его язвивших втайне?
Они ли закалили эту грудь
Противиться титанам?
Иль мужа из меня сковало
Не время всемогущее, владыка
И *мой* и *ваш*?

Меркурий

Несчастный!
И *это* передать твоим богам,
Им, бесконечным?

Прометей

Богам? Я и не бог,
А все себя считаю я не меньше
Любого между них.
Вы бесконечны? всемогущи?
Да что же можете-то вы?
Иль можете простор великий
Земли и неба в руку мне вместить?
Иль можете меня вы разлучить
Со мной самим?
Иль можете меня расширить,
Распространить на целый мир?

Меркурий

Судьба!

Прометей

Так власть ее ты признаешь?
Я тоже!
Ступай! я не служу вассалам!

Меркурий уходит.

II

Прометей

(возвращаясь к своим статуям, стоящим вразброс по всей долине)

Незаменимое мгновенье!
Из круга вашего меня
Безумец оторвал,
О дети вы мои!
Что б ни внесло движенье в вашу грудь,

(подходит к девушке)

Грудь эта мне навстречу
Должна бы рваться!
Глаза уж говорят!
Промолвите, скажите слово мне
Вы, милые уста!
О, если б мог я вас заставить
Почувствовать, что́ вы такое!

III

Входит Эпиметей.

Эпиметей

Меркурий жаловался горько.

Прометей

Не слушай жалоб ты его,
Он и без жалоб возвратился б!

Эпиметей

Будь справедлив, мой брат!

На этот раз
Немногого хотели боги.
Они хотят отдать тебе вершину
Олимпа, чтобы там ты жил
И управлял землею!

Прометей

Приказчиком их был
И защищал их небо? —
Я требовал гораздо меньше:
Они хотят со мною поделиться,
А я им говорю, что мне
Делиться с ними нечем.
Что у меня и есть, того похитить
Они не могут;
Что есть у *них*, пусть сами берегут.
Вот тут мое, а вот твое,
И весь раздел покончен.

Эпиметей

Да многое ль твое?

Прометей

Тот круг, который наполняю
Я действием своим.
Не больше и не меньше!
Какое право надо мною
Имеют эти звезды в высоте,
Что на меня глазеют?

Эпиметей

Ты одинок стоишь!
Не понимаешь ты, упрямец,
Что б это было за блаженство,
Когда бы боги, ты,
И все твои, и небо, и весь мир
Себя единым целым ощутили.

Прометей

Я это знаю!
Прошу тебя, любезный брат,
Как знаешь делай,
Меня ж оставь!

Эпиметей уходит.

IV

Прометей

Вот здесь мой мир! вселенная моя!
Здесь сознаю себя,
Здесь все мои желанья
В телесных образах,
Здесь дух мой, разделенный
Тысячекратно
И целостный в моих
Любезных детях.

V

Входит Минерва.

Прометей

И ты решилась,
Моя богиня?
Решилась низойти к врагу отца?

Минерва

Я чту отца, тебя ж люблю,
О Прометей!

Прометей

И ты ведь духу моему
То ж, что он сам себе.
Мне с самого начала
Твои слова любезным светом были.
Всегда, как будто бы моя душа
С самой собою говорила,
Она вся раскрывалась,
И сродные гармонии звучали
Из ней самой,
И божество вещало,
Когда, я думал, говорю я сам;
Когда же думал — божество вещает,
То сам я говорил.
Так я с тобою
Соединен; так глубока,
Вечна моя любовь к тебе!

Минерва

И я присутствую с тобою вечно!

Прометей

Как сладостно мерцающий тот свет
Склонившегося солнца
Там стелется по высям
Угрюмого Кавказа
И душу сладким миром мне объемлет
Всегда, и в самом
Отсутствии присутствуя со мной,
Так силы развивалися мои
С дыханьем каждым
Из воздуха твоих небес.
Какое ж право
Хотят иметь над силами моими
Олимпа гордые жильцы?
Они *мои*, и их употребленье
Мое. Ни шага больше я
Не уступлю и вышнему из них.

Минерва

Так мыслит мощь.

Прометей

Я мыслю тоже, о богиня,
И тож могуч.
Да что! Иль не видала часто ты,
Как в самопроизвольном рабстве
Я бремя нес, которое они
С торжественною важностью валили
На плечи мне?
Иль я не исполнял работы
И каждого поденного труда
По их веленью, ибо верил,
Что прошлое и будущее им,
Как в книге, видно в настоящем,
Что руководство их, их повеленье
Есть довременная, святая
И нерасчетливая мудрость?

Минерва

Ты им служил, чтоб стать достойным
Свободы!

Прометей

Ни за какие блага не хотел бы
Чредою с птицей грома поменяться
И с гордостью держать
В холопских лапах молньи
Владыки моего.
Что я? и что они?

Минерва

Несправедлива ненависть твоя!
Богам на долю выпало бессмертье
И мощь, и мудрость, и любовь.

Прометей

Но это все
Не им одним досталось,
И я бессмертен, как они.
Мы вечны все!
Начала своего не помню я,
И кончиться не чувствую стремленья,
Конца не вижу.
Я вечен, потому что существую!
А мудрость!

Минерва обходит статуи.

Взгляни на этот лоб!
Не мой ли перст
Его отметил?
А сила этой груди рвется
В борьбу с опасностью, всему грозящей.
(Останавливается перед женскою статуей.)
А ты, Пандора,
Святая чаша всех даров,
Какие лишь дают отраду
Под бесконечным небом
На бесконечной
Земле,— все, что когда-либо меня
Одушевляло чувством неги,

Что в свежей тени
Мне проливало утоленье,
Что солнцем
Любви, весенней негой
И теплою волною моря
Ласкалось с нежностью к моей груди,
Чем наслаждался я, как блеском неба,
Как миром духа,— это все,
Все ты, — моя Пандора!

Минерва

Юпитер позволяет
Тебе их жизнью наделить,
Коль ты свой слух
К его совету склонишь.

Прометей

Вот это лишь меня и колебало.
Но — мне холопом быть!
Мне — как и всем —
Признать там над собою
Власть громовержца?— Нет!
Пусть будут связаны они
Своей безжизненностью здесь,
Они свободны,
Я чувствую свободу их!

Минерва

И жить должны они!
Судьба, не боги,
Дарит и отнимает жизнь.
Иди! я поведу тебя
К истоку всякой жизни,
Которого Юпитер
От нас не замыкает.
Пускай живут они —
И чрез тебя!

Прометей

Через тебя, моя богиня,
Пускай живут и чувствуют себя
Свободными! Живут.
Их радость будет для тебя отрадой.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

I

На Олимпе.

Юпитер. Меркурий.

Меркурий

Ужасная, верховная измена,
Отец Юпитер!
Минерва, дочь твоя,
С мятежным заодно,
Она источник жизни
Ему открыла и его
Скудельный мир и самого его
Одушевила.
Подобно нам, все движутся они,
Снуют, ликуют вкруг него,
Как мы вокруг тебя.
Где гром твой, Зевс?

Юпитер

Они живут! и будут жить!
И жить должны!
Над всем, что есть
Под необъятным небом,
На бесконечной
Земле — владыка я!
Род червяков умножит
Число моих рабов.
Им будет благо, если моему
Последуют отеческому слову!
Но горе, если станут
Моей деснице царственной перечить!

Меркурий

Всеблагостный! Отец всего живого!
Прощаешь ты преступных злодеянье,
Да будет же тебе любовь и слава
От всей земли и неба!
О, ниспошли меня, да возвещу
Я бедному, из праха

Рожденному народу
Тебя, отец, и доброту твою
И силу!

Юпитер

Еще не время!
В новорожденном, юношеском счастье
Душа их мнит быть равной божеству.
Они тебя не станут слушать,
Пока ты не понадобишься им.
Их надо предоставить жизни!

Меркурий

Так мудр и благ!

II

Долина у подошвы Олимпа.

Прометей

Взгляни сюда, Юпитер,
На мир мой: он живет!
По своему я образу их создал,
Род, равный мне,
Чтобы страдать и плакать,
И ликовать и наслаждаться,
И на тебя не обращать вниманья,
Как я!

По всей долине рассеяно племя людей. Они взобрались на деревья и собирают плоды, купаются в реке, гоняются взапуски по лугу; девушки рвут цветы и плетут себе венки.

К Прометею подходит человек с срубленными молодыми деревьями.

Человек

Вот дерева,
Каких хотел ты.

Прометей

Как с почвы снял ты их?

Человек

Вот этим острым камнем я
Их оторвал под самый корень.

Прометей

Сначала сучья прочь!—
Теперь вот это вбей
Здесь в землю прямо,
А это здесь — насупротив того;
И сверху их свяжи.
Потом таких же два вбей сзади
И сверху положи одно.
Теперь спусти все сучья сверху
Вплоть до земли,
Свяжи их и сплети,
Вокруг положишь дерну
И сверху более ветвей,
Так, чтоб ни солнце,
Ни дождь, ни ветер не могли проникнуть.
Вот, милый сын, тебе защита
И хижина.

Человек

Спасибо, дорогой отец,
Тысячекратное спасибо.
Скажи мне, могут и все братья
Жить в хижине моей?

Прометей

Нет,— ты ее себе построил,
Она твоя.
Ты можешь разделить ее
С кем хочешь.
Кто хочет жить, построй себе и хату.
(Уходит.)

Два человека.

Первый

Ты ни одной не можешь взять
Из коз моих! Они мои!

Второй

Откуда?

Первый

Вчера я день и ночь
Карабкался в горах,
Старался с горьким потом
Их изловить живых,
И эту ночь их сторожил
И запер
Каменьями и сучьями их тут.

Второй

Ну, дай одну мне!
Вчера я тоже положил одну
И приготовил на огне
И с братьями моими съел.
Тебе одной довольно на сегодня:
Мы завтра вновь наловим.

Первый

Отстань ты
От коз моих!

Второй

Однако!..

Первый хочет его отогнать. Другой дает ему толчок, так что тот падает; берет одну козу и уходит.

Первый

Насилье! Ой!

Прометей
(*подходит*)

Что сделалось?

Человек

Он отнял козу у меня!
Из головы моей струится кровь.—
Он повалил меня
На этот камень.

Прометей

Сорви вон с дерева ту губку
И положи ее на рану!

Человек

Ах, дорогой отец!
Она нейдет уж.

Прометей

Ступай и вымой
Себе лицо.

Человек

А как же будет
С моей козой?

Прометей

Оставь его!
Коль против каждого он будет
Своей рукой, то каждая рука
Против него направится за это.
(Человек уходит.)
Еще не выродились вы,
Мои созданья!
Вы и прилежны, и ленивы,
Жестоки, кротки, щедры, скупы,
Равны своим вы братьям по судьбе,
Равняетесь с зверями и богами.
(Входит Пандора.)

Прометей

Что, дочь моя, с тобой?
Как ты тревожна!

Пандора

Отец мой!
О, что я видела, отец,
Что чувствовала я!

Прометей

Что? что?

Пандора

О Мира бедная моя!

Прометей

Что с ней?

Пандора

О чувство без названья!
Я видела, как шла она
К опушке леса, где мы часто
Цветы сбирали с нею на венки,
Я шла за нею.
И как сошла с холма,
Я увидала, ах!
Ее на мураве простертой.
Но, к счастью, близко был
В лесу Арбар.
Ее в руках он крепко удержал,
И не дал ей упасть,
И, ах! упал с ней сам.
Ее прекрасная головка
Поникла, он же
Без счету целовал ее
И весь прильнул к ее губам,
Чтобы в нее свой дух вдохнуть.
Мне стало страшно,
Я подбежала к ним и закричала;
Мой крик привел ее в себя.
Арбар ее оставил;
Она вскочила
И, ах! с полупотухшими глазами
Упала мне на грудь.
Грудь у нее так билась,
Как будто разрывалась.
Пылали щеки,
И сохли губы,
И слезы, как ручей, катились.
Я чувствовала снова,
Дрожат у ней колени,
И все ее поддерживала, милый
Отец! и жар ее
И поцелуи

Такое новое, неведомое чувство
Мне влили в жилы,
Что я, встревожена и смущена,
Оставила, рыдая,
Ее, и лес, и поле.
К тебе, отец! Скажи,
Что это все, что потрясло
Ее, меня?

Прометей

То смерть!

Пандора

А это что такое?

Прометей

О дочь моя, ты много
Узнала радостей?

Пандора

О, тысячи! За все тебе спасибо.

Прометей

Пандора, грудь твоя
При всходе солнца трепетала,
При всплыве месяца, и в поцелуях
Твоих подруг
Чистейшим ты блаженством наслаждалась.

Пандора

Невыразимо!

Прометей

Что в пляске поднимало так легко
Твой стан с земли?

Пандора

Что? радость!
Мой каждый член, игрой и пеньем тронут,
Дрожал и шевелился,
И вся я таяла в тех звуках!

Прометей

И под конец все разрешалось сном,
И радость и страданье.
Ты чувствовала пламень солнца,
Томленье жажды,
Усталость ног твоих,
Ты плакала и о твоей
Потерянной овечке,
И как стонала, как дрожала,
Когда в лесу подошвой наступила
На острый терн,
Пока тебя не исцелил я!

Пандора

Отец, у жизни разные веселья
И горести.

Прометей

Ты сердцем чуешь,
Что радостей еще есть много
И много есть страданий,
Не знаемых тобой.

Пандора

Да! сердце часто рвется у меня.
И никуда как будто
И всюду!

Прометей

То миг, который исполняет все,
Все, что стремило нас тоской,
Что снилось нам, что ожидалось нами,
Чего страшились,
Пандора,— это смерть!

Пандора

Смерть?

Прометей

Когда из сокровенной глубины
Ты чувствуешь себя
Во всем существованье потрясенной,

Все, что когда-либо в тебя вливало
И радость и страданье,
И сердце, полно бурей,
Слезами облегчиться хочет
И пыл свой умножает,
И все в тебе звучит и все трепещет,
И чувства тмятся,
И кажется тебе, исходишь ты
И никнешь,
И все вокруг тебя в ночи
Крушится,
И ты, все в более незнанном чувстве,
Объемлешь целый мир:
Тогда-то умирает человек.

Пандора
(обнимая его)

Умрем, отец мой!

Прометей

Еще не время.

Пандора

А после смерти?

Прометей

Когда же все — желанье, радость, скорбь —
В мятежном наслажденье разрешатся,
Потом на отдых опочиют в неге,
Тогда ты оживешь еще юнее,
Чтобы опять страшиться,
Надеяться, желать!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Прометей
(в своей мастерской)

Закрой, о Зевс,
Ты небеса свои
Парами туч
И тешься как мальчишка,

Что обивает у волчца головки,
Круши дуба и выси гор!

Мою ты землю
Не пошатнешь
И хижину мою,
Не ты ее построил,
И мой очаг, которого огонь
Тебе завиден.

Я ничего не знаю
Под солнцем жалче вас, о боги!
Питаете вы скудно
Дарами жертв
Да воздухом молитв
Свое величье
И были б нищи,
Не будь на свете
Доверчивых глупцов, детей и нищих.

Когда я был ребенком
И ничего не знал толково,
Заблудшие глаза я к солнцу обращал,
Как будто у него есть уши
Внимать моим словам,
И сердце, как мое,
Над утесненным пожалеть.

Кто мне помог
С Титанами бороться?
Кто спас меня от смерти,
От рабства?
Не все ль само ты совершило,
Святое пламенное сердце?
Не пламенело ль молодо и благо,
Обмануто признательностью, ты
Тому, что в небе спит?

Мне чтить тебя? За что?
Бывало ль, чтобы скорбь ты утолил
Обремененного?
Когда ты слезы осушал
У угнетенного?

Иль мужа из меня сложили
Не время всемогущее,
Не вечная судьба,
Мои владыки и твои!
Иль думал ты,
Что я возненавижу жизнь,
Бегу в пустыни, потому
Что сны цветущие не все
Созрели в яви?

Я здесь сижу, творю людей
По образу и лику моему,
Мне равное по духу племя,
Страдать и плакать,
И ликовать и наслаждаться,
И на тебя не обращать вниманья,
Как я.

ФИЛОМЕЛА

Видно, Амуром вскóрмлена, всхолена ты, о певица!
Бог шаловливый тебя, видно, кормил со стрелы.
Ядом пропитанным горлом поешь ты беспечные песни
И заражаешь сердца жгучею силой любви.

СВИДАНЬЕ И РАЗЛУКА

Коня! Я долго дожидался —
И конь почуял иглы шпор.
В долине вечер расстилался,
Сползала ночь с далеких гор.
Гигантом грозным восставая,
В туман завертывался вяз,
Где сквозь кустарник тьма ночная
Глядела сотней черных глаз.

Луна мерцала над полями,
Бледнея в дыме облаков;
Чуть вея тихими крылами,
Шушукал ветер. Рой духов

Под тусклым возникал светилом;
Но ясен мне казался путь.
Какой огонь бежал по жилам!
Каким огнем сгорала грудь!

И я с тобой. Ты кротким взглядом
Дарила радость и покой.
Два наши сердца бились рядом,
Дыханьем каждым был я твой.
Весенним розовым мерцаньем
Был милый образ твой одет.
А эта нежность! упованьем
Шептала мне, что счастье есть.

Но солнце уж встает с ночлега,
И сердце сжал разлуки страх.
В твоих устах какая нега!
Какая грусть в твоих очах!
Со мною здесь, тоской томимым,
Ты дни хотела проводить!
О, что за счастье быть любимым!
О, что за счастие любить!

БЛАГОДАТЬ

Небо разверзлось, и дождь зашумел, и щедрою влагой
Злак и утес орошен, стены домов и древа.
Солнце взойдет: как пар, благодать отлетает от камня;
Только живое хранит неба благие дары.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

Над бездной возникших из мрака миров
Несется челнок мой на крыльях ветров.
Проплывши пучину,
Свой якорь закину,
Где жизни дыхание спит,
Где грань мирозданья стоит.

Я видел: звезда за звездою встает —
Свершать вековечный, размеренный ход.
Вот к цели, играя,
Несутся... Блуждая,
Окрест обращается взор
И видит — беззвездный простор!

И вихря и света быстрей мой полет.
Отважнее! в область хаоса! вперед!
Но тучей туманной,
По тверди пространной,
Ладье дерзновенной вослед
Клубятся системы планет.

И вижу — пловец мне навстречу спешит.
«О странник! куда и зачем ты?» — кричит.
«Проплывши пучину,
Свой якорь закину,
Где жизни дыхание спит,
Где грань мирозданья стоит!» —

«Вотще! беспредельны пути пред тобой!» —
«Межи не оставил и я за собой!..»

Напрасны усилья!
Орлиные крылья,
Пытливая мысль, опускай
И якорь, смиряясь, бросай!

МИГ

Шумен, радостен и тесен,
Вновь сомкнулся наш кружок.
Заплетемте ж свежих песен
Зеленеющий венок!

Но кого между богами
Песня первая почтит?
Он воспет да будет нами —
Он, что радость нам дарит!

Хоть Церера с нивы нашей
Хлеб несет нам на алтарь
И вливает Бахус в чаши
Гроздий пурпур и янтарь,

Но коль с неба огнь священный
Алтаря не опалит,
Не зажжется дух наш пленный,
В сердце радость не вскипит!

Свыше к нам нисходит счастье,
От божественных владык;
Но из них всех выше властью —
Из владык владыка — Миг!

С той поры, как произволу
Смутных сил назначен строй,
Все божественное долу—
Свет лишь мысли огневой.

Тихо в мерном Ор движенье
Дело жизни совершай;
Миг же краткий вдохновенья
Быстро сердцем уловляй!

Феб с безоблачной лазури
Стелет вмиг покров цветной,
Вмиг по небу после бури
Строит мост Ирида свой.

Так и каждый дар прекрасный,
Словно молнии струя,
Промелькнет — и гаснет, ясный,
В черной тьме небытия!

ДИФИРАМБ

Порознь бессмертные к смертным не сходят
С горних высот:
Следом за Вакхом веселым на праздник
Мчится Эрот, прихотливый проказник,
Феб лучезарный идет.
Сходятся гости небесного края;
Светлых приемлет обитель земная.

Что в угощенье сын праха предложит
Вечным богам?
Вы, олимпийцы, меня одарите
Вашею жизнью бессмертной! возьмите
В небо лазурное, к вам!
Родина радости — Зевса чертоги...
Вашего нектара дайте мне, боги!

«Светлым напитком налей ему, Геба,
Полный фиал!
Влагой небесной омой ему око,
Чтоб ненавистного Стиксова тока
Он, как и мы, не видал!»
Нектар Олимпа, лиясь, пламенеет...
Сердцу просторнее, око светлеет.

ПРОЩАНИЕ ГЕКТОРА

Андромаха

О Гектор, супруг мой, ужели меня ты покинешь?
Пойдешь ли туда, где Ахилл беспощадной рукою
Приносит кровавые жертвы Патроклу? Кто будет

Малютку учить твоего покоряться бессмертным
И дротик метать? О мой Гектор, что станется с нами,
Когда ты потонешь в пучине туманного Орка?

Гектор

Не плачь, дорогая супруга! отри свои слезы!
В груди моей мщенье кипит врагам за отчизну...
Рука моя будет защитой родного Пергама;
И если паду я — паду за пенатов отцовских;
И к Стиксу сойду как защитник твердынь илионских!

Андромаха

Увы! не внимать мне бряцанью доспехов супруга!
Твой меч сиротеющий ржавчина съест, и с тобою
Погибнет навеки могучее племя Приама!
Сойдешь ты туда, где и дня не бывало от века,
Где волны Коцита рыдают и стонут в пустыне...
О Гектор, супруг мой, любовь твоя в Лете потонет!

Гектор

Потонут в ней все мои страсти, порывы и думы —
Любовь не погибнет в холодной пучине забвенья.
Но, слышишь?.. уж варвар примчался к стенам Илиона!
Мечом опояшь меня!.. Плач свой оставь ты и веруй:
Любовь моя вечная в Лете погибнуть не может!

НАДОВЕССКАЯ ПОХОРОННАЯ ПЕСНЯ

Посмотрите! вот — посажен
На плетеный одр —
Как живой сидит он, важен,
Величав и бодр.

Но уж тело недвижимо,
Бездыханна грудь...
В трубке жертвенного дыма
Ей уж не раздуть.

Очи, где ваш взор орлиный?
Не вглядитесь вы

По долине в след звериный
На росе травы.

Ты не встанешь, легконогий!
Не направишь бег,
Как олень ветвисторогий,
Через горный снег.

Не согнешь, как прежде, смело
Свой упругий лук...
Посмотрите! отлетела
Жизнь из сильных рук.

Мир душе его свободной! —
Там, где нет снегов,
Там, где ма́ис самородный
Зреет средь лугов...

Где в кустах щебечут птицы,
Полон дичи бор,
Где гуляют вереницы
Рыб по дну озер.

Уходя на пир с духа́ми,
Нас оставил он,
Чтобы здесь, воспетый нами,
Был похоронен.

Труп над вырытой могилой
Плачем огласим!
Все, что было другу мило,
Мы положим с ним:

В головах — облитый свежей
Кровью томагок;
Сбоку — окорок медвежий:
Путь его далек!

С ним и нож! Над вражьим трупом
Он не раз сверкал,
Как, бывало, кожу с чубом
С черепа сдирал.

Алой краски в руки вложим,
Чтоб, натершись ей,
Он явился краснокожим
И в страну теней.

ИСТУКАН ИЗИДЫ

I

Жрецами Са́иса, в Египте, взят в ученье
Был пылкий юноша, алкавший просвещенья.
Могучей мыслию он быстро обнял круг
Хранимых мудростью таинственных наук;
Но смелый дух его рвался к познаньям новым.
Наставник-жрец вотще старался кротким словом
В душе ученика смирять мятежный пыл.
«Скажи, мне, *что* мое,— пришелец говорил,—
Когда не *все* мое? Где знанью грань положим?
Иль самой Истиной, как наслажденьем, можем
Лишь в разных степенях и порознь обладать?
Ее ль, единую, дробить и разделять?
Один лишь звук убавь в гармонии чудесной!
Один лишь цвет возьми из радуги небесной!
Что значит звук один и что единый цвет?
Но нет гармонии, и радуги уж нет!»

II

Однажды, говоря о таинствах вселенной,
Наставник с юношей к ротонде отдаленной
Пришли, где полотном закрытый истукан
До свода высился, как грозный великан.
Дивяся, юноша подходит к изваянью.
«Чей образ кроется под этой плотной тканью?»—
Спросил он. «Истины под ней таится лик»,—
Ответил спутник. «Как! — воскликнул ученик. —
Лишь Истины ищу, по ней одной тоскую;
А от меня ее сокрыли вы, святую!»

«То воля божества!—промолвил жрец в ответ.—
Завесы не коснись (таков его завет),

Пока с себя само ее не совлеку я!
Кто ж, сокровенное преступно испытуя,
Поднимет мой покров, тому присуждено...» —
«Что?» — «Истину узреть».—«Значенье слов темно;
В них смысл таинственный. Запретного покрова
Не поднимал ты?» — «Нет! и искушенья злого
Не ведал ум». — «Дивлюсь! О, если б, точно, я
Был им лишь отделен от цели бытия —
От Истины!..» — «Мой сын! — прервал его сурово
Наставник,— преступить божественное слово
Нетрудно. Долго ли завесу приподнять?
Но каково душе себя преступной знать?»

III

Из храма юноша печальный и угрюмый
Пришел домой. Душа одной тревожной думой
Была полна, и сон от глаз его бежал.
В жару метался он на ложе и стенал.
Уж было за полночь, как шаткими стопами
Пошел ко храму он. Цепляяся руками
За камни, на окно вскарабкался; с окна
Спустился в темный храм, и вот — пред ним она,
Ротонда дивная, где цель его исканья.

Повсюду мертвое, могильное молчанье;
Порой лишь смутный гул из склепов отвечал
На робкие шаги. Повсюду мрак лежал,
И только бледное сребристое мерцанье
Лила из купола луна на изваянье,
В покров одетое... И, словно бог живой,
Казалось, истукан качает головой,
Казалось, движутся края одежды белой.

И к богу юноша приблизил шаг несмелый,
И косная рука уж поднята была,
Но кровь пылала в нем, и капал пот с чела,
И вспять его влекла незримая десница.
«Безумец! что творишь? куда твой дух стремится?
Тебе ли, бренному, бессмертное пытать? —
Взывал глас совести.— Ты хочешь приподнять

Завесу, а забыл завещанное слово:
До срока не коснись запретного покрова!»
Но для чего ж завет божественный гласит:
Кто приподнимет ткань, тот Истину узрит?
«О, что бы ни было, я вскрою покрывало!
Увижу!» — вскрикнул он. «Увижу!» — прокричало
И эхо громкое из сумрачных углов...
И дерзкою рукой он приподнял покров.

IV

Что ж увидал он там?.. У ног Изиды, в храме,
Поутру, недвижим, он поднят был жрецами.
И что он увидал? и что постигнул он?
Вопросы слышались ему со всех сторон.
Угрюмый юноша на них ответа не дал...
Но в жизни счастья он и радости не ведал.
В могилу раннюю тоска его свела,
И к людям речь его прощальная была:
«Кто к Истине идет стезею преступленья,
Тому и в Истине не ведать наслажденья!»

КОЛУМБ

Далее, смелый пловец! И пусть невежды смеются;
Пусть, утомившися, руль выпустит кормчий из рук —
Далее, далее к западу! Должен там берег явиться:
Ясно видится он мысли твоей вдалеке.
Веруй вожатаю-разуму! бодро плыви океаном!
Если земли там и нет — выйдет она из пучин.
В тесном союзе и были и будут природа и гений:
Что обещает нам он — верно исполнит она!

ОДИССЕЙ

Все моря переплыл Одиссей, возвращаясь в отчизну:
Слышал и Сциллы он лай, зрел и Харибды грозу;
Моря враждебного злобу и горе на суше изведал,
Даже и в темный аид, долго блуждая, попал.
Сонного волны его принесли ко прибрежью Итаки:
Скорбный, от сна пробудясь, родины он не узнал.

НЕНИЯ

Смерть суждена и прекрасному — богу людей и бессмертных!
Зевса стигийского грудь, меди подобно, тверда.
Раз лишь достигла любовь до властителя сумрачных тéней.
Но при пороге еще строго он отнял свой дар.
Не усладить Афродите прекрасного юноши рану:
Вепрь беспощадно красу тела его растерзал.
И бессмертная мать не спасла великого сына:
Пал он у скейских ворот волей державных судеб...
Но она вышла из моря в сонме дщерей Нерея:
В жалобах ожил опять славный делами герой.
Видишь: боги рыдают и плачут богини Олимпа,
Что совершенному — смерть, смерть красоте суждена.
Даже и песнью печали славно в устах быть любимых;
Только ничтожное в Орк сходит без звуков любви.

ИЛИАДА

Рвите Гомеров венок и считайте отцов совершенной,
Вечной поэмы его! Матерь одна у нее:
Ясно и стройно на ней родные черты отразились —
Вечной природы черты в их неизменной красе.

СЕЯТЕЛЬ

Полон надежды, земле ты вверяешь зерно золотое —
И ожидаешь весной радостно всхода его.
Что же боишься на поле времен свои сеять деянья?
Мудрости смелой посев тихо цветет для веков.

СОГЛАСИЕ

Истины оба мы ищем: ее ты ищешь в природе,
В сердце ищу я, и — верь! — оба ее обретем.
Здравое око увидит творца в чудесах мирозданья;
Здравое сердце в себе мир и творца отразит.

АРХИМЕД И УЧЕНИК

Юноша, жаждущий знаний, однажды пришел к Архимеду.
«О! посвяти меня в тайну науки божественной! — молвил,—
Той, что отчизне столь дивные службы служила —
И охранила от вражьей самбуки родные твердыни!» —
«Ты называешь науку божественной! — мудрый ответил.—
Да, не служа государству, была таковою наука.
Хочешь плодов от нее? Но плодов и от смертной добудешь,
Хочешь богиню святую в ней видеть — жены не ищи в ней».

ОЖИДАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ

С тысячью гордых судов пускается юноша в море;
Чуть уцелевший челнок к пристани правит старик.

ДАНАИДЫ

Веки черпаем ситом и камень у сердца мы греем:
Холоден камень, как был; в сите ни капли воды.

ДРУГ И ВРАГ

Дорог мне друг, но полезен и враг: наблюдения друга
Силу оценят мою; враг мне укажет мой долг.

РЕБЕНОК В КОЛЫБЕЛИ

Счастлив младенец! ему в колыбели простор бесконечный;
Тесен будет потом мир бесконечный ему.

TRIEBFEDERN [1]

Страх пусть прутом железным своим раба побуждает.
Розовой вязью своей ты меня, радость, веди.

---

[1] Движущие силы (*нем.*).

ЛЖЕУЧЕНЫЕ

Сколько у истины новых врагов... Душа замирает.
К свету теснится — увы! — стая незрячая сов.

УЧЕНЫЙ РАБОТНИК

Ты дерево взрастил, но не вкусил плода:
Изящный вкус сорвет плод знанья и труда.

ОБЩАЯ УЧАСТЬ

Ненависть, распри меж нами; и мненья и чувства нас делят.
Время идет, серебря кудри и мне и тебе.

К МУЗЕ

Чтó бы я был без тебя — не знаю; но страшно, как взглянешь,
Чтó без тебя этот рой сотен и тысяч людей.

КЛЮЧ

Хочешь себя изучить — посмотри на людей и дела их;
Хочешь людей изучить — в сердце к себе загляни!

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ты непонятно мне, племя! Иль было и прежде как ныне?
Молоды старцы теперь, юноши стары у нас!

БЛАГО И ВЕЛИЧИЕ

Две только есть добродетели. Быть им вечно в союзе:
Вечно великим добру, вечно величью благим.

ВЕЛИКИЙ МИГ

Век породил нам эпоху великую. Боже! как горько
В этот великий момент видеть ничтожных людей!

НАТУРАЛИСТЫ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФЫ

Будьте враждебны друг другу: союз заключать вам не время.
Только отдельно ища, истину сыщете вы.

МИЛОСТЬ МУЗ

Вместе с невеждой умрет его слава; небесная муза
В сень Мнемозины вселит верных любимцев своих.

ПЕЧАТЬ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ ГОМЕРА

Старец Гомер! тебе доверяю нежную тайну:
Счастье любовников знай ты лишь единый, певец!

ДОЛГ КАЖДОГО

К целому вечно стремись, и, если не можешь стать целым
Сам,— подчиненным звеном к целому скромно примкни.

ЛЮДВИГ УЛАНД

БЛАЖЕННАЯ СМЕРТЬ

Я умер от неги
Любви и счастья;
Мне были могилой
Объятья милой;
Меня воскресили
Ее лобзанья;
Я небо увидел
В очах прекрасных.

ПАСТУШЬЯ ПЕСНЯ

Зима, зима лихая!
Как мал и тесен свет!
Ни в хатах, ни в долинах —
Нигде простору нет!

Иду ли мимо дома,
Где милая живет,—
Ее не видно: окна
Покрыл узорный лед.

Прижму ли к сердцу руки
И перейду порог —
Она сидит, не взглянет:
Отец суров и строг.

О лето золотое!
Широк с тобою свет!
На верх ли гор взберешься —
Ограды взору нет.

Когда с зеленой выси
Мне милая видна,
Зову — и зов мой слышит
Вдали она одна.

Когда сидим, целуясь,
Мы на горах вдвоем,
Мы никому не видны —
И видим все кругом!

РАЗВАЛИНЫ

Странник! Не бойся средь этих развалин забыться дремотой:
Может, твой сон воссоздаст их в первобытной красе.

КОРОЛЬ НА БАШНЕ

Объяты дремучею мглой, предо мной
Долины и горы лежат в тишине.
Все спит; ветерок не приносит ночной
Ни звука страданья ко мне.

Заботой о счастии всех удручен,
Я в думах сидел и за кубком вина.
Луной озарен голубой небосклон...
Душе моей воля нужна!

Торжественной жизни полны небеса
В мерцании звездных таинственных рун;
Мне слышатся дивные там голоса
При тихом бряцании струн.

Мой глаз отуманен, и волос мой сед;
Оружие праздно висит на стене;
Дела мои правы, и прав мой совет...
Пора успокоиться мне!

О, что же ты медлишь, желанный покой?
Возьми меня, вечная ночь, и умчи
Туда, где слышнее хор песни святой,
Где звездные ярче лучи!

МАТЬ И ДИТЯ

«У тебя есть братец в небе!
Он меня не огорчал
Никогда,— и божий ангел
В небеса малютку взял».

«Научи меня, родная,
Как тебя мне огорчить,
Чтоб не мог меня с тобою
Божий ангел разлучить!»

ВЕСЕННИЙ ПОКОЙ

Ах! не кладите в могилу меня
В ясное утро весеннего дня!
Если меня схоронить захотите,
Лучше в густую траву положите!

Любо в траве и в цветах мне лежать:
Издали будет свирель мне звучать,
А в вышине будут плыть надо мною
Майские тучки прозрачной грядою!

ПРОЩАНЬЕ

Так прощай, моя радость, прощай!
Дождались мы с тобой расставанья.
Поцелуй же меня, приласкай!
Уж другого не будет свиданья.

На прощанье нарви мне цветов!
Все на яблоне ветки белеют.
Не увижу на ней я плодов:
Без меня они летом созреют.

ГОРНЫЙ ПАСТУХ

Я на горах пасу стада;
Внизу чуть видны города.

Здесь раньше солнышко встает
И позже вечер настает.
Я сын свободных гор!

Здесь чистый ключ скалу пробил;
Меня он первого поил.
Рекой он мчится там, в лугах;
А я вмещал его в руках.
Я сын свободных гор!

Мне горы — родина и дом.
Гроза ль кругом, гремит ли гром,
Шипит ли молния змеей,
Не заглушить им голос мой.
Я сын свободных гор!

В грозу под солнцем я стою;
Она ревет, а я пою.
А разозлится, крикну ей:
«Не тронь ты горных шалашей!»
Я сын свободных гор!

Когда ж ударят вдруг в набат
И вспыхнет где одна из хат,
Я вмиг туда! Топор в руках,
И та же песня все в устах:
Я сын свободных гор!

ДОБРЫЙ ТОВАРИЩ

Был у меня товарищ,
Товарищ дорогой.
Бил барабан тревогу;
Он шел со мною в ногу,
Шаг в шаг, рука с рукой.

Тут вдруг шальная пуля.
Не мне ли? Нету; с ног
Его рядком свалило,
Как словно отхватило
От тела мне кусок.

Он протянул мне руку;
А мне — вбивать заряд.
«Ну, не взыщи, сердечный!
Дай мира в жизни вечной
Тебе господь, камрад!»

АВГУСТ КОПИШ

СЕРЕНАДА БЛИЗ ВЕЗУВИЯ

О беспокойная! ты шлешь меня к покою...
Устал я; но мне нет ни отдыха, ни сна.
Куда в грозу пловец приляжет головою?
О боже, боже мой! как эта ночь длинна!

Я камень пламенный, жерлом горы суровой
Высоко взброшенный с клокочущего дна...
Он падает назад; но вдруг извержен снова.
О боже, боже мой! как эта ночь длинна!

Я муравейный рой, прохожим разоренный...
Все, все во мне, вся жизнь — разбита, смущена...
Средь неба ход светил — мне хаос беззаконный.
О боже, боже мой! как эта ночь длинна!

Я бедный перепел над бурным океаном...
Он бьется, он кричит... Кругом — лишь тьма одна;
Под ним — могилы глубь, одетая туманом.
О боже, боже мой! как эта ночь длинна!

ИСТОРИЯ О НОЕ

Как вылез Ной из сундука,
Явился бог ему, слегка
Понюхал жертву — и сказал:
«Тебя всегда я отличал
За смирный нрав твой. Честь тебе!
Проси же милости себе!»

«Вот,— Ной сказал, — моя беда...
Противна стала мне вода
С тех самых пор, как в ней гниют

И грешный скот и грешный люд,—
И мне хотелось бы, господь,
Иным питьем потешить плоть!»

Пошел господь в свой рай — и вот
Пук виноградных лоз несет...
И говорит: «Возьми, старик!
Смотри, за ним уход велик.
Вот так и так». Все рассказал
И скрылся. Ной наш ликовал.

Он сóзвал всех — детей, жену...
Все сбились в кучку тут одну.
К работе! Садят по холмам —
И рассадили все,— а там
И погреб строят, жмут вино —
И в бочки рóзлито оно.

Ной был муж кроткий и святой...
Сначала — к бочке, там — к другой...
И в честь господню пил да пил —
И вечно здрав и весел был.
Так по потопе, говорят,
Он жил лет триста пятьдесят.

Отсюда истина видна,
Что нет греха в питье вина.
Коль христианин ты прямой,
Вина не смешивай с водой:
Еще с потопа в ней гниют
И грешный скот и грешный люд.

ФРИДРИХ РЮККЕРТ

У ДВЕРЕЙ

У двери Богатства я долго стучал:
К ногам моим грош из окошка упал.

У дома Любви не пробился к дверям:
Так много народу толпилося там.

Стучался я в замок, где Слава живет;
Сказали: «Ты пеш; не отворим ворот!»

Мне слышались стоны под кровлей Труда,
И страшно войти показалось туда.

Побрел я по свету дом Счастья искать:
Никто мне дороги не мог указать.

Один остается мне домик теперь:
Туда постучаться попробую в дверь...

И верно, хоть много в Могиле гостей,
Найдется местечко мне, бедному, в ней!

ХИДГЕР

Неумирающий и вечно юный
Хидгер рассказывал: «Я проезжал
Однажды шумным городом. В саду
Я увидал там человека
С корзиною — и у него спросил,

Давно ль стоит тут город? Продолжая
Сбирать плоды, он отвечал мне: «Вечно
Стоял он тут и вечно простоит».

Чрез пять столетий тою же дорогой
Я проезжал. От города того
Ни одного следа не оставалось;
Где он стоял — была пустыня. Тут
Сидел пастух и одиноко песню
Наигрывал на дудке; вкруг него
Паслося стадо на зеленом луге.
И я его спросил, давно ль не стало
Тут города? Он продолжал играть
В свою свирель и мне одно промолвил:
«Одно растет, другое увядает.
Я вечно здесь пасу свои стада».

Опять чрез пять столетий тою ж самой
Дорогой проезжал я. Пред собою
Я увидал тут море; волны
Катились и шумели. В челноке,
У берега привязанном, рыбак
Сидел, свои закидывая сети.
Я у него спросил, давно ль тут море?
И, моему вопросу засмеявшись,
Он мне сказал: «Как эти волны вечно
Гуляют и клубятся на просторе,
Так вечно здесь закидывают сети».

Чрез пять столетий тою же дорогой
Я снова ехал и нашел тут лес,
И в чаще леса встретил дровосека.
Под корень он рубил могучий дуб,
И я спросил его, давно ль явился
Тут лес? Он отвечал мне: «Лес
Стоит здесь вечно, вечно в нем растут
Деревья, и дрова мы вечно рубим».

Еще чрез пять столетий этою дорогой
Поехал я, и вновь передо мною
Там очутился город. Громкий гул,
Народный говор, стук колес повсюду
На улицах и площадях. У встречных

Я спрашивал, давно ль построен город?
Куда девались темный лес, и море,
И пастбище? Но слов моих никто
И слушать не хотел, и все кричали:
«Так вечно шло на этом месте, вечно,—
И вечно так пойдет». Чрез пять столетий
Поеду снова этою дорогой.

АДАЛЬБЕРТ ШАМИССО

НА МЕЛЬНИЦЕ

Ребенком принял мельник
Меня к себе в семью;
Здесь вырос я, здесь прожил
И молодость свою.
Как ласкова со мною
Дочь мельника была!
Как ясны были очи,
И как душа светла!

Порой, как с братом, сядет
Со мною вечерком,
И нет конца беседе —
Толкуем обо всем.
И радости и горе —
Все поверял я ей;
Ни слова не промолвил
Лишь о любви своей.

Люби сама — без слова
Узнала бы она:
Чтоб высказаться сердцу,
Людская речь бедна.
Я сердцу молвил: «Сердце!
Терпи, молчи любя!
О счастье полно думать!
Оно не для тебя».

Бывало, чуть приметит
В лице печали след:
«Ах, что с тобой? Грустишь ты!

В щеках кровинки нет!
Да полно же крушиться!
Да будь же весел вновь!»
И из любви гасил я
В душе своей любовь.

Однажды — шел я к роще —
Меня вдруг догнала,
Так весело взглянула
И за руку взяла.
«Порадуйся со мною:
Теперь невеста я!
А без тебя и радость
Нерадостна моя!»

Я целовал ей руки,
Лицо стараясь скрыть:
Катились градом слезы;
Не мог я говорить.
Казалось, все надежды,
Все, чем душа жила,
Передо мной могила
Навеки погребла.

В тот вечер обручали
Невесту с женихом;
Сидел почетным гостем
Я с ними за столом.
Вокруг вино и песни,
Веселый говор, смех;
Пришлось и мне смеяться:
Не плакать же при всех!

Наутро после пира
Ходил я сам не свой:
Мне было тошно, больно
Средь радости чужой.
О чем же я крушился?
Чего хотел от них?
Ведь все меня любили —
Она, ее жених.

Они меня ласкали,
А я болел душой.
Мне тяжко было видеть
Их ласки меж собой.
Задумал я — далеко,
Навек от них уйти:
Все уложил в котомку
И все припас к пути.

Прошу их: «Отпустите
На белый свет взглянуть!»
Сам думаю: «Кручину
Размычу где-нибудь».
Она так кротко смотрит.
«Куда ты? Бог с тобой!
Тебя мы все так любим!
Ведь ты нам свой, родной!»

Катились градом слезы,—
И не скрывал я их:
Все плачут, покидая
Знакомых и родных.
Они со мной простились
И провожать пошли...
И замертво больного
С дороги принесли.

На мельнице все ходят
За мной как за родным;
Она приходит с милым
Сидеть со мной, больным.
В июле будет свадьба.
Они меня зовут,
Чтоб ехал жить я с ними,
Что я стоскуюсь тут.

Шумят в воде колеса —
И все б их слушал я!..
Все думаю: нашла бы
Здесь мир душа моя!
Тут все бы мое горе,
Все скорби утопил!
Они же ведь желают,
Чтоб я доволен был!

ФЕРДИНАНД ФРЕЙЛИГРАТ

У ГРОБОВЩИКА

«Горькое дело! страшное дело!
Ляжет в досках этих мертвое тело!»

«Вот еще выдумал горе какое!
Нам что за дело? Не наше — чужое!»

«Полно бранить! разве я виноват?
Первый ведь гроб я работаю, брат».

«Первый, последний ли — что за забота?
Пой: веселее под песни работа.

Доски распилишь — отмерь же, смотри!
Выстругай глаже и стружки сбери!

Доску к доске пригони поплотнее:
Тесно лежать, так чтоб было теплее.

Выкрасить — дно и бока уложить
Стружками надо, а сверху обить.

Стружки приличней, чем пух или перья;
Это старинное наше поверье.

Гроб ты снесешь; а как мертвый уж в нем,
Крышку захлопнул — и дело с концом!»

«Все это знаю я! Доски исправно
Я распилил и их выстругал славно...

Только все дрожь не проходит в руках,
Только все слезы стоят на глазах.

Струг ли, пилу ли рука моя водит,
Сердце все мрет, словно кровью исходит.

Горькое дело! страшное дело!
Ляжет в досках этих мертвое тело».

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПРОЛОГ

Снова я в сказочном старом лесу:
    Липы осыпаны цветом;
Месяц, чаруя мне душу, глядит
    С неба таинственным светом.

Лесом иду я. Из чащи ветвей
    Слышатся чудные звуки:
Это поет соловей про любовь
    И про любовные муки.

Муки любовной та песня полна:
    Слышны и смех в ней и слезы,
Темная радость и светлая грусть...
    Встали забытые грезы.

Дальше иду я. Поляна в лесу;
    Замок стоит на поляне.
Старые круглые башни его
    Спят в серебристом тумане.

Заперты окна; унынье, и мрак,
    И гробовое молчанье...
Словно безмолвная смерть обошла
    Это заглохшее зданье.

Сфинкс, и роскошен и страшен, лежал
    В месте, где вымерли люди:

Львиные лапы, спина; а лицо
    Женское, женские груди.

Дивная женщина! В белых очах
    Дико светилось желанье;
Страстной улыбкой немые уста
    Страстное звали лобзанье.

Сладостно пел и рыдал соловей...
    И, вожделеньем волнуем,
Весь задрожал я — и к белым устам
    Жарким прильнул поцелуем.

Камень холодный вдруг начал дышать...
    Груди со стоном вздымались;
Жадно огнем поцелуев моих
    Губы, дрожа, упивались.

Душу мне выпить хотела она,
    В неге и млея и тая...
Вот замерла — и меня обняла,
    Когти мне в тело вонзая.

Сладкая мука! блаженная боль!
    Нега и скорбь без предела!
Райским блаженством поит поцелуй;
    Когти терзают мне тело.

«Эту загадку, о Сфинкс! о Любовь! —
    Пел соловей,— разреши ты...
Как в тебе счастье и смертная скорбь,
    Горе и радости слиты?»

«Сфинкс! над разгадкою тайны твоей
    Мучусь я многие лета.
Или загадкою будет она
    И до скончания света?»

Грезы

* * *

Мне снились страстные восторги и страданья,
И мирт и резеда в кудрях прекрасной девы,
И речи горькие, и сладкие лобзанья,
И песен сумрачных унылые напевы.

Давно поблекнули и разлетелись грезы;
Исчезло даже ты, любимое виденье!
Осталась песня мне: той песне на храненье
Вверял я некогда и радости и слезы.

Осиротелая! умчись и ты скорее!
Лети, о песнь моя, вослед моих видений!
Найди мой лучший сон, по свету птицей рея,
И мой воздушный вздох отдай воздушной тени!

* * *

Снилась мне девушка: кудри как шелк;
Кроткие, ясные очи...
С нею под липой просиживал я
Синие летние ночи.

Слово любви прерывала порой
Сладкая речь поцелуя...
Звезды вздыхали средь темных небес,
Словно ревниво тоскуя.

Я пробудился... Со мной никого...
Страшно мне в сумраке ночи;
Холодно, немо глядят на меня
Тусклые звездные очи.

* * *

Ночь могилы тяготела
На устах и на челе,
Замер мозг, застыло сердце...
Я лежал в сырой земле.

Много ль, мало ли, не знаю,
Длился сон мой гробовой;
Пробудился я — и слышу
Стук и голос над собой...

«Встань, мой Генрих, из могилы!
Светит миру вечный день —
И над мертвыми разверзлась
Гроба сумрачная сень».

«Милый друг мой, как я встану?
Всё темны мои глаза:
Много плакал я — и выжгла
Их горючая слеза».

«Генрих, встань! я поцелуем
Слепоту сниму с очей:
Узришь ангелов ты в небе
В ризе света и лучей».

«Милый друг мой, как я встану?
Сердце все еще в крови:
Глубоко его язвила
Ты словами без любви».

«Я к больному сердцу, Генрих,
Нежно руку приложу:
Язвы старые закрою,
Токи крови удержу».

«Милый друг мой, как я встану?
Кровь и кровь на лбу моем:

Я не мог снести разлуки —
И пробил его свинцом!»

«Я косой своею, Генрих,
Обвяжу тебе чело:
Кровь уймется, боль уймется;
Снова взглянешь ты светло».

Так был сладок, так был нежен
Тихий звук молящих слов,
Что я встать хотел из гроба —
И идти на милый зов.

Но опять раскрылись раны,
Кровь, обильна и черна,
Снова хлынула ручьями,
И — очнулся я от сна.

* * *

Зловещий грезился мне сон...
И люб и страшен был мне он;
И долго образами сна
Душа, смутясь, была полна.

В цветущем — снилось мне — саду
Аллеей пышной я иду.
Головки нежные клоня,
Цветы приветствуют меня.

Веселых пташек голоса
Поют любовь; а небеса
Горят и льют румяный свет
На каждый лист, на каждый цвет.

Из трав курится аромат;
Теплом и негой дышит сад...
И все сияет, все цветет,
Все светлой радостью живет.

В цветах и в зелени кругом,
В саду был светлый водоем.
Склонялась девушка над ним
И что-то мыла. Неземным

В ней было все: и стан, и взгляд,
И рост, и поступь, и наряд.
Мне показалася она
И незнакома и родна.

Она и моет и поет—
И песнью зá сердце берет:
«Ты плещи, волна, плещи!
Холст мой белый полощи!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и моешь что?»

Она в ответ мне: «Будь готов!
Я мою в гроб тебе покров».
И только молвила — как дым
Ичезло все. — Я недвижим

Стою в лесу. Дремучий лес
Касался, кажется, небес
Верхами темными дубов;
Он был и мрачен и суров.

Смущался слух, томился взор...
Но — чу! — вдали стучит топор.
Бегу заросшею тропой —
И вот поляна предо мной.

Могучий дуб на ней стоит —
И та же девушка под ним;
В руках топор... И дуб трещит,
Прощаясь с корнем вековым.

Она и рубит и поет —
И песнью зá сердце берет:
«Ты руби, мой топорок!
Наруби ты мне досок!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто
И рубишь дерево на чтó?»

Она в ответ мне: «Близок срок!
Тебе на гроб рублю досок».
И только молвила— как дым
Исчезло все.— Тоской томим,

Гляжу — чернеет степь кругом,
Как опаленная огнем,
Мертва, бесплодна... Я не знал,
Что ждет меня; но весь дрожал.

Иду... Как облачный туман,
Мелькнул вдали мне чей-то стан.
Я подбежал... Опять она!
Стоит, печальна и бледна,

С тяжелым заступом в руках —
И роет им. Могильный страх
Меня объял. О, как она
Была прекрасна и страшна!

Она и роет и поет —
И скорбной песнью сердце рвет:
«Заступ, заступ! глубже рой:
Надо в сажень глубиной!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и роешь что?»

Она в ответ мне: «Для тебя
Могилу рою». — Ныла грудь,

И содрогаясь и скорбя;
Но мне хотелось заглянуть

В свою могилу. — Я взглянул...
В ушах раздался страшный гул,
В очах померкло... Я скатился
В могильный мрак — и пробудился.

* * *

И я когда-то знал край родимый...
    Как светел он!
Там рощи шумны, фиялки сини...
    То был лишь сон!

Я слышал звуки родного слова
    Со всех сторон...
Уста родные «люблю» шептали...
    То был лишь сон!

СУМЕРКИ БОГОВ

Явился Май, принес и мягкий воздух,
И золотой свой свет, и аромат,
И дружелюбно белыми цветами
Всех ма́нит, и из тысячи фиялок
С улыбкой смотрит синими очами,
И расстилает свой ковер зеленый,
Весь пышно затканный лучами солнца
И утренней росой, и созывает
К себе любезных смертных. Глупый люд
На первый зов покорно поспешает.
Мужчины вышли в нанковых штанах
И в праздничных кафтанах с золотыми,
Сияющими пуговками; в цвет
Невинности все женщины оделись;
Крутит свой ус весенний молодежь;
У девушек высоко дышат груди;

Поэты городские запаслись
Карандашом, бумагой и лорнетом...
И все, ликуя, за город бегут,
Садятся на муравчатых полянах,
Любуются на быстрый рост деревьев,
На нежные и пестрые цветочки,
Внимают пенью беззаботных пташек
И шлют привет свой ясным небесам.

И у меня был Май с визитом. Трижды
В затворенную дверь он постучал
И кликнул мне: «Я Май! Не прячься, бледный
Мечтатель! выдь! Тебя я поцелую!»
Но двери я не отпер и сказал:
«Недобрый гость, зовешь меня напрасно!
Тебя насквозь прозрел я — и насквозь
Узнал строенье мира; слишком много
И слишком глубоко узнал — и прахом
Рассеялись все радости мои,
И в сердце скорби вечные вселились.
Сквозь каменную жесткую кору
Мне ясно видно все в людских домах,
В людских сердцах; и здесь и там я вижу
Обман, да ложь, да жалостное горе.
На лицах я читаю злые мысли;
В стыдливом девственном румянце виден
Мне тайный трепет похоти; над гордым
И вдохновенным юноши челом —
Колпак дурацкий. Всюду на земле
Лишь тени прокаженные я вижу
Да рожи глупые, и сам не знаю,
В больнице я иль в доме сумасшедших.
Насквозь, как в чистое стекло, я вижу
И всю земную глубь и весь тот ужас,
Что Май напрасно хочет утаить
Под пышной муравой своей. Я вижу,
Как мертвецы лежат в гробах там тесных;
Глаза раскрыты, руки скрещены,
Лицо как полотно, и бел их саван,
И черви между желтых губ клубятся.
Я вижу — сын, с любовницей шутя,
Садится на отцовскую могилу...
Вокруг с насмешкой свищут соловьи,

И нежные цветочки полевые
Лукаво издеваются, и мертвый
Отец в своей могиле шевелится,
И вздрагивает скорбно мать земля».

О бедная земля! твои терзанья
Я знаю. Вижу я, как грудь твою
Снедает пламя, как исходят кровью
Бесчисленные жилы, как широко
Твоя раскрылась рана и потоком
Вдруг хлынули огонь, и кровь, и дым.
Я вижу — из земной разверстой пасти
Выходят исполинские сыны
Предвечной ночи, машут над собой
Багровыми светильниками, ставят
Свои литые лестницы и грозно
Бегут по ним на штурм твердыни неба.
За ними лезут карлики, и с треском
Там золотые лопаются звезды.
Руками дерзновенных пришлецов
Раздернута завеса золотая
У божьего шатра, и с воем ниц
Святые сонмы ангелов упали.
Весь побледнев, сидит на троне бог,
Рвет волосы и топчет свой венец.
Горит все царство вечности. Повсюду
Пожар кровавый мечут исполины;
А карлы бьют горящими бичами
По спинам ангелов и в смертных корчах
Их за волосы тащат и кидают.
И мой хранитель ангел там, с цветущим,
Прелестным ликом, с русыми кудрями,
С блаженством в голубых глазах и вечной
Любовью на устах... И гадкий, черный
Урод его схватил и повалил...
Со скрежетом он смотрит на его
Божественные члены... Сладострастно
Насилует его в своих объятьях...
И ярый крик несется по вселенной...
Шатнулися основы мировые —
И рухнули и небо и земля —
И воцарилась тьма предвечной ночи.

На Гарце

* * *

Фраки, белые жилеты,
Тальи, стянутые мило,
Комплименты, поцелуи...
Если б в вас да сердце было!

И любви хотя немножко
Было б в сердце!.. Тошны, право,
Ваши вопли и стенанья:
Разве жизнь вам не забава?

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где свободный веет воздух
И дышать просторно груди...

В горы, где темнеют ели —
Шумны, зелены, могучи,
Воды плещут, птицы свищут
И по воле мчатся тучи.

Полированные залы...
Полированные гости...
В горы! в горы! Я оттуда
Улыбнуся вам без злости.

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

I

На горе, в избушке скромной,
Рудокоп живет старик.
Шумны темные там ели,
Кротко-светел лунный лик.

Средь избушки стул высокий,
Весь резной, у ног скамья;
И сидит на нем счастливец,
И счастливец этот — я.

На скамье сидит малютка —
Оперлась на локоток;
Глазки — звезды голубые,
Губки — розовый цветок.

Мне сияют эти звезды,
Чистой радостью блестя;
К алым губкам приложила
Белый пальчик свой дитя.

Ни отец, ни мать не слышат;
Не до нас им: мать прядет,
А отец, бренча на лютне,
Песню старую поет.

И малютка шепчет тихо:
Речь ее едва слышна;
Важных тайн своих немало
Мне поведала она.

«Вот, как тетушка скончалась,
И сиди тут круглый год:
С ней пойдешь, бывало, в город,
Хоть посмотришь на народ.

Здесь и пусто так, и глухо,
И так холодно в горах;
А зима придет лихая —
Все схоронимся в снегах.

Я ж трусливая такая,
Как дитя: меня страшат
Злые духи гор, что бродят
Темной ночью и шалят».

Вдруг малютка умолкает,
Будто слов боясь своих,

И руками закрывает
Звезды глазок голубых.

И шумнее шелест елей,
Громче гул веретена,
И ясней со звоном лютни
Песня старая слышна:

«Не страшись, моя малютка,
Наважденья силы злой!
Божьи ангелы на страже
Днем и ночью над тобой».

II

К нам в окно стучит тихонько
Ель зеленою рукой,
И сквозь веток с любопытством
Смотрит месяц золотой.

Крепко в горенке соседней
Спят давно отец и мать;
Мы не можем нашептаться,
И не хочется нам спать.

«Нет, не верю я, чтоб часто
Ты молился: шепот твой
Чем-то кажется мне странным,
Не молитвою святой.

Этот злой, холодный шепот
Уж не раз меня пугал;
Только кротким, светлым взглядом
Ты испуг мой отгонял.

Да и веришь ли ты, полно,
Что есть в небе над тобой
Бог-отец, бог-сын, распятый
На кресте, и дух святой?»

Ах, дитя! еще малюткой
Верил я, что в небесах

Бог-отец живет над нами,
Что велик он, свят и благ...

Создал землю, человеку
Бытие и душу дал,
Солнцу, месяцу и звездам
Путь их вечный указал.

Стал я старше и умнее,
Стал побольше понимать,
И узнал я светлой веры
В бога-сына благодать.

Он принес нам, воплотившись,
Откровение любви;
Но народ безумный руки
Обагрил в его крови.

Возмужал я, много видел,
Много странствовал, читал,
И теперь в святого духа
Жарким сердцем верить стал.

Чудеса его исчислить
Недостанет наших слов!
Он сломил твердыни злобы
И оковы снял с рабов.

Нашим язвам он целенье,
В нем и право и закон;
Перед ним с богатым нищий,
Раб с владыкой уравнен.

Гонит он туман тяжелый,
Что окутывал нам тьмой
Ум и сердце и пред нами
Шел как призрак гробовой.

Много рыцарей отважных
Обрекли себя ему
И по свету разъезжают —
Носят свет и гонят тьму.

Тихо веют их знамена,
И доспех горит на них...
Что́, хотела б ты, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так скорей любуйся мною,
Ненаглядная моя,
И целуй меня покрепче!
Ведь такой же рыцарь я.

III

За ветвями темной ели
Прячет месяц светлый лик;
В нашей горенке чуть светит
Догорающий ночник.

Но в звездах моих лазурных
Свет мне радостный горит;
Пышут розы уст румяных,
И малютка говорит:

«Домовые наши — злые:
Хлеб воруют по ночам;
В ящик с вечера положишь —
Поутру уж пусто там.

С молока съедят все сливки,
Не покроют и горшка;
Кошка вылижет остатки —
И сиди без молока!

А ведь кошка наша — ведьма:
Ночью буря на дворе,
А она идет тихонько
К старой башне на горе.

Там стоял когда-то за́мок;
Весь сиял он по ночам:
В ярких залах танцевало
Много рыцарей и дам.

Но волшебницей лихою
Проклят замок и народ;
И остались лишь обломки,
И сова гнездо там вьет.

Помню, тетка говорила:
Лишь такое слово знать
И его в таком лишь месте
И в такой лишь час сказать —

Снова в замок превратятся
Все обломки эти там —
И запляшет в ярких залах
Много рыцарей и дам.

Будет тот, кто молвит слово,
Обладателем всего;
Станут трубы и литавры
Славить молодость его!»

Так живут и дышат сказки
У малютки на устах;
Вера теплится живая
В голубых ее глазах.

Локон шелковый на пальцы
Навивает мне она;
И целует, и смеется,
И дает им имена.

И глядит все так приветно
В тихой горенке кругом:
Стол и шкаф — как будто с ними
Я с младенчества знаком.

Тихо маятник лепечет,
Тихо лютня на стене
Прозвучит порой струнами,
И сижу я как во сне.

Не такое ль надо место,
Не такой ли надо миг,

Чтоб от слова замок снова
В блеске царственном возник?

Да, дитя! Смотри: светлеет
Ночи темная пора.
Чу! шумней ручьи и ели;
Пробуждается гора.

Песня гномов с струнным звоном
Меж утесами слышна;
По камням ковры цветные
Стелет знойная весна.

А цветы — пестры и чудны,
В благовонных завитках,
И трепещут слезы страсти
На широких их листах.

Вожделенно пышут розы,
Разгораясь все красней;
На стеблях стоят хрустальных
Чаши снежные лилей.

Звезды с неба, словно солнцы,
Смотрят страстно-горячи,
И лилеям в чаши льются
Их влюбленные лучи.

Да и мы с тобой, малютка,
Мы как будто уж не те...
Посмотри: огни зажглися,
Шелк и золото везде!

И избушка стала замком,
И принцессой стала ты;
Вкруг всё рыцари и дамы:
Сколько пышной суеты!

Все мое — и ты и замок!
Пир венчальный я даю!
Трубы, флейты и литавры
Славят молодость мою!

ПАСТУХ

Ты — король, пастух-красавец!
Этот холм — не трон ли твой?
Это солнце над тобою —
Не венец ли золотой?

Льстиво овцы в алых лентах
Улеглись пред королем;
Камергерами телята
Важно шествуют кругом.

Из козлят придворной труппы
Каждый — чудо, не актер!
Колокольчики коровок,
Флейты птиц — придворный хор.

Чудный звон, игра и пенье!
И порой им вторит гул
Темных елей, водопада,—
И король, глядишь, заснул.

Той порой бразды правленья
Принимает верный пес;
Всем известен нрав министра,
Громкий лай и чуткий нос.

А король во сне лепечет:
«Тяжело быть королем!
Отдохнуть хотел бы дома —
С королевою вдвоем!

Головой бы лег державной
На груди я у нее...
Ведь в глазах ее прекрасных
Все и царство-то мое!»

* * *

Солнце близко; на востоке
Небо ярко и румяно.
Вправо, влево тонут горы
В море белого тумана.

Сапоги бы скороходы!
Я бы в них с волшебной силой
Зашагал чрез эти горы —
И примчался к дому милой.

Спит: я тихо распахнул бы
Белый полог над кроваткой;
Целовать бы стал ей тихо
Глазки, щечки, ротик сладкой...

И еще бы тише молвил
На ушко: «Не верь обману!
Я с тобой, с тобой, как прежде,
И любить не перестану!»

ИЛЬЗА

Зовусь я принцессою Ильзой,
Живу в Ильзенштейне своем.
Зайди ты в хрустальный мой замок:
Блаженно мы в нем заживем.

Своею прозрачной волною
Я вымою кудри твои;
Со мною, угрюмый страдалец,
Забудешь ты скорби свои.

На белой груди моей ляжешь,
Уснешь в моих белых руках
И страстной душою потонешь
В чарующих, сказочных снах.

Ласкать, целовать тебя стану
Без устали. В неге такой
Не таял и царственный Генрих,
Покойный возлюбленный мой.

Пусть мертвые тлеют в могиле,
Живому дай жизни вполне!
А я и свежа и прекрасна,
И сердце играет во мне.

Зайди же, прохожий, в мой замок!
В мой замок хрустальный зайди!
Там рыцари пляшут и дамы...
На пышный мой пир погляди!

Шумят там парчовые платья,
Железные шпоры звенят,
И карлы на скрипках играют,
Бьют в бубны и в трубы трубят.

Как некогда Генриха, крепко
Тебя ко груди я прижму.
Бывало, труба зарокочет —
Я уши закрою ему.

Песни

* * *

Дай ручку мне! к сердцу прижми ее, друг!
Чу! слышишь ли, что там за стук?
Там злой гробовщик в уголочке сидит
И гроб для меня мастерит.

Стучит без умолку и день он и ночь...
Уснул бы — при стуке не смочь.
Эй, мастер! уж время работу кончать!
Пора мне, усталому, спать!

* * *

Из слез моих много, малютка,
Родилось душистых цветов;
А вздохи мои превратились
В немолкнущий хор соловьев.

Уж только б меня полюбила —
Тебе и цветы я отдам,
И песнями станут баюкать
Тебя соловьи по ночам.

* * *

Когда гляжу тебе в глаза,
Стихает на сердце гроза;
Когда в уста тебя целую,
Душою верю в жизнь иную.

Когда склонюсь на грудь твою,
Не на земле я, а в раю...
Скажи «люблю» — и сам не знаю,
О чем я горько зарыдаю.

* * *

Щекою к щеке ты моей приложись:
  Пускай наши слезы сольются!
И сердцем ты к сердцу мне крепче прижмись:
  Одним огнем пусть зажгутся!

Когда же в то пламя польются рекой
  Из глаз наших слезы,— я руки
Сомкну у тебя за спиной и умру,
  Умру от блаженства и муки.

* * *

Стоят от века звезды
Недвижно над землей
И смотрят друг на друга
С любовью и тоской.

Их языка (богат он
И как хорош!) не мог
Постигнуть ни единый
Ученый филолог.

Но я его изгибы
Все изучил вполне...
Ведь глазки милой были
Грамматикою мне.

* * *

Опустясь головкой сонной
Под огнем дневных лучей,
Тихо лотос благовонный
Ждет мерцающих ночей.

И лишь только выплывает
В небо кроткая луна,
Он головку поднимает,
Пробуждаясь ото сна.

На листах душистых блещет
Чистых слез его роса,
И любовью он трепещет,
Грустно глядя в небеса.

* * *

Когда-то друг друга любили мы страстно...
Любили хоть страстно, а жили согласно.

Женой ее звал я, она меня мужем;
День целый, бывало, играем не тужим.

И боже спаси, чтоб затеяли ссору!
Нет, все б целоваться — во всякую пору!

Играть наконец мы задумали в прятки,
И в чаще лесной разошлись без оглядки.

Да так-то сумели запрятаться оба,
Что, верно, друг друга не сыщем до гроба.

* * *

На северном голом утесе
Стоит одинокая ель.
Ей дремлется. Сонную снежным
Покровом одела метель.

И ели мерещится пальма,
Что в дальней восточной земле
Одна молчаливо горюет
На зноем сожженной скале.

* * *

Как пришлось с тобой расстаться,
Разучился я смеяться...
Был в насмешках я жесток,
А смеяться все не мог.

Как с тобою разлучился,
Я и плакать разучился...
Много сердцу горьких бед,
А слезы все нет как нет.

* * *

Только до слуха коснется
Песня, что милая пела,
Сердце заноет, забьется,
Вырваться хочет из тела.

К лесу тоска меня гонит;
Спрятался б в чащах дремучих...
Хочется слез мне горючих:
В них мое горе потонет!

* * *

Лето жаркое алеет
    На лице твоем;
Но зима морозом веет
    В сердце молодом.

Переменится все это —
    Посмотри сама:
Скоро в сердце будет лето,
    На лице зима.

* * *

Полны мои песни
И желчи и зла...
Не ты ли отравы
Мне в жизнь налила?

Полны мои песни
И желчи и зла...
Не ты ли мне сердце
Змеей обвила?

* * *

Во сне неутешно я плакал:
Мне снилося — ты умерла.
Проснулся; а все по ланитам
Слеза за слезою текла.

Во сне неутешно я плакал:
Мне снилось — забыт я тобой.
Проснулся; но долго катились
Горючие слезы рекой.

Во сне неутешно я плакал:
Мне снилось — мы вместе опять.
Проснулся; а слезы все льются —
И я не могу их унять.

* * *

Падает звездочка с неба,
С яркой своей высоты...
Долго ли, звездочка счастья,
В небе мне теплилась ты?

С яблони цвет облетает,
Падает лист за листом;
Буйно их ветер осенний
По полю носит кругом.

Лебедь запел свою песню...
Тихо прудом он плывет.
Песня все глуше и глуше...
С песней и сам он умрет.

Грустно, темно!.. Ни листочка
Нет уж на ветках нагих...
Вот и звезда золотая
Гаснет... и лебедь затих.

* * *

Полночь немая была холодна;
Глухо в лесу мои вопли звучали.
Темные сосны очнулись от сна —
И с состраданьем главами качали.

* * *

Не радует вешнее солнце
Смущенную душу мою;
У старых развалин, под липой,
Один и печален стою.

Как ярко блестит под горою
Лазоревой гладью река!
Плывет по ней лодка; далеко
Разносится песнь рыбака.

А там, за рекою, пестреют
Под ясной улыбкой небес
Сады и беседки, и дачи,
И люди, и стадо, и лес.

Вон девушки берегом и́дут,
К зыбучему плоту с бельем;
Вон мельница шумно труди́тся —
И сыплет алмазным дождем.

Вон древняя ветхая башня
И будка у старых ворот;
Солдатик в нарядном мундире
Там ходит и взад и вперед.

Играет ружьем он — и ярко
Сверкает на солнце ружье...
«На пле́-чо! на кра́-ул!» Солдатик!
Прицелься ты в сердце мое!

* * *

Печален по роще брожу;
А дрозд мне с кудрявой березы
Щебечет: «О чем твои слезы?»
Да что тебе, птица, скажу?

Ведь, верно, печаль мою знают
Касатки, сестрицы твои,
Что умные гнезда свои
Над окнами милой свивают.

* * *

Привяжи, душа-рыбачка,
Ты у берега челнок!
Подойди: рука с рукою
Сядем вместе на песок.

Без боязни припади ты
Мне на сердце головой!
Ведь без страха синю морю
Ты челнок вверяешь свой.

Это сердце — то же море:
Так же часты бури в нем,
Так же, бурное, богато
Многоценным жемчугом.

* * *

Вихорь смерчи водяные
Вздел, как белые штаны,
И бежит, бичуя волны;
Волны гневны и черны.

Тьма на небе; ливень хлещет;
Пуще злится ураган.
Мнится, с ночью довременной
Слился старый океан.

К нашей мачте чайка жмется,
Бурей смята на лету,
И пророчит хриплым криком
Неминучую беду.

* * *

Безбрежное море кругом
Лежало в вечернем мерцанье.
Вдвоем на утесе крутом
Сидели мы в грустном молчанье.

В туман облекались струи,
И чайка над нами порхала.
Ты бледные руки свои
Слезами любви орошала.

Безмолвно колени склоня,
К рукам твоим тихо устами
Припал я, и с них ты меня
Поила своими слезами.

С того безотрадного дня
Я высох и сердце изныло...
Слезами своими меня,
Несчастная, ты отравила!

* * *

Объятый туманными снами,
Глядел я на милый портрет,
И мне показалось: я вижу
В нем жизни таинственный след...

Как будто печальной улыбкой
Раскрылись немые уста
И жемчугом слез оросилась
Любимых очей красота.

И сам я невольно заплакал —
Заплакал, грустя и любя...
Ах, страшно поверить!.. Неужто
Я точно утратил тебя?

* * *

Снежная изморозь, ветер,
Слякоть — как быть октябрю...
Сел я от скуки к окошку,
В темень ночную смотрю.

Тусклый вдали огонечек
Виден во мраке сыром:
Это старушка из лавки
Тихо бредет с фонарем.

Верно, мучицы купила,
Масла, яичек пяток:
Хочет большой своей дочке
Сдобный испечь пирожок.

Дочка же дома — уселась
В кресло, и дремлется ей...
Милое личико скрыли
Русые волны кудрей.

* * *

Как сквозь облачного дыма
Виден млечный лунный свет,
Так во тьме былого зрима
Ты, картина светлых лет!

Дружным кругом мы сидели...
Гордо Рейном плыл наш челн.
Под вечерним солнцем рдели
Берега лазурных волн.

Перед женщиной любимой
Я задумчиво сидел...
Блеском вечера палимый,
Бледный лик ее алел.

Все живее, веселее
Раздавалась песнь гребца;
Небо стало голубее,
И просторнее сердца.

Чудным сном мелькали мимо
Замок, роща, горный склон...
Очи женщины любимой
Отражали этот сон.

* * *

Ты, как цветок весенний,
Чиста, нежна, хороша.
Гляжу на тебя — и печалью
Во мне смутилась душа.

С молитвой тебе на головку
Я б руки возложил,
Чтоб бог тебя вечно прекрасной,
Нежной и чистой хранил.

* * *

Пусть на землю снег валится,
Вьюга бешеная злится
И стучится у окна!
Сердца бури не пугают:
В нем живут и расцветают
Образ милой и весна!

* * *

Я к белому плечику милой
Прижался щекою плотней:
Хотелось бы очень подслушать,
Что кроется в сердце у ней.

Трубят голубые гусары
И в город въезжают толпой...
Я знаю, придется, голубка,
Нам завтра расстаться с тобой.

Пожалуй, покинь меня завтра!
Зато ты сегодня моя;
Зато в этих милых объятьях
Сегодня блаженствую я.

* * *

Трубят голубые гусары
И едут из города вон...
Опять я с тобою, голубка,
И розу принес на поклон.

Какая была передряга!
Гусары — народец лихой!
Пришлось и твое мне сердечко
Гостям уступать под постой.

* * *

Я при первой нашей встрече
По глазам твоим, по речи
Угадал любовь твою.
Если б мать тут не стояла,
Ты б на грудь ко мне упала
И сказала мне: «Люблю!»

Завтра снова мне дорога:
Впереди осталось много
Безотрадного пути.
Щелкнет бич у почтальона,
Грустно глянешь ты с балкона,
Грустно молвлю я: «Прости!»

* * *

Смерть — прохладной ночи тень,
Жизнь — палящий летний день.
Близок вечер; клонит сон:
Днем я знойным утомлен.

А над ложем дуб растет,
Соловей над ним поет...
Про любовь поет, и мне
Песни слышатся во сне.

* * *

Дождался я светлого мая;
Цветы и деревья цветут,
И по небу синему, тая,
Румяные тучки плывут.

Запели веселые пташки
В играющей листве лесов,
И белые скачут барашки
На зелени мягких лугов.

Ни петь, ни скакать не могу я...
Больной, я улегся в траве.
Как будто и сплю и не сплю я...
И грезы и звон в голове.

* * *

Глазки весны голубые
Кротко глядят из травы.
Любы вы милой, фиялки:
С полем расстанетесь вы.

Рву я цветы и мечтаю...
В роще поют соловьи...
Боже мой! кто рассказал им
Думы и грезы мои?

Громко они разглашают
Все, что я в сердце таю...
Целая роща узнала
Нежную тайну мою.

* * *

Как трепещет, отражаясь
В море плещущем, луна;
А сама идет по небу
И спокойна и ясна,—

Так и ты идешь, спокойна
И ясна, своим путем;
Но дрожит твой светлый образ
В сердце трепетном моем.

* * *

Священный союз заключили
Горячие наши сердца —
И тесно друг с другом сомкнулись,
Чтоб биться вдвоем до конца.

Была на груди твоей роза
Посредницей наших сердец...
Мы очень теснили бедняжку —
И смяли совсем наконец.

* * *

«Скажи мне, кто вздумал часы изобресть:
В минуты, в секунды все время расчесть?»—
«Холодный и мрачный то был нелюдим:
Он в зимние ночи, хандрою томим,
Все слушал, как мышка скребется в подпечек
Да в щелке кует запоздалый кузнечик».

«А кто изобрел поцелуй и когда?»—
«Пылавшие счастьем и негой уста:
Без счету, без дум целовались они.
То было в прекрасные майские дни...
И солнце играло, и птицы запели,
И ярко цветами луга запестрели!»

* * *

Тот же сон, что снился прежде!
Прежним счастьем вновь живу я...
В той же вешней мир одежде,
Та же нега поцелуя.

Тот же месяц все двурогий
Светит нам; беседка та же;
Те же мраморные боги
У дверей стоят на страже.

Сладкий сон — увы! — минует,
И сердечные обманы
Осень холодом обдует,
Как весенние поляны.

Да! цвести недолго счастью:
И поблекнет и сомнется...
И, покинутое страстью,
Сердце к сердцу не прижмется.

* * *

Тень — любовь твоя и ласки;
Жизнь и счастье наше — тень.
Ах! не верь вчерашней сказке:
Новой былью дышит день.

Мимолетно наслажденье,
Миг любви — неверен он...
В сердце крадется забвенье,
И глаза смыкает сон.

* * *

Корабль мой на черных плывет парусах
По дикой пустыне морей...
Ты знаешь, как больно мне горе мое:
Зачем его делать больней?

Как ветер, изменчиво сердце твое,
Волны оно вольной беглей!..
Корабль мой на черных плывет парусах
По дикой пустыне морей.

* * *

Все море, братья, в час заката
Горит кругом, как золотое...
Когда умру, на дно морское
Усопшего вы бросьте брата!

Мы были долго с морем дружны:
Волною ласковой, бывало,
Так часто скорби утоляло
Оно в груди моей недужной.

* * *

Из края в край твой путь лежит;
    Идешь ты — рад не рад.
По ветру нежный зов звучит —
    И ты взглянул назад.

Твоя любовь в стране родной;
    Манит, зовет она:
«Вернись домой! побудь со мной!
    Ты радость мне одна».

Но путь ведет все в даль и тьму —
    И остановки нет...
Что так любил — навек к тому
    Запал возвратный след.

* * *

Как расстаются двое,
Другу другу руки жмут,
И нет конца прощанью:
Вздыхают, слезы льют.

Без вздохов и без плача
Пошли мы в ро́зный путь...
А вот и слезы льются,
И вздохи давят грудь.

* * *

И розы на щечках у милой моей,
И глазки ее незабудки,
И белые лилии, ручки малютки,
Цветут все свежей и пышней...
Одно лишь сердечко засохло у ней!

* * *

На дальнем небосклоне
Туманною грядой
Встает старинный город,
Одет вечерней мглой.

Кудрявит влажный ветер
Равнину синих вод;
Гребец мой однозвучно
Веслом по влаге бьет.

Заря, чуть теплясь, кажет
Места, где я любил,
Где все, что мило сердцу,
Навек похоронил.

* * *

Лежу ли бессонною ночью
В постели, один, без огня,
Лицо твое с кроткою лаской
Из мрака глядит на меня.

Закрою ль усталые веки
И тихо забудусь во сне —
Твой нежный и ласковый образ
Прокрадется в грезы ко мне.

И утро его не уносит,
Летучие грезы гоня:
Весь день, неразлучно со мною,
Живет он в душе у меня.

* * *

Полно, сердце! что с тобою?
Покорись своей судьбе!
Все, что отнято зимою,
Возвратит весна тебе.

Да и все ли изменило?
Ведь широк господень свет!
Все, что любо, все, что мило,
Все люби — запрету нет!

* * *

Липа вся под снежным пухом,
Ветер ходит по полянам,
Облака немые в небе
Облекаются туманом.

Лес безжизнен, дол пустынен,
Все кругом темно, уныло.
Стужа в поле, стужа в сердце,
Сердце сжалось и застыло.

Вдруг качнулись ветви липы,
С них пушинки полетели...
Весь обсыпан, грустно молвишь:
«Дождался опять метели!»

Но вглядись — и сердце вздрогнет:
То не снег, не иней льдистый,
То цветов весенних белых
Рой пушистый, рой душистый.

Чары чудные свершились!
Дышит маем зимний холод.
Снег стал вешними цветами —
И опять ты сердцем молод!

* * *

Порою картины былого
Встают из забытых могил
И кажут мне, как я когда-то
Вблизи тебя, милая, жил.

По улицам днем я скитался,
Затерянный в грезах больных.
Бывало, все встречные смотрят:
Так был я печален и тих.

Не так было жутко мне ночью:
Все пусто и тихо кругом;
Не сплю только я с своей тенью,
И бродим мы с нею вдвоем.

Как мостом иду я — далеко
Мой шаг раздается звеня;
Из облака выглянет месяц
И грустно глядит на меня.

Вот дом твой. К нему подхожу я,
Смотрю на окно в вышине,
Окно твоей спальни девичьей —
И сердце рыдает во мне.

Я знаю, ты часто с постели
Вставала — взглянуть из окна,
Как, словно статую, сияньем
Меня обливает луна.

* * *

Сердце мне терзали,
Гнали мой покой:
Те — своей любовью,
Те — своей враждой.

Клали в хлеб отраву,
Яд — в напиток мой:
Те — своей любовью,
Те — своей враждой.

Та же, что терзала
Всех больней и злей,—
Ни любви, ни злобы
Не видал я в ней.

* * *

Буря поет плясовую,
Свищет во всю свою мочь...
Пляшет наш бедный кораблик...
Что за разгульная ночь!

По морю буйной ватагой
С грохотом волны бегут;
Черные пасти зияют,
Белые горы встают.

Слышны в каютах проклятья,
Рвота, молитвы и вой.
Крепко держусь я за мачту,
Думаю: буду ль домой?

* * *

Случайно со мной повстречалась
В пути моей милой семья;
И мать, и отец, и сестричка —
Все тотчас узнали меня.

Расспрашивать стали, здоров ли?
И мне говорили: «Ей-ей!
Такой же вы все, как и прежде;
Лишь стали немножко бледней!»

Я тоже спросил их — о тетках,
О братцах, о прочей родне;
Спросил о щеночке, что лаял,
Так нежно ласкаясь ко мне...

Да кстати спросил и о милой:
Я с свадьбы ее не видал...
И дружески мне отвечали:
«На днях ей сыночка бог дал!»

И дружески я их поздравил
И молвил — как мог лишь нежней:
«Ах, будьте добры, передайте
Сердечный поклон мой и ей!»

Сестричка меж тем мне кричала:
«Щеночка уж нет моего!
Был смирный, а вырос — взбесился,
И бросили в речку его!»

Как с милою схожа малютка!
Улыбка — две капли — ее;
И глазки такие же точно,
Что счастье сгубили мое.

* * *

Снова роща зеленеет,
Неги девственной полна;
Солнце весело смеется...
Здравствуй, юная весна!

Соловей! и твой унылый,
Страстный голос слышен вновь;
Звуки плачут и рыдают,
И вся песнь твоя — любовь!

* * *

Как-то раз в потемках жизни
Засиял передо мной
Светлый образ; но погас он —
И я вновь окутан тьмой.

Дети малые в потемках,
Чтобы страх преодолеть
И унять тревогу сердца,
Начинают громко петь.

Вот и я — ребенок глупый —
Точно так пою впотьмах...
Пусть утехи в песне мало,
Да зато прошел мой страх!

* * *

Как из пены волн рожденная,
И прекрасна и пышна,
За другого обрученная,
Дышит прелестью она.

Сердце многотерпеливое!
Не ропщи и не грусти,
И безумство торопливое
Бедной женщине прости.

* * *

Дитя мое, свет глуп и слеп;
Во всех сужденьях ложь.
Он говорит, что у тебя
Характер не хорош.

Дитя мое, свет глуп и слеп;
Тебя ль он оценит?
Не знает он, каким огнем
Твой поцелуй горит.

* * *

Я не ропщу, хоть в сердце стынет кровь,
Моя навек погибшая любовь!
Алмазы, что в кудрях твоих горят,
Ночь сердца твоего не озарят.

Я это знал. Все это снилось мне:
И ночь в твоей сердечной глубине,
И грудь твою грызущая змея,
И как несчастна ты, любовь моя!

* * *

Несчастна ты,— и ропот мой молчит.
Любовь моя, несчастны оба мы!
Пока нам смерть сердец не сокрушит,
Любовь моя, несчастны оба мы!

Как ни играй насмешка на устах,
Как гордо ни вздымайся грудь твоя,

Как ни гори упорный блеск в глазах,
Несчастна ты,— несчастна, как и я.

Незримо скорбь уста твои мертвит,
Глаза пылают, горечь слез тая,
От скрытой язвы грудь твоя болит;
Несчастны оба мы, любовь моя!

* * *

Свадебной радости полны,
Скрипки и флейты поют.
Вот мою милую волны
Быстрого танца несут.

Трубы грохочут; несется
Гул и гуденье и звон;
Тихо меж них раздается
Плачущих ангелов стон.

* * *

Я глазки у милой моей
В прелестных воспел канцонетах;
Румяные губки у ней
В октавах хвалил, в триолетах;
Что личико розы свежей,
Твердил в благозвучных терцетах.
Как жаль, что сердечка в ней нет!
А чудный бы вышел сонет.

* * *

Самоубийц хоронят
Меж четырех дорог;
Растет цветок там синий,
Проклятых душ цветок.

Я плакал мертвой ночью
Меж четырех дорог;
В лучах луны кивал мне
Проклятых душ цветок.

* * *

Когда бы цветы то узнали,
Как ранено сердце мое,
Со мной они плакать бы стали,
Шепча утешенье свое.

Узнай соловьи, как мне трудно,
Каким я недугом томим,—
О, как утешали бы чудно
Они меня пеньем своим!

Узнай мое злое несчастье
И звезды в небесной дали,
Они со слезами участья
Ко мне бы радушно сошли.

Узнать мое горе им трудно,
И знает его лишь одна:
Ведь сердце мне так безрассудно
Сама ж и разбила она!

* * *

Отчего это, милая, розы в цвету
Побледнели? скажи, отчего?
Отчего голубые фиялки в саду
Облетели? скажи, отчего?

Отчего это птицы так тихо поют?
Отчего их напев так уныл?
На лугу, где душистые травы растут,
Отчего слышен запах могил?

Отчего это, прячась среди облаков,
    Солнце злобно глядит на поля?
Отчего это в серый оделась покров
    И глуха и пустынна земля?

Отчего это, милая, болен так я
    И тоска меня злая томит?
О, скажи, отчего, дорогая моя,
    Я покинут тобой и забыт?

* * *

О, я несчастный Атлас! Целый мир,
Да, целый мир скорбей нести я должен.
Я это бремя не снесу, — и сердце
    Готово сокрушиться!

Ты ж, сердце гордое, того хотело!
Ты жаждало иль счастья без конца,
Или хоть бесконечного несчастья.
    Ну, вот ты и несчастно!

* * *

Идет за племем племя,
Идет за годом год;
А все любовь былая
Из сердца вон нейдет.

Лишь раз тебя б увидеть,
И пасть к твоим ногам,
И молвить, умирая:
«Я вас люблю, Madame!»

* * *

Тебя умчит далеко
На крыльях песнь моя:
В долине Ганга знаю
Приют блаженный я.

Там сад цветет и рдеет
Под тихою луной,
И лилии ждут в гости
Сестры своей родной.

Фиялки смотрят в небо
И шепчутся, смеясь;
Лепечут розы сказки,
Друг к другу наклонясь.

Глядит умно и кротко
Газель исподтишка;
Вдали шумит волнами
Священная река.

Там сладко приютиться
Под пальмой в тишине,
Вкушать любовь и негу,
Тонуть в волшебном сне.

Думы

* * *

С толпой безумною не стану
Я пляску дикую плясать
И золоченому болвану,
Поддавшись гнусному обману,
Не стану ладан воскурять.
Я не поверю рукожатьям
Мне яму роющих друзей;
Я не отдам себя объятьям
Надменных наглостью своей
Прелестниц... Шумной вереницей
Пусть за победной колесницей
Своих богов бежит народ!
Мне чуждо идолослуженье;
Толпа в слепом своем стремленье
Меня с собой не увлечет!

Я знаю, рухнет дуб могучий,
А над послушным камышом
Безвредно пронесутся тучи
И прогудит сердитый гром...
Но лучше пасть, как дуб в ненастье,
Чем камышом остаться жить,
Чтобы потом считать за счастье —
Для франта тросточкой служить.

* * *

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые;
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Кто виной? иль воле бога
На земле не все доступно?
Или он играет нами?
Это подло и преступно!

Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?

АФРОНТЕНБУРГ

Проклятый замок! образ твой
Еще мелькает пред очами —
С своими мрачными стенами,
С своей запуганной толпой.

Над кровлей в воздухе чернея,
Вертелся флюгер и скрипел,

И кто лишь рот раскрыть хотел,
На флюгер взглядывал, бледнея.

Не начинал никто речей,
Не справясь с ветром: всяк страшился,
Чтоб не зафыркал, не озлился
Старик придирчивый Борей.

Кто был умней, не молвил слова:
Он знал, что эхо в замке том
Переиначить все готово
Своим фальшивым языком.

В саду, средь зелени убогой,
Темнел гранитный водоем:
Он вечно был с засохшим дном,
Хоть слез в него катилось много.

Проклятый сад! в нем нет угла,
Где б сердца злость не отравляла
И где бы слез моих не пало,
Которым не было числа.

Не счесть и тяжких оскорблений!
Во всех углах я был язвим
То речью, полной ухищрений,
То словом грубо-площадным.

Подслушать мой позор обидный
И жаба черная ползла...
И злую речь потом вела
С своею тетушкой — ехидной.

И — вся их грязная родня —
Лягушки, крысы узнавали,
Как беспощадно оскорбляли
И как позорили меня.

Алели розы, расцветая,
Но рано сбяла их весна —
И, чем-то вдруг отравлена,
Поблекла жизнь их молодая.

С тех пор зачах и соловей,
Чья песнь лилась над сонным садом,
Лаская роз во мгле ночей:
И он отравлен тем же ядом!

Проклятый сад! проклятый! да!
Повсюду клеймы отверженья!
И в ясный день там иногда
Меня пугали привиденья.

Порой мелькал мне чей-то лик —
Зеленый, злобой искаженный...
И слышал вопли я и стоны,
Последний хрип, предсмертный крик.

Террасой к морю сад кончался:
Там о пяты крутой скалы
Хлестали буйные валы —
И вал за валом сокрушался.

Скорбя, что воля хороша,
Стоял я часто там. Синела
Морская даль. Во мне душа
Рвалась, и билась, и кипела...

Кипела, билась и рвалась
Она, как этот вал мятежный,
Что мчится, горд, к скале прибрежной —
И вспять отходит, раздробясь.

О! сколько я судов крылатых
Вдали сквозь слезы различал!
Меня из стен своих проклятых
Проклятый замок не пускал.

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной:
И сном забыться нету мочи,
И горько, горько плачут очи.

Проходят годы чередой...
С тех пор как матери родной
Я не видал, прошло их много!
И все растет во мне тревога...

И грусть растет день ото дня.
Околдовала мать меня:
Все б думал о старушке милой —
Господь храни ее и милуй!

Как любо ей ее дитя!
Пришлет письмо — и вижу я:
Рука дрожала, как писала,
А сердце ныло и страдало.

Забыть родную силы нет!
Прошло двенадцать долгих лет —
Двенадцать лет уж миновало,
Как мать меня не обнимала.

Крепка родная сторона:
Вовек не сломится она
И будут в ней, как в оны годы,
Шуметь леса, катиться воды.

По ней не стал бы тосковать;
Но там живет старушка мать:
Меня не родина тревожит,
А то, что мать скончаться может.

Как из родной ушел земли,
В могилу многие легли,
Кого любил... Считать их стану —
И бережу за раной рану.

Когда начну усопшим счет,
Ко мне на грудь, как тяжкий гнет,
За трупом мертвый труп ложится...
Болит душа, и ум мутится.

Но — слава богу! — сквозь окна
Зарделся свет. Моя жена,
Ясна как день, глядит мне в очи —
И гонит прочь тревоги ночи.

Романсы и баллады

ГРЕНАДЕРЫ

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели,
И оба душой приуныли,
Дойдя до Немецкой Земли.

Придется им — слышат — увидеть
В позоре родную страну...
И храброе войско разбито,
И сам император в плену!

Печальные слушая вести,
Один из них вымолвил: «Брат!
Болит мое скорбное сердце,
И старые раны горят!»

Другой отвечает: «Товарищ!
И мне умереть бы пора;
Но дома жена, малолетки:
У них ни кола ни двора.

Да что мне? просить Христа ради
Пущу и детей и жену...
Иная на сердце забота:
В плену император! в плену!

Исполни завет мой: коль здесь я
Окончу солдатские дни,
Возьми мое тело, товарищ,
Во Францию! там схорони!

Ты орден на ленточке красной
Положишь на сердце мое,
И шпагой меня опояшешь,
И в руки мне вложишь ружье.

И смирно и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу...
Заслышу я конское ржанье,
И пушечный гром, и трубу.

То Он над могилою едет!
Знамена победно шумят...
Тут выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат!»

ГОНЕЦ

Вставай, слуга! коня седлай!
Чрез рощи и поля
Скачи скорее ко дворцу
Дункана короля!

Зайди в конюшню там и жди!
И если кто войдет,
Спроси: которую Дункан
Дочь замуж отдает?

Коль чернобровую — лети
Во весь опор назад!
Коль ту, что с русою косой,—
Спешить не надо, брат.

Тогда ступай на рынок ты:
Купи веревку там!
Вернися шагом — и молчи:
Я угадаю сам.

КОРОЛЬ РИЧАРД

Всадник несется на борзом коне
Свежею пущей лесной;
То запоет он, то в рог затрубит,
Весел и волен душой.

Крепки литые доспехи его,
Дух не сломился от бед.
Он это — Львиное Сердце Ричард,
Божьего воинства цвет.

«Здравствуй на родине! — слышен ему
Радостный лепет ветвей,—
Слава, король наш, что вырвался ты
Цел из австрийских когтей!»

Полною грудью он пьет благодать
Вольного божьего дня;
Вспомнил о смраде австрийской тюрьмы —
Гонит и шпорит коня!

ТРАГЕДИЯ

I

«Беги со мной! будь мне женой!
На сердце отдохни моем!
Оно тебе в стране чужой —
Родимый край, родимый дом.

Иль лягу я в земле сырой,
И будешь в мире ты одна,
И будет дом родимый твой
Тебе чужая сторона!»

II

На поляну иней пал
Середь вешней ночки;
Познобил он, погубил
Алые цветочки.

Темной ночкой с молодцом
Девушка бежала;
Ни родимой, ни отцу
Слова не сказала.

В чужедальной стороне
Горе да несчастье,
И повянули они,
Как цветы в ненастье.

III

Липа их могилу тенью покрывает;
Меж кудрявых веток пташка распевает.
На траве зеленой сели у могилы
Парень деревенский со своею милой.

Тихо и печально ветерок лепечет,
Сладко и уныло пташечка щебечет.
Приумолкли парень и его зазноба...
Отчего — не знают, только плачут оба.

ЖЕНЩИНА

Любовь их была глубока и сильна:
Мошенник был он, потаскушка она.
Когда молодцу сплутовать удавалось,
Кидалась она на кровать — и смеялась.

И шумно и буйно летели их дни;
По темным ночам целовались они.
В тюрьму угодил он. Она не прощалась;
Глядела, как взяли дружка, и смеялась.

Послал он сказать ей: «Зашла бы ко мне!
С ума ты нейдешь наяву и во сне;
Душа у меня по тебе стосковалась!»
Качала она головой — и смеялась.

Чем свет его вешать на площадь вели;
А в семь его сняли — в могилу снесли ..
А в восемь она как ни в чем не бывала,
Вино попивая, с другим хохотала.

РЫЦАРЬ ОЛАФ

I

Кто те двое у собора,
Оба в красном одеянье?
То король, что хмурит брови;
С ним палач его покорный.

Палачу он молвит: «Слышу
По словам церковных песен,
Что обряд венчанья кончен...
Свой топор держи поближе!»

И трезвон — и гул органа...
Пестрый люд идет из церкви.
Вот выводят новобрачных
В пышном праздничном уборе.

Бледны щеки, плачут очи
У прекрасной королевны;
Но Олаф и бодр и весел,
И уста цветут улыбкой.

И с улыбкой уст румяных
Королю он молвит: «Здравствуй,
Тесть возлюбленный! Сегодня
Я расстанусь с головою.

Но одну исполни просьбу:
Дай отсрочку до полночи,
Чтоб отпраздновать мне свадьбу
Светлым пиром, шумной пляской!

Дай пожить мне! дай пожить мне!
Осушить последний кубок,
Пронестись в последней пляске!
Дай пожить мне до полночи!»

И король угрюмый молвит
Палачу: «Даруем зятю
Право жизни до полночи...
Но топор держи поближе!»

II

Сидит новобрачный за браным столом;
Он кубок последний наполнил вином,
К плечу его бледным лицом припадая,
Вздыхает жена молодая.
Палач стоит у дверей!

«Готовятся к пляске, прекрасный мой друг!»
И рыцарь с женою становятся в круг.
Зажегся в их лицах горячий румянец —
И бешен последний их танец...
Палач стоит у дверей!

Как весело ходят по струнам смычки,
А в пении флейты как много тоски!
У всех, перед кем эта пара мелькает,
От страха душа замирает...
Палач стоит у дверей!

А пляска все вьется, и зала дрожит.
К супруге склоняясь, Олаф говорит:
«Не знать тебе, как мое сердце любило!
Готова сырая могила!»
Палач стоит у дверей!

III

Рыцарь! полночь било... Кровью
Уплати проступок свой!
Насладился ты любовью
Королевны молодой.

Уж сошлись во двор монахи —
За псалмом поют псалом...
И палач у черной плахи
Встал с широким топором.

Озарен весь двор огнями...
На крыльце Олаф стоит —
И, румяными устами
Улыбаясь, говорит:

«Слава в небе звездам чистым!
Слава солнцу и луне!
Слава птицам голосистым
В поднебесной вышине!

И морским водам безбрежным!
И земле в дарах весны!
И фиялкам в поле — нежным,
Как глаза моей жены!

Надо с жизнью расставаться
Из-за этих синих глаз...
Слава роще, где видаться
Мы любили в поздний час!»

ГАРАЛЬД ГАРФАГАР

Король Гаральд на дне морском
Сидит под синим сводом
С прекрасной феею своей...
А год идет за годом.

Не разорвать могучих чар;
Ни смерти нет, ни жизни!
Минуло двести зим и лет
Его последней тризне.

На грудь красавицы склонясь,
Король глядит ей в очи;
Дремотной негою объят,
Глядит и дни и ночи.

Златые кудри короля
Иссеклись, побелели,
В морщинах желтое лицо,
Нет сил в поблекшем теле.

Порой тревожит страстный сон
Какой-то грохот дальний:
То буря на̀ море шумит —
Дрожит дворец хрустальный.

Порою слышит Гарфагар
Норманский клик родимый:
Поднимет руки — и опять
Поникнет, недвижимый.

Порой до слуха долетит
И песнь пловца над морем,
Что про Гаральда сложена́:
Стеснится сердце горем...

Король застонет, и глаза
Наполнятся слезами...
А фея льнет к его устам
Веселыми устами.

ГАСТИНГСКОЕ ПОЛЕ

Глубоко вздыхает вальтамский аббат;
Дошли к нему горькие вести:
Проигран при Гастингсе бой — и король,
Убитый, остался на месте.

Зовет он монахов и им говорит:
«Ты, Асгод, ты, Эльрик,— вы двое —
Идите, сыщите вы труп короля
Гарольда меж жертвами боя!»

В печали монахи на поиск пошли;
Вернулись к аббату в печали.
«Нерадостна, отче, господня земля:
Ей дни испытаний настали!

О, горе нам! пал благороднейший муж,
И воля ничтожных над нами:
Грабители делят родную страну —
И делают вольных рабами.

Паршивый норманский оборвыш — увы! —
Британским становится лордом;
Везде щеголяют в шитье золотом,
Кого колотили по мордам!

Несчастье тому, кто саксонцем рожден!
Нет участи горше и гаже.
Враги наши будут безбожно хулить
Саксонских святителей даже!

Узнали мы, что́ нам большая звезда
Кровавым огнем предвещала,
Когда на горящей метле в небесах
Средь темной полночи скакала.

Сбылося предвестье, грозившее нам
И нашей отчизне бедами!
Мы были на Гастингском поле, отец:
Завалено поле телами.

Бродили мы долго, искали везде,
Надеждой и страхом томимы...
Увы! королевского тела нигде
Меж трупами там не нашли мы!»

Так молвили Асгод и Эльрик. Аббат,
Сраженный их вестью жестокой,
Поник головою — и молвил потом
Монахам с тоскою глубокой:

«Живет в гриндельфильдском дремучем лесу,
Сношений с людьми не имея,
Одна, в беззащитной избушке своей,
Эдифь Лебединая Шея.

Была как у лебедя шея у ней,
Бела, и стройна, и прекрасна,
И в бозе почивший король наш Гарольд
Когда-то любил ее страстно.

Любил он ее, целовал и ласкал;
Потом разлюбил и покинул.
За днями шли дни, за годами года:
Шестнадцатый год тому минул.

Идите вы, братие, в хижину к ней...
Туда вы поспеете к ночи...
Возьмите с собою на поиск Эдифь:
У женщины зоркие очи.

Вы труп короля принесете сюда;
Над нашим почившим героем
По чину мы долг христианский свершим
И с почестью тело зароем».

Уж в полночь монахи к избушке лесной
Пришли — и стучатся. «Скорее
С постели вставай и за нами иди,
Эдифь Лебединая Шея!

Нас герцог норманский в бою победил,
И много легло нас со славой;
Но пал под мечом и король наш Гарольд
На гастингской ниве кровавой!

Пришли тебя звать мы — искать, где лежит
Меж мертвыми наш повелитель:
Найдя, понесем мы его хоронить
В священную нашу обитель».

Ни слова не молвя, вскочила Эдифь
И вышла к монахам босая.
Ей ветер полночный трепал волоса,
Седые их космы вздувая.

Пошли. По оврагам, по топям и пням
Вела их лесная жилица...
И вот показался утес меловой,
Как в небе зажглася денница.

Белея, как саван, взвивался туман
Над полем сраженья; взлетали
С кровавыми клювами стаи ворон —
И дико и мерзко кричали.

Ограблены, голы, без членов, черны,
Валялися трупы повсюду:
Там люди лежали, тут лошадь гнила,
Давя безобразную груду.

Бродила Эдифь по равнине, где меч
Разил и губил без пощады;
Из глаз неподвижных метала она,
Как стрелы, пытливые взгляды.

В крови по колени ходила Эдифь;
Порой рукавами рубахи
От мертвых гнала она стаи ворон.
За нею плелися монахи.

Весь день проискала она короля.
Закат был как зарево красен...
Вдруг бедная с криком поникла к земле.
Пронзительный крик был ужасен!

Нашла Лебединая Шея, нашла,
Кого так усердно искала!
Не молвила слова, и слез не лила,
И к бледному лику припала...

Лобзала его и в чело и в уста,
И жалась лицом к его стану;
Лобзала на мертвой груди короля
Кровавую черную рану.

Потом увидала на правом плече
(И к ним приложилась устами)
Три рубчика: в чудно-блаженную ночь
Она нанесла их зубами.

Монахи две жерди меж тем принесли,
И доску к жердям привязали,
И нá доску подняли труп короля
В глубокой, безмолвной печали.

В обитель святую его понесли —
Отпеть и предать погребенью;
За трупом любви своей тихо Эдифь
Пошла похоронною тенью.

И пела надгробные песни она —
Так жалобно-детски!... Звучали
Напевы их скорбно в ночной тишине...
Монахи молитву шептали.

БОГОМОЛЬЦЫ В КЕВЛАРЕ

I

Старушка у окошка;
В постели сын больной.
«Идет народ с крестами:
Не встанешь ли, родной?»

«Ах, болен я, родная!
В глазах туман и мгла.
Все сердце изболело,
Как Гретхен умерла».

«Пойдем в Кевлар! Недаром
Туда народ бежит:
Твое больное сердце
Мать божья исцелит».

Хоругви тихо веют,
Церковный хор поет,
И вьется вдоль по Рейну
Из Кёльна крестный ход.

В толпе бредет старушка,
И с нею сын больной.
«Хвала тебе, Мария!» —
Поют они с толпой.

II

Мать божия в Кевларе
Вся в лентах и цветах,
И идут к ней больные
С молитвой на устах...

И, вместо дара, члены
Из воску ей несут —

Тот руку, этот ногу,
И исцеленья ждут.

Принес из воска руку —
И заживет рука;
Принес из воска ногу —
И заживет нога.

На клюшках ковылявший
Плясать и прыгать стал;
Руками не владевший
На скрипке заиграл.

И мать слепила сердце
Из свечки восковой...
«Снеси к пречистой! снимет
Недуг твой как рукой».

Взял сын, вздыхая, сердце;
Пред ликом девы пал...
Из глаз струились слезы;
Он плакал и шептал:

«Пречистая! святая!
Слезам моим вонми!
Небесная царица!
Печаль мою прими!

Я жил на Рейне, в Кёльне,
С родимою моей,
В том Кёльне, где так много
Часовен и церквей.

Там Гретхен... Ах, не встать ей
Из-под сырой земли!..
О дева пресвятая!
Мне сердце исцели!

Сними недуг ты с сердца,
И чистою душой
Век воспевать я буду
Хвалу тебе, святой!»

III

В каморке тесной спали
И мать и сын больной.
Вошла к ним матерь божья
Неслышною стопой.

К больному наклонилась,
С улыбкой провела
Ему рукой по сердцу —
И, светлая, ушла.

А мать во сне все видит...
Проснулась на заре.
Встает и слышит — лают
Собаки на дворе.

Сын нем и неподвижен —
Следа в нем жизни нет;
На бледные ланиты
Ложится утра свет.

И мать скрестила руки,
Покорна и ясна.
«Хвала тебе, Мария!» —
Молилася она.

АСРА

Каждый день порой вечерней
Дочь султана молодая
Тихо по саду проходит
Близ журчащего фонтана.

Каждый день порой вечерней
У журчащего фонтана
Молодой стоит невольник.
С каждым днем он все бледнее.

Раз к нему подходит быстро
С быстрой речью дочь султана:

«Знать хочу твое я имя;
Кто ты родом и откуда?»

Отвечает ей невольник:
«Магомет я, из Емена,
Родом Асра; все мы в роде
Умираем, как полюбим!»

ПАСТОР

Сквозь о́блака месяц осенний
Прорезался бледным серпом.
Стоит одинок у кладбища
Пастора-покойника дом.

Старуха над библией дремлет,
Сын тупо на свечку глядит,
Дочь старшая сонно зевает,
А младшая дочь говорит:

«Ах, господи! дни-то здесь, дни-то:
Сидишь — не дождешься конца.
Одно развлеченье, как в церковь
Отпеть принесут мертвеца!»

Старуха, очнувшись, ей молвит:
«Не ври! схоронили всего
Троих с той поры, как зарыли
В могилу отца твоего!»

«Здесь с голоду ноги протянешь! —
Промолвила старшая дочь.—
Давно меня граф подзывает...
Пойду к нему: стало невмочь!»

«Троих я молодчиков знаю!—
Смеясь, перебил ее брат.—
Пойду с ними денежки делать...
В лесу им что кустик, то клад!»

В худое лицо ему книгу
Швырнула, вся бледная, мать:
«Так будь же ты проклят, разбойник,
Коль стал грабежи замышлять!»

Вдруг стукнуло что-то в окошко,
И кто-то рукой им грозит...
Глядят: в облачении черном
Покойник-отец там стоит.

АЛЬМАНЗОР

I

Исполинские колонны —
Счетом тысяча и триста —
Подпирают тяжкий купол
Кордуанского собора.

Купол, стены и колонны
Сверху донизу покрыты
Изреченьями корана
В завитках и арабесках.

Храм воздвигли в честь Аллаха
Мавританские халифы;
Но поток времен туманный
Изменил на свете много.

На высоком минарете,
Где звучал призыв к молитве,
Раздается христианский
Глупый колокол, не голос.

На ступенях, где читалось
Слово мудрое пророка,
Служат жалкую обедню
Бестолковые монахи.

Перед куклами своими
И кадят и распевают...
Дым, козлиное блеянье —
И мерцанье глупых свечек!

Альманзо́р Бен-Абдулла́
Молчалив стоит в соборе,
На колонны мрачно смотрит
И слова такие шепчет:

«О могучие колонны!
В честь Аллы вас украшали,
А теперь служить должны вы
Ненавистным христианам!

Покорилися вы року —
И несете ваше бремя
Терпеливо; как же слабый
Человек не присмиреет?»

И с веселою улыбкой
Альманзор чело склоняет
К изукрашенному полу
Кордуанского собора.

II

Быстро вышел он из храма,—
На лихом коне помчался;
Раздувалися по ветру
Кудри влажные и перья.

По дороге к Алколее
Вдоль реки Гвадальквивира,
Где цветет миндаль душистый
И лимоны золотые,—

Там веселый мчится рыцарь,
Распевает и смеется —
И ему и птицы вторят
И реки журчащей воды.

Донья Клара де Альварес
Обитает в Алколее...
Без отца (он на войне)
Ей житье привольней в замке.

Издалека Альманзору
Слышны трубы и литавры —
И сквозь тень дерев струится
Яркий свет из окон замка.

В замке весело танцуют...
Там двенадцать дам-красавиц
И двенадцать кавалеров...
Альманзор — владыка бала.

Легок, весел он порхает
По паркету светлой залы,
Ловко всем прекрасным дамам
Рассыпает комплименты.

Вот он возле Изабеллы —
Страстно руки ей целует;
Вот он около Эльвиры —
И глядит ей страстно в очи;

Вот смеется с Леонорой:
«Что, хорош ли я сегодня?»
И показывает даме
Крест, нашитый на плаще.

Всех красавиц уверяет
Он в любви и постоянстве;
И Христом божится в вечер
Тридцать раз — по крайней мере.

III

Танцы, музыка и говор
Смолкли в замке алколейском.
Нет ни дам, ни кавалеров,
Всюду свечи догорели.

Лишь вдвоем остались в зале
Альманзор и донья Клара;
Их мерцаньем обливает
Догорающая лампа.

В мягких креслах донья Клара,
На скамейке дремлет рыцарь,
Головой припав усталой
На любимые колени.

Дама розовое масло
Льет с любовью из флакона
На его густые кудри —
И глубоко он вздыхает.

Тихо нежными устами
Шевеля, целует донья
Кудри рыцаря густые —
И чело его темнеет.

Из очей ее прекрасных
Льются слезы на густые
Кудри рыцаря — и рыцарь
Злобно стискивает губы.

Снится: он опять в соборе
С наклоненной головою
Молчалив стоит и слышит
И глухой и мрачный говор.

Слышит — ропщут, негодуя,
Исполинские колонны,
Не хотят терпеть позора
И колеблются со стоном.

Покачнулись — треск и грохот;
Люди в ужасе бледнеют;
Купол падает в осколках...
Воют боги христиан.

ВАЛТАСАР

Полночный час уж наступал;
Весь Вавилон во мраке спал.

Дворец один сиял в огнях,
И шум не молк в его стенах.

Чертог царя горел как жар:
В нем пировал царь Валтасар,—

И чаши обходили круг
Сиявших златом царских слуг.

Шел говор: смел в хмелю холоп;
Разглаживался царский лоб,—

И сам он жадно пил вино.
Огнем вливалось в кровь оно.

Хвастливый дух в нем рос. Он пил
И дерзко божество хулил.

И чем наглей была хула,
Тем громче рабская хвала.

Сверкнувши взором, царь зовет
Раба и в храм Еговы шлет,

И раб несет к ногам царя
Златую утварь с алтаря.

И царь схватил святой сосуд.
«Вина!» Вино до края льют.

Его до дна он осушил
И с пеной у рта возгласил:

«Во прах, Егова, твой алтарь!
Я в Вавилоне бог и царь!»

Лишь с уст сорвался дерзкий клик,
Вдруг трепет в грудь царя проник.

Кругом угас немолчный смех,
И страх и холод обнял всех.

В глуби чертога на стене
Рука явилась — вся в огне...

И пишет, пишет. Под перстом
Слова текут живым огнем.

Взор у царя и туп и дик,
Дрожат колени, бледен лик.

И нем, недвижим пышный круг
Блестящих златом царских слуг.

Призвали магов; но не мог
Никто прочесть горящих строк.

В ту ночь, как теплилась заря,
Рабы зарезали царя.

РАТКЛИФ

Бог сна меня унес в далекий край,
Где ивы так приветно мне кивали
Зелеными и длинными руками;
Где на меня цветы смотрели нежно
И ласково, как любящие сестры;
Где родственно звучал мне голос птиц;
Где даже самый лай собак казался
Давно знакомым,— где все голоса,
Все образы здоровались со мной,

Как с другом старым; но где все при этом
Являлось мне так чуждо — странно-чуждо.
Перед красивой деревенской дачей
Стоял я. Грудь как будто содрогалась,
Но в голове моей спокойно было.
И я спокойно отряхнул с дорожной
Одежды пыль,— и за звонок взялся.
Он зазвенел, и двери отворились.

Тут было много женщин и мужчин,
Все лиц знакомых. Тихая печаль
И робко затаенный страх лежали
На них на всех. Как будто смущены,
Они смотрели на меня так странно,
С каким-то состраданьем,— и по сердцу
Вдруг быстрый трепет у меня прошел
Предвестием неведомого горя.
Я тотчас же старуху Маргариту
Узнал и на нее взглянул пытливо.
Она не говорила. «Где Мария?»—
Спросил я,— и она, не отвечая,
Взяла мне руку и пошла со мной
По множеству блестящих длинных комнат,
Где царствовали роскошь, свет и всюду
Безмолвие могилы. Наконец
Мы очутились в сумрачном покое,
И, отвернувшись от меня лицом,
Она мне показала на софу.
«Мария, вы ли это?» — я спросил
И твердости вопроса своего
Сам подивился. Каменно и глухо
Послышался мне голос: «Да, меня
Так называют люди». Острой болью
По мне слова те пробежали. Этот
Тупой, холодный звук был все ж когда-то
Прекрасным, нежным голосом Марии.
И эта женщина, в своем поблекшем
Лиловом платье, кое-как надетом,
С отвисшими грудями, с неподвижно
Стоящими стеклянными зрачками
И с бледной, вялой кожей на щеках,—

Да, эта женщина была когда-то
Цветущей, нежной, милою Марией.
«Вы долго путешествовали, друг,—
Она сказала с пошлой и холодной
Развязностью.— Теперь не так вы хилы;
Поздоровели, пополнели вы;
Живот и икры очень округлились».
И сладкая улыбка пробежала
У ней по желтым, высохшим губам.
В смущенье, машинально я сказал:
«Вы замуж вышли, говорили мне».—
«Ах, да! — она сказала равнодушно
И с громким смехом,— у меня теперь
Полено есть, обтянутое кожей,
И мужем называется. Конечно,
Полено — все полено». И беззвучно,
Противно засмеялася она.
Холодный страх стеснил мне грудь, и я
Подумал: «Это ль чистые уста —
Как розы, чистые уста Марии?»
Она тут поднялась, взяла со стула
Поспешно шаль, накинула ее,
И, опираясь на руку мою,
Меня с собою быстро повлекла
В отворенную дверь,— и дальше, дальше —
Лугами, полем и опушкой леса.

Как огненный венец, катилось солнце
К закату, в пурпуре его горели
Цветы, деревья и река, вдали
Струившаяся строго-величаво.
«Как блещет это пламенное око
В лазури вод!» — воскликнула Мария.
«Молчи, несчастная!» — сказал я ей.
И предо мною в заревом мерцанье
Свершалось будто сказочное что-то.
В полях туманные вставали лики,
И обнимались белыми руками,
И исчезали. С нежностью любви
Фиялки любовались друг на друга;
Один к другому припадали страстно

Венцы лилей; порывисто дышали,
В горячей неге замирали розы;
Огнем вилось дыхание гвоздик,—
И все цветы в благоуханье млели,
Все обливались страстными слезами,
Шептали все: «Любовь! любовь! любовь!»
Порхали мотыльки; жучки, как искры,
Мелькали, напевая песню эльфов.
Вечерний ветер чуть дышал, и тихо
Шептались листья дуба. Соловей
Как будто таял в звуках чудной песни.
Под этот шепот, шелест, звон и пенье
Мне женщина увядшая болтала,
Склоняясь к моему плечу, несносным,
Холодным, будто оловянным тоном:
«Я знаю, в ночь вы бродите по замку.
Высокий призрак — малый недурной;
На все сквозь пальцы смотрит он; а тот,
Что в голубом,— небесный ангел. Только
Вот этот красный очень вас не любит».
И много диких слов, еще пестрее,
Она твердила мне без перерыву,
Пока не утомилась и не села
Со мною рядом на скамье под дубом.
Сидели мы уныло и безмолвно,
Порою взглядывали друг на друга,
И все грустнее становились оба.
Казалось, вздох предсмертный проходил
По листьям дуба; соловей на нем
Пел песнь неисцелимой, вечной скорби.
Но сквозь листы прокрался алый свет
И лег на белое лицо Марии,
И вызвал блеск в ее глазах,— и прежним,
Мне милым голосом она сказала:
«Как ты узнал, что так несчастна я?
Прочла я все в твоих безумных песнях».

Мороз прошел по телу у меня;
Я ужаснулся своего безумья,
Прозревшего в грядущее; мой мозг
Как будто вдруг погас,— и я проснулся.

РАДОСТЬ И ГОРЕ

Радость — резвая гризетка —
Посидит на месте редко...
Раз-другой поцеловала —
И, гляди, уж убежала!

А старуха Горе дружно
Приласкает, приголубит:
Торопиться ей не нужно —
Посидеть с работой любит.

ОГЛЯДКА НА ПРОШЛОЕ

Благоуханий кухни дольной
Понюхал вволю я, друзья!
Земная жизнь была привольной,
Блаженной жизнью для меня.
Я кофе пил и ел пастеты,
Прекрасной куколкой играл,
Носил атласные жилеты,
В тончайшем фраке щеголял;
В карманах брякали червонцы...
А что за конь! а что за дом!
Я жил беспечным богачом...
Под золотою лаской солнца
В Долине Счастья я лежал.
Венок лавровый обвивал
Мое чело; благоухая,
Он погружал в отрадный сон,
И в область роз, в отчизну мая
Тем сном я был переселен.
Все чувства сладостно дремали...
Блажен, без дум и без забот,
Я млел... и сами мне влетали
Бекасы жареные в рот.
Порой какой-то чудный гений
Уста шампанским мне кропил...

То были грезы, рой видений!
Они исчезли. Стар и хил,
Лежу теперь в траве росистой.
Как я озяб! как воздух мглистый
Мне давит грудь!.. Не встану я:
Недуг убил во мне все силы,
И, чуя близкий зов могилы,
Устыжена душа моя...
За радости — за миг их каждый —
Досадой горькой я платил;
Томясь и голодом и жаждой,
Я ел полынь и уксус пил;
Мой день заботы отравляли
Пустой и мелкой суетой,
И комары всю ночь жужжали
Над горемычной головой.
Мне поневоле приходилось
И лгать и деньги занимать,
И чуть ли даже не случилось
С сумою по миру сбирать.
Теперь устал я от тревоги,
Устал от бед и от скорбей,
И, протянув в могиле ноги,
Желал бы выспаться скорей...
Прощайте! Там, за гробом, братья,
Я вас приму в свои объятья!

В МАЕ

Кого я любил и кого целовал,
От тех я и худшее зло испытал.
Разбито сердце! А небо блещет;
Все вешнею негой горит и трепещет.

Цветет весна. Опушились леса;
В них весело птичьи звенят голоса
И запах цветов раздражительно-сладок...
О мир прекрасный! как ты мне гадок!

Милей бы мне Орка подземная мгла:
Там резких контрастов душа б не нашла!

Сносней для сердец, неусыпно болящих,
У темных вод Стикса, немолчно журчащих.

Их вечный ропот меж черных плит,
И мерзостный крик стимфалид,
И фурий пронзительно-дикое пенье,
И Цербера лай в отдаленье —

Всё кстати пришлось бы там скорби моей!
В унылой юдоли, средь царства теней,
В проклятых владеньях твоих, Персефона,
Все создано только для вопля и стона.

А здесь — о ужас! — здесь все: небеса,
И солнце, и розы — язвят мне глаза,
И май надо мной насмехается ясный...
О, как ты гадок мне, мир прекрасный!

УМИРАЮЩИЕ

Солнца, счастья шел искать...
Наг и плох вернулся вспять.
И белье и упованья
Истаскал в своем скитанье.

Скуден силой, худ лицом...
Но — утешься! близко дом.
Как у матери любимой,
Сладко спать в земле родимой.

А иной в пути стал хром —
Не вернется в отчий дом.
Плачет в горе безутешном...
Боже! смилуйся над грешным!

СКОРБЬ ВАВИЛОНСКАЯ

Смерть меня кличет, моя дорогая!
О! для чего, умирая —
О! для чего, умирая любя,
Я не в лесу покидаю тебя?..

В темном лесу, где погибель таится,
Неотразимо грозна,
Волк завывает, коршун гнездится,
С бешеным хрюканьем бродит веприца,
Бурого вепря жена.

Смерть меня кличет... О горе!
Лучше бы в утлом челне
Бросил средь бурного моря
Я существо, драгоценное мне!..
Яростно воет и волны вздымает
Там ураган;
Будит на дне и наверх высылает
Страшных чудовищ своих океан;
Все там грозит неминучей напастью:
Мчится акула с разинутой пастью,
Вынырнул жадный кайман.

Верь мне, о друг мой прекрасный!
Как ни опасно
В море сердитом, во мраке лесном,
Вдвое опаснее — где мы живем.
Верь мне: ужаснее волка, веприцы,
Злее акул и всех чудищ морских
Звери Парижа, всемирной столицы,
В играх и песнях и плясках своих.
Замерло сердце, и разум мутится...
Вкруг сироты моей, дурью объят,
Этот блестящий Париж суетится,
Дьяволам — рай, ангелам — ад!

Что так жужжит вкруг постели?
Черные мухи — озлобленный рой...
Боже! откуда они налетели!
Свет застилая, кишат предо мной...
Ná нос и нá лоб садятся — кусают...
Точно людские, глаза у иных...
Эта вон с хоботом... Страшно мне их!
Прочь! отвяжитесь!.. Еще налетают...
Словно свинцом придавило мне грудь...
Жить уж немного...
Стук в голове — и возня — и тревога:
Знать, мой рассудок сбирается в путь!

ENFANT PERDU [1]

Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал.

Я день и ночь стоял не засыпая,
Пока в палатках храбрые друзья
Все спали, громким храпом не давая
Забыться мне, хоть и вздремнул бы я.

А ночью — скука, да и страх порою.
(Дурак лишь не боится ничего.)
Я бойким свистом или песнью злою
Их отгонял от сердца моего.

Ружье в руках,— всегда на страже ухо...
Чуть тварь какую близко разгляжу,
Уж не уйдет! Как раз дрянное брюхо
Насквозь горячей пулей просажу.

Случалось, и такая тварь, бывало,
Прицелится — и метко попадет.
Не утаю — теперь в том проку мало —
Я весь изранен; кровь моя течет.

Где ж смена? Кровь течет; слабеет тело...
Один упал — другие подходи!
Но я не побежден: оружье цело,
Лишь сердце порвалось в моей груди.

ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ

У кого есть много, тот
Еще более возьмет;
А как мало, у того
И последнее уйдет.

---

[1] Здесь — солдат, добровольно вызвавшийся выполнять опасное поручение (*франц.*).

Если ж нету ничего,
В гроб ложись,— единый путь!
Право жить дано лишь тем,
У кого есть что-нибудь.

ОБОРВАНЦЫ

Богатых можно приобресть
Лишь плоской лестью нам с тобой:
Ведь деньги плоски, милый мой,
И плоская нужна им лесть.

Усердней ладаном кури
Пред каждым золотым тельцом,
Лежи в пыли, в навозе лбом,
Лишь в меру не хвали смотри!

Хлеб дорог: все неурожай;
Слова ж не стоят ничего.
Пой мецената, пса его,
И с богом брюхо набивай!

ОСТЫВШИЙ

Когда умрешь, в земле лежать
Придется долго без движенья.
Боюсь, придется долго ждать
Мне дня из мертвых воскресенья.

Пока свет жизни не погас,
Не перестало сердце биться,
Еще хотелось бы мне раз
Любовью женской насладиться.

Блондинку бы! чтоб кроткий взгляд
Сиял, как свет луны спокойной:
Пред смертью был плохой бы лад
С брюнеткою, как солнце знойной.

Кто молод, полон свежих сил,
Тот хочет страстных бурь, волнений...
И клятвы, и ревнивый пыл...
Чтó шуму, гаму! чтó мучений!

Мне лет и сил не воротить,—
И о страстях чужда мне дума.
Хотел бы тихо я любить,
Хотел бы счастлив быть без шума.

ВОСПОМИНАНИЕ

Тем — жемчуг, тем — щебень в волнах океана.
О Вильгельм Визецкий, ты умер так рано!
Зато котенок спасен.

Доска подломилась, куда ты взмостился;
В глубокую воду с доски ты свалился.
Зато котенок спасен.

Гроб милого мальчика мы проводили;
Средь ландышей вешних его схоронили.
Зато котенок спасен.

Ты умница был,— удалился ты рано
К пристанищу мира,— не ждал урагана.
Зато котенок спасен.

Ты умница был,— ты ушел от волненья;
Ты прежде болезни нашел исцеленье.
Зато котенок спасен.

Как часто над ранней твоею кончиной
Я думаю с завистью, с горькой кручиной.
Зато котенок спасен.

НЕСОВЕРШЕНСТВО

Ни в чем нет совершенства в этом мире:
В колючках даже пышной розы цвет;
Я думаю, без недостатков нет
И ангела в заоблачном эфире.

Тюльпан не пахнет, как ни мил для глаз;
И честность, говорят, иным не к роже;
Не заколись Лукреция — как раз,
Пожалуй, забеременела б тоже.

На гнусных лапах движется павлин;
Милейшая из женщин может сплин
И скуку нам нагнать, как «Генриада»
Вольтерова иль даже «Мессиада».

Нет по-испански знающих коров;
Не знает Массман двух латинских слов.
Зад мраморной Венеры слишком гладок;
Нос Массмана уж слишком мал и гадок.

В душистом соте — жала берегись!
Как часто плохи рифмы в песне сладкой!
И Ахиллес был с уязвимой пяткой;
И Александр Дюма (отец) — метис!

Звезде небес — как ярко б ни сияла —
Порой упасть бывает суждено;
Нередко пахнет бочкою вино;
И в самом солнце пятен есть не мало!

И ты, мой свет, так сладко не гляди!
И ты от недостатков не изъята.
Чего же нет — ты спросишь — у тебя-то?
Да груди нет, и нет души в груди.

БЛАГОЧЕСТИВОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Осторожней, душа ты бессмертная, будь,
Чтоб беды не случилось с тобою,
Как расстанешься с жизнью земною.
Среди смерти и ночи лежит тебе путь.

Пред столицею света, у врат золотых,
На часах стоят божьи солдаты.
Спросят только про то, как жила ты;
А про имя и званье нет спроса у них.

Оставляет у входа пришелец земной
Обувь пыльную, жавшую ноги.
Проходи! Тут найдешь ты с дороги
Хоры музыки — мягкие туфли — покой!

Разные стихотворения

* * *

Есть в старых сказках золотые замки,
Где арфы раздаются, пляшут девы,
Блестят одежды слуг и ароматом
Жасмин и мирт и розы сладко дышат.
Но стоит произнесть зарок волшебный —
И вмиг вся эта пышность разлетится,
И старые останутся обломки,
Да крик совы полночной, да болото.
Вот так и я одним волшебным словом
Со всей природы снял очарованье.
Бледна, мертва и холодна, лежит
Она передо мной, как царский труп,
Что нарядили в гроб: покрыли щеки
Румянами и в руки дали скипетр.
Но все желты поблекшие уста:
Их позабыли также нарумянить...
И мыши скачут под носом и дерзко
Над золотом и пышностью смеются.

ВИЦЛИ-ПУЦЛИ

ПРЕЛЮДИЯ

Вот она, Америка!
Вот он, вот он, Новый Свет!
Не теперешний, что начал
Увядать в европеизме.

Вот он, Новый Свет, в том виде,
Как он только что Колумбом
Извлечен из Океана!
Влажной свежестью он дышит...

Весь осыпан и обрызган
Словно жемчугом — и ярко
Разгорается под солнцем.
Сколько в нем здоровья, силы!

Не кладбище романтизма
Этот свет,— не куча хлама,
Крытых плесенью симвóлов,
Париков окаменелых.

На его здоровой почве
Все здоровые деревья:
Ни в одном нет байронизма,
Ни в одном — спинной сухотки.

На ветвях сидят, качаясь,
Птицы в ярких, пестрых перьях;
Как в очках, глаза их блещут
В круглых черных ободочках.

Важно длинный клюв насупив,
На меня все молча смотрят;
Но, всмотревшись, начинают
Тараторить, как торговки.

Что кричат, не понимаю,
Хоть не хуже Соломона,
Мужа тысячи красавиц,
Я языки птичьи знаю.

Соломон же, как известно,
Знал все птичьи диалекты,—
И не только все живые,
Но и вымершие даже.

Здесь, на новой почве, новы
И цветы и ароматы.
Ароматы эти страстно
Раздражают обонянье...

Нежат, тешат и щекотят...
И мой нос в недоуменье
Трудным мучится вопросом:
Где духи такие нюхал?

Может быть, на Риджент-стрите,
На груди у знойно-желтой,
Гибкой, стройной той яванки,
Что всегда цветы жевала?

Или, может, в Роттердаме,
Близко статуи Эразма,
В белой вафельной лавчонке,
За таинственной гардиной?

Но пока в таком смущенье
Новый Свет я созерцаю,
Сам я, кажется, внушаю
Вдвое большее смущенье.

Увидав мою фигуру,
В куст шмыгнула обезьяна

И, крестясь, кричит в испуге:
«Призрак! призрак старосветский!»

Обезьяна! не пугайся!
Я не призрак, не виденье;
Жизнь в моих струится жилах;
Верь, я сын вернейший жизни!

Но я долго был в сношеньях
С мертвецами — и усвоил
От покойников манеры
И их тайные причуды.

Годы юности цветущей
Проводил я в Венусберге,
Да в Кифгейзере, и в разных
Катакомбах романтизма.

Не пугайся, обезьяна!
Я люблю тебя... Я вижу
На твоей блестящей, голой,
Гладкой заднице три цвета:

Черный, красный, золотистый!
Эти три любезных цвета
Мне родные,— и я с грустью
Вспомнил знамя Барбароссы.

I

Он ходил в венке лавровом,
В золотых блестящих шпорах,
А героем все же не был,—
Да плохой он был и рыцарь.

Был разбойничьей он шайки
Атаманом,— в книгу славы
Кулаком вписал он наглым
Имя наглое Кортеса.

Он под именем Колумба
Расписался в ней,— и каждый
Школьник нынче вместе учит
Наизусть два эти имя.

За Колумбом Христофором
И Кортеса Фердинанда
Он зовет великим мужем
В новосветном пантеоне.

О, игра судьбы лукавой!
Вместе с именем героя
Слито имя прощелыги
У людей в воспоминанье.

Уж не лучше ли безвестно
Кануть в вечное забвенье,
Чем влачить с собой в соседстве
В даль веков такое имя?

Христофор Колумб родился
Быть героем. Он как солнце
Светел был великим духом;
Да и щедр он был как солнце.

Были люди, что и прежде
Нам давали много; он же
Подарил нас целым светом,
Что Америкою назван.

Он не мог людей избавить
Из глухой земной темницы;
Но темницу им раздвинул
И длиннее цепь им сделал.

И его чтут свято люди,
Изнывавшие от скуки
И в Европе и в пределах
Африканских и азийских.

Лишь один из всех героев
Подарил нам нечто больше,
Чем Колумб, и нечто лучше.
Это тот, что дал нам бога.

Мать его Иохабетой,
А отца Амрамом звали;
Самого же — Моисеем.
Он-то мой герой любимый!

Но Пегас мой слишком долго
Застоялся пред Колумбом;
А сегодня я в герои
Взял себе как раз Кортеса.

Поднимайся, конь летучий!
И меня на пестрых крыльях
В Новый Свет неси,— в тот чудный
Край, что Мексикой зовется!

В тот дворец меня неси ты,
Где державный Монтесума
Дал гостям своим испанцам
Так радушно помещенье!

И не только кров и пищу
В самом щедром изобилье,
Но и множество подарков
Получили проходимцы.

Кучи редкостных изделий,
Золотых, массивных, ценных,
В ярком свете выставляли
Благодушие монарха.

Он, слепой язычник, чуждый
Просвещения Европы,
Еще верил в честность, в верность,
В святость прав гостеприимства.

Снизошел он и на просьбу
Удостоить посещеньем

Пир, что в честь ему испанцы
Дать в дворце своем хотели.

Простодушен и доверчив,
Царь с придворной свитой прибыл
На испанскую квартиру —
И концертом встречен трубным.

Как торжественная пьеса
Называлась, я не знаю...
Может, «Верностью испанской»!
Но Кортес был автор пьесы.

Дал сигнал он,— и мгновенно
Монтесуму окружили
И, связавши, удержали
У себя как аманата.

Тут и умер он.— Тогда-то
Прорвалися все заплоты,
Что от гнева мексиканцев
Дерзких выходцев спасали.

Страшно буря разразилась!
Словно бешеное море,
Лезли с воем ближе, ближе
Волны гневного народа.

Храбро гости отбивали
Каждый штурм. Но с каждым утром
Начинался новый приступ,—
И испанцы утомились.

Как не стало Монтесумы,
Истощились и припасы.
Сократилися закуски —
И повытянулись лица.

Отощавшие испанцы
Друг на друга лишь смотрели
Да вздыхая вспоминали
Христианскую отчизну,

Где их сердцу все родное:
И гуденье колоколен,
И шипенье на жаровне
Смачной оллеа-потриды...

Под распаренным горошком
Все наложены колбаски
С чесноком и соблазняют
Аппетитно-сладким паром.

Вождь созвал совет военный,—
И решили отступленье:
Завтра, самым ранним утром,
Выйдет и́з городу войско.

Без труда оно вступило
В город, хитростью Кортеса;
Но в обратный путь грозили
Роковые затрудненья.

Город Мексико построен
Весь на острове — и гордо
Среди озера большого
Поднимается, как крепость,

Сообщаясь с берегами
На плотах лишь да на лодках,
Иль по гатям да мостами
На громадных черных сваях.

Еще солнце не всходило,
Как пустились в путь испанцы;
Барабан не бил тревоги,
Не трубил трубач похода.

Сладкий сон своих хозяев
На рассвете потревожить
Не хотелось им. (Сто тысяч
Было в Мексико индейцев.)

Но испанцы собралися
Уходить, не расплатившись,

И гораздо раньше встали
В это утро мексиканцы.

На мостах, плотах и гатях
Собрались они и ждали,
Чтоб гостям на расставанье
Поднести прощальный кубок.

На мостах, плотах и гатях
Завязалася пирушка!
Кровь лилась рекой багровой,
И борьба на смéрть кипела.

С грудью грудь они боролись —
И оттискивались ясно
На груди индейцев голой
Арабески лат испанских.

То-то было рубки, давки!
И отчаянная свалка
Страшно медленно клубилась
Вдоль мостов, плотов и гатей.

Мексиканцы дико пели
И визжали, а испанцы
Бились молча, покупая
Каждый шаг свой свежей кровью.

В тесноте и давке мало
Было проку от военных
Европейских ухищрений:
От коней, от лат и пушек,

Да к тому ж иной испанец
Много золота награбил
И трудненько подвигался
Со своей греховной ношей.

Из-за адского металла
Очень многим приходилось
Погубить не только душу,
Но и тело вместе с нею.

Той порою челноками
Сплошь все озеро покрылось.
С челноков летели стрелы
На мосты, плоты и гати.

Попадали в суматохе
И в своих они, конечно;
Но немало положили
И изящнейших гидальго.

На одном мосту свалился
Дон Гастон, державший знамя
Со святым изображеньем
Богородицы Марии.

Даже в этот образ стрелы
Мексиканцев попадали:
Шесть блестящих стрел воткнулись
Прямо в сердце — и остались,

Как мечи те золотые,
Что в великий пост пронзают
Грудь у Mater Dolorosa [1]
На процессиях церковных.

Дон Гастон, прощаясь с жизнью,
Знамя передал Гонсальву;
Но и тот, стрелой сраженный,
Мертвый наземь покатился.

Сам Кортес, сам полководец,
Знамя взял — и нес высоко
Над конем весь день, до ночи,
До конца упорной битвы.

В битве с лишком полтораста
В этот день легло испанцев;
С лишком восемьдесят взяли
В плен живыми мексиканцы.

---

[1] Скорбная мать, богородица (*лат.*).

Много раненных смертельно
После умерло. Средь боя
Лошадей двенадцать было
Иль убито, или взято.

Только к ночи рать Кортеса
Добралась до твердой почвы,
Где лишь несколько плакучих
Ив росло, к воде склоняясь.

II

За кровавым днем сраженья
Наступила ночь триумфа.
Сотни тысяч ярких плошек
Всюду в Мексико пылают.

В свете сотен тысяч плошек
И в огне костров смолистых
Как в дневном стоят сиянье
Все дома, дворцы и храмы,—

И кумирня Вицли-Пуцли,
Что своей кирпично-красной
Массой так напоминает
Колоссальные строенья

Ассириян, вавилонян
И египтян, как их видим
Мы в изящнейших рисунках
Генри Мартина, британца.

Те ж громадные террасы,
По которым кверху, книзу,
Вдоль и вширь свободно ходит
Много тысяч мексиканцев.

На ступенях всюду группы
Диких воинов пируют,
В опьяненье от победы
И от пальмового сока.

К кровле храма эти всходы
Поднимаются зигзагом,—
К окруженной балюстрадой
И громаднейшей платформе.

Там на жертвеннике-троне
Восседает сам великий
Вицли-Пуцли, кровожадный
Бог войны. Он страшно злобен.

Но наружность так затейна
И так вычурно-забавна,
Что при тайном содроганье
Смех невольно возбуждает.

Замечаешь в нем, вглядевшись,
Будто родственное что-то
С Бледной базельскою Смертью
И с брюссельским Манкен-Писсом.

Справа все стоят миряне;
Все попы стоят налево.
В ризы из узорных перьев
Облачилось духовенство.

А на мраморных ступеньках
Алтаря сидит столетний,
Безволосый, безбородый
Человечек в красной куртке.

Это жрец главнейший. Точит
Он ножи свои; с усмешкой
Точит их,— и все порою
Смотрит искоса на бога.

И, как будто понимая
Эти взгляды, Вицли-Пуцли
И ресницами моргает
И сжимает даже губы.

Тут же жмутся на ступеньках
Храмовые музыканты
С барабанами, с рогами.
Треск и стон стоит ужасный!

Треск и стон стоит ужасный!
Вот и певчие запели
Мексиканское «Te deum» —
Ну, точь-в-точь мяучат кошки!

Да, точь-в-точь мяучат кошки,
Но из крупной той породы,
Что людей хватают вместо
Крыс — и тиграми зовутся!

И лишь только эти звуки
Донесет на берег ветер,
У испанцев, там приставших,
Заскребут на сердце кошки.

Там, под ивами, уныло
Все стоят они и смотрят...
Смотрят пристально на город,
Отражающий на темной

Влаге озера, как будто
Им назло, огни триумфа.
Все стоят как бы в партере
Колоссального театра.

Кровля ж храма Вицли-Пуцли
Вся сияет, словно сцена.
Там играют в честь победы
Нынче пьесу под заглавьем:

«Человеческая жертва».
Содержанье очень древне —
И не так ужасно в нашей
Христианской обработке,

Где вкушаем вместо крови
Мы вино, а вместо тела

Лишь безвредную лепешку
Из муки обыкновенной.

Но не то у этих диких!
Шутка их грозна, серьезна:
Телом будет — точно тело,
Кровью будет — кровь людская.

И на этот раз обилье
Христианской чистой крови,
Не мешавшейся издавна
С кровью мавров иль евреев!

Веселися, Вицли-Пуцли!
Вдоволь есть испанской крови!
Теплым паром этой крови
Ты потешишь обонянье.

Нынче восемьдесят с лишком
Пред тобой врагов заколют;
Будет славное жаркое
У жрецов твоих на ужин.

Ведь жрецы такие ж люди,
И должны, как все, питаться,
И, конечно, жить не могут
Только запахом, как боги.

Чу! вот в смертные литавры
Бьют! вот громко рог рокочет!
Это знак, что уж восходят
К кровле жертвы на закланье.

Да, позорно обнаженных,
Пленных тащат и волочат
По ступеням,— закрутили
За спиной им крепко руки.

Перед ликом Вицли-Пуцли
Силой ставят на колени
И к потешной пляске нудят
Их кровавым истязаньем.

От ужасных мук испанцы
Так кричат и стонут громко,
Что за воплями их глохнет
Каннибальский гам и грохот.

Жутко публике! Кортесу
И его дружине слышны
Эти вопли. Все в тех воплях
Голоса друзей узнали.

И на ярко освещенной
Сцене все им ясно видно —
И фигуры и движенья;
Видно нож, и кровь им видно.

Тут испанцы сняли шлемы,
Опустились на колени,
Стали петь псалом надгробный,
Стали петь и «De profundis».

Среди тех, что умирали,
Был Раймондо де Мендоса,
Сын прекрасной аббатиссы,
Молодой любви Кортеса.

Как у юноши на шее
Медальон с ее портретом
Увидал Кортес,— слезами
У него глаза затмило.

Но он вытер эти слезы
Жесткой кожаной перчаткой,
Глубоко вздохнул — и начал
Петь с другими: «Miserere!»

III

Все бледней мерцают звезды
И над озером туманы
Поднялись, как привиденья,
Волоча свой белый саван.

Пир погас, огни потухли;
И попы и прихожане
Разлеглись на кровле храма
И храпят на лужах крови.

Нету сна лишь красной куртке.
При огне последней лампы
С сладострастно-злобным визгом
Жрец лепечет истукану:

«Вицли-Пуцли! Пуцли-Вицли!
Мой божочек Вицли-Пуцли!
Позабавился ты нынче
И понюхал ароматов.

Недурна ведь кровь испанцев?
Как дымилась аппетитно!
А твой лакомый носишко
Так и лоснился довольством!

Завтра мы коней заколем,
Благородно ржущих чудищ.
Духи ветра их родили,
Любодействуя с моржами.

Будь умен,— и я зарежу
Для тебя обоих внуков,
Мальчуганов с сладкой кровью,
Услаждающих мне старость.

Только будь умен — и больше,
Больше дай побед нам новых!
Дай побед нам, мой божочек!
Пуцли-Вицли! Вицли-Пуцли!

Истреби врагов ты наших,
Этих выходцев, приплывших
К нам из дальних и доныне
Не открытых стран заморских!

Что им дома не жилося?
Голод гнал, иль преступленье?

Правду молвит поговорка:
От добра добра не ищут!

Что им нужно? Набивают
Нашим золотом карманы
И хотят, чтоб нам блаженство
Где-то на́ небе досталось.

Нам сперва казалось — это
Существа породы высшей,
Дети солнца; им, бессмертным,
Гром и молния подвластны.

Но они такие ж люди,
Так же смертны! Нынче ночью
Я ножом своим изведал
Человечность их и смертность.

Те же люди! и не лучше
Нашей братьи. А иные
Есть и гаже обезьяны:
Обросла вся рожа шерстью.

Говорят, в штанах запрятан
У иных и хвост такой же.
Если ты не обезьяна,
И штанов тебе не нужно!

Да и нравственно-то гадки!
Ничего им нет святого:
Слышал я, что пожирают
И своих богов-то даже.

Истреби ты этих гнусных
Нечестивцев, богоедов!
Дай побед нам, Вицли-Пуцли!
Вицли-Пуцли! Пуцли-Вицли!»

И в ответ жрецу раздался
Голос бога,— грустный, хриплый
И глухой, как ветер ночи,
Речь ведущий с камышами:

«Жрец ты мой! мясник кровавый!
Резал ты народу много.
Наточи теперь свой ножик,
Распори себе ты брюхо!

Из распоротого брюха
Упрыгнет душа,— поскачет
По каменьям, пням и кочкам
На лягушечью трясину.

Там сидит царица Жаба,
Тетка мне. Она промолвит:
«Здравствуй, душенька! Здоров ли
Мой племянничек любезный?

Как-то он в сиянье солнца
Вицли-пуцельствует нынче?
Все ль отмахивает счастье
От него и мух и думы?

Иль в железных, черных лапах,
Омоченных в яд ехидны,
Он сидит у Кацлагары,
Злой богини бед и горя?»

Отвечай, душа без тела:
«Шлет поклон свой Вицли-Пуцли
И от всей души желает,
Чтоб тебе, проклятой, лопнуть!

Ты войну ему внушила,
И совет твой стал бедою.
Наступает исполненье
Горьких древних предсказаний,

Что погибель будет царству
От пришельцев с бородами;
Что с Востока принесут их
Деревянные к нам птицы.

Есть и старое присловье:
Бабья воля — божья воля!

Божья воля крепче вдвое,
Если баба — матерь божья.

А она мне и враждебна,
Гордая царица неба,
Непорочная девица,
Чудотворка, чародейка.

Под ее щитом испанцы
Победят нас,— и погибну
Я, из всех богов жалчайший,
С бедной Мексикою вместе».

Как исполнишь порученье,
Пусть душа твоя в трясину
Заползет — и спит спокойно,
Чтоб моих не видеть бедствий.

Этот храм падет; а сам я
Погребусь в огне и дыме
И в развалинах,— и больше
Никому меня не видеть.

Но я буду жив: мы, боги,
Долголетней попугаев;
Как они же, мы линяем
И меняем только перья.

В край врагов моих, известный
Под названием Европы,
Я уйду. Мне там открыта
Будет новая карьера.

Превращусь из бога в черта,
Адским пугалом там стану
И, как злейший враг, с врагами
Поступать начну жестоко.

Стану их терзать и мучить
И пугать толпой видений;
Предвкушенье ада, серу,
Всюду нос их будет чуять.

Мудрецов их, дураков их
Соблазнять начну я; стану
Щекотить их добродетель,
Чтоб она как б.... смеялась.

Да, я буду чертом, чертом!
И сведу теснее дружбу
С Астаротом, Вельзевулом,
Сатаной и Велиалом.

И с тобой сойдусь я, Лили,
Мать греха, змея ползунья.
Ты изящному искусству
Лжи и зла меня научишь.

Милой Мексики не в силах
Я спасти от разрушенья;
Но отмщу ужасной местью
Я за Мексику родную!»

ЮДОЛЬ ПЛАЧА

Как свищет ветер в эту ночь!
На чердаке не спится
В углу двум бедным существам.
У них так бледны лица!

Она лепечет: «Обними,
Обвей меня руками,—
И я согреюсь. Дай прижмусь
К твоим губам губами».

Он говорит: «Когда гляжу
В твои родные очи,
Забыты холод, голод — все,
Чего забыть нет мочи».

Они целуются в слезах,
Жмут руки и вздыхают,
Смеются,— даже петь хотят...
Вот смолкли — засыпают.

Квартальному и с ним врачу
Поутру было дело:
Пришлось свидетельствовать им
Два свежих мертвых тела.

Осенний ветер — врач решил —
При пустоте в желудке
Простуду произвел — и смерть.
Ведь с ним плохие шутки!

«При наступленье холодов,—
Сказал,— всего умнее —
Под теплым одеялом спать
И кушать поплотнее».

УМНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Не всякий цветок
Спасется от ног,—
И редкий останется целым:
Все ходят полями
И мнут сапогами
Головки и робким и смелым.

Хоть жемчуг целей
В пучине морей,
Но мы и его добываем:
Сверлим его зерна
И после позорно
На шелковый шнур их вздеваем.

Как звезды умны!
Мы им не страшны:
Чуждаясь земного предела,
Они средь эфира,
Как светочи мира,
Стоят невредимо и цело.

* * *

Заставь горячими клещами
Меня щипать, лицо мне рвать,
Сечь розгами, хлестать плетями,—
Не заставляй лишь только ждать!

Заставь мне пыткою ужасной
Все кости вывихнуть, сломать,—
Не заставляй лишь ждать напрасно:
Страшнее муки нет, как ждать!

Вчера прождал я в этой муке
Тебя с полудня до шести.
Ты не пришла. Кусая руки,
Я был готов с ума сойти!

Меня душило нетерпенье,
Как змей. У двери зазвонят —
Вскочу... Не ты!.. В изнеможенье,
Как труп, я падаю назад.

Ты не пришла. Я рвусь и ною;
А в уши шепчет сатана:
«Безумец старый! над тобою
Не потешается ль она?»

Северное море

Часть первая

КОРОНОВАНИЕ

Песни, вы, добрые песни мои!
Вставайте! наденьте доспехи!
Трубите в трубы
И на щите поднимите
Мою красавицу!

Отныне всевластной царицей
В сердце моем она будет
Царить и править.

Слава тебе, молодая царица!

От солнца далекого я оторву
Клочок лучезарного,
Багряного золота
И сотку из него
Венец на чело твое царское;
От тонкой лазурной
Шелковой ткани небесного полога,
Осыпанной яркими
Алмазами ночи,
Отрежу кусок драгоценный
И им, как царской порфирой,
Одену твой царственный стан.
Я дам тебе свиту
Из щепетильно-нарядных сонетов,
Терцин горделивых и вежливых стансов;
У тебя скороходами будут
Мои остро́ты,
Придворным шутом —
Моя фантазия,
Герольдом с смеющейся слезкой в щите —
Мой юмор;
А сам я, царица,
Сам я колени склоню пред тобой
И, присягая тебе, поднесу
На бархатной алой подушке
Ту малую долю рассудка,
Что мне из жалости
Оставила прежняя
Царица моя.

СУМЕРКИ

На бледном морском берегу
Сидел одинок я и грустно-задумчив.
Все глубже спускалось солнце, бросая

Багровый свой свет полосами
По водной равнине,
И беглые, дальние волны,
Приливом гонимые,
Шумно и пенясь бежали
К берегу ближе и ближе.
В чудном их шуме
Слышался шепот и свист,
Смех и роптанье,
Вздохи и радостный гул, и порой
Тихо-заветное,
Будто над детскою люлькою, пенье...
И мне казалось,
Слышу я голос забытых преданий,
Слышу старинные чудные сказки —
Те, что когда-то ребенком
Слыхал от соседних детей,
Как все мы, бывало,
Вечером летним теснимся
Послушать тихих рассказов
На ступеньках крыльца,
И чутко в нас бьется
Детское сердце,
И с любопытством глядят
Умные детские глазки;
А взрослые девушки
Из-за душистых цветочных кустов
Глядят через улицу в окна...
На розовых лицах улыбка —
И месяц их облил сияньем.

ЗАКАТ СОЛНЦА

Огненно-красное солнце уходит
В далеко волнами шумящее,
Серебром окаймленное море;
Воздушные тучки, прозрачны и алы,
Несутся за ним; а напротив,
Из хмурых осенних облачных груд,
Грустным и мертвенно-бледным лицом

Смотрит луна; а за нею,
Словно мелкие искры,
В дали туманной
Мерцают звезды.

Некогда в небе сияли,
В брачном союзе,
Луна-богиня и Солнце-бог;
А вкруг их роились звезды,
Невинные дети-малютки.

Но злым языком клевета зашипела,
И разделилась враждебно
В небе чета лучезарная.

И нынче днем в одиноком величии
Ходит пó небу солнце,
За гордый свой блеск
Много молимое, много воспетое
Гордыми, счастьем богатыми смертными.
А ночью
По небу бродит луна,
Бедная мать,
Со своими сиротками-звездами,
Нема и печальна...
И девушки любящим сердцем
И кроткой душою поэты
Ее встречают
И ей посвящают
Слезы и песни.

Женским незлобивым сердцем
Все еще любит луна
Красавца мужа,
И под вечер часто,
Дрожащая, бледная,
Глядит потихоньку из тучек прозрачных,
И скорбным взглядом своим провожает
Уходящее солнце,
И, кажется, хочет
Крикнуть ему: «Погоди!
Дети зовут тебя!»
Но упрямое солнце

При виде богини
Вспыхнет багровым румянцем
Скорби и гнева
И беспощадно уйдет на свое одинокое,
Влажно-холодное ложе.

Так-то шипящая злоба
Скорбь и погибель вселила
Даже средь вечных богов,
И бедные боги
Грустно проходят по нéбу
Свой путь безутешный
И бесконечный,
И смерти им нет, и влачат они вечно
Свое лучезарное горе.

Так мне ль — человеку,
Низко поставленному,
Смертью одаренному,—
Мне ли роптать на судьбу?

НОЧЬ НА БЕРЕГУ

Ночь холодна и беззвездна;
Море кипит, и над морем,
На́ брюхе лежа,
Неуклюжий северный ветер
Таинственным,
Прерывисто-хриплым
Голосом с морем болтает,
Словно брюзгливый старик,
Вдруг разгулявшийся в тесной беседе...
Много у ветра рассказов —
Много безумных историй,
Сказок богатырских, смешных до уморы,
Норвежских саг стародавних...
Порой средь рассказа,
Далеко мрак оглашая,
Он вдруг захохочет
Или начнет завывать
Заклятья из Эдды и руны,

Темно-упорные, чаро-могучие...
И мóря белые чада тогда
Высоко скачут из волн и ликуют,
Хмельны разгулом.

Меж тем по волной-омоченным пескам
Плоского берега
Проходит путник,
И сердце кипит в нем мятежней
И волн и ветра.
Куда он ни ступит,
Сыплются искры, трещат
Пестрых раковин кучки...
И, серым плащом своим кутаясь,
Идет он быстро
Средь грозной ночи.
Издали манит его огонек,
Кротко, приветно мерцая
В одинокой хате рыбачьей.

На море брат и отец,
И одна-одинешенька в хате
Осталась дочь рыбака —
Чудно-прекрасная дочь рыбака.
Сидит перед печью она и внимает
Сладостно-вещему,
Заветному пенью
В котле кипящей воды,
И в пламя бросает
Трескучий хворост,
И дует на пламя...
И в трепетно-красном сиянье
Волшебно-прекрасны
Цветущее личико
И нежное белое плечико,
Так робко глядящее
Из-под грубой серой сорочки,
И хлопотливая ручка-малютка...
Ручкой она поправляет
Пеструю юбочку
На стройных бедрах.

Но вдруг распахнулась дверь,
И в хижину входит
Ночной скиталец.
С любовью он смотрит
На белую, стройную девушку,
И девушка трепетно-робко
Стоит перед ним — как лилея,
От ветра дрожащая.
Он наземь бросает свой плащ,
А сам смеется
И говорит:
«Видишь, дитя, как я слово держу!
Вот и пришел, и со мною пришло
Старое время, как боги небесные
Сходили к дщерям людским,
И дщерей людских обнимали,
И с ними рождали
Скипетроносных царей и героев,
Землю дививших.
Впрочем, дитя, моему божеству
Не изумляйся ты много!
Сделай-ка лучше мне чаю — да с ромом!
Ночь холодна; а в такую погоду
Зябнем и мы,
Вечные боги,— и ходим потом
С наибожественным насморком
И с кашлем бессмертным!»

ПОСЕЙДОН

Солнце играло лучами
Над вечно-зыблемым морем;
Вдали на рейде
Блестел корабль, на котором
Домой я ехать собрался.
Да не было ветра попутного —
И я еще мирно сидел
На белой отмели
Пустынного берега
И песнь Одиссея читал —
Старую, вечно-юную песнь...

И со страниц ее, морем шумящих,
Радостно веяло мне
Дыханьем богов,
И светозарной весной человека,
И небом Эллады цветущим.

Благородное сердце мое
Всюду верно следило
За сыном Лаэрта в скорбях и скитаньях:
Садилось, печальное, с ним
За радушный очаг,
Где царицы пурпур прядут;
И лгать и бежать ему помогало
Из объятий нимф, из пещер исполинов;
И в киммерийскую ночь
Его провожало;
Было с ним в бурю — в крушенье,
И несказанное
Терпело горе.

Я вздохнул и сказал:
«Злой Посейдон!
Гнев твой ужасен,
И сам я боюсь не вернуться на родину».

Лишь только я молвил,
Запенилось море,
И из белых волн поднялась
Осокóю венчанная
Глава владыки морей,
И он воскликнул с насмешкой:

«Не бойся, поэтик!
Поверь, я не трону твой бедный кораблик
И жизнь твою драгоценную
Не стану смущать опасною качкой.
Ведь ты, поэтик,
Меня никогда не гневил; ни единой
Башенки ты не разрушил в священном
Граде Приама;
Ни волоска не спалил ты в реснице
Моего Полифема,—

И никогда не давала
Мудрых советов тебе
Богиня ума, Паллада Афина».

Молвил — и снова
В море нырнул Посейдон...
И над грубою шуткой
Моряка под водой засмеялись
Амфитрита, нелепая женщина-рыба,
И глупые дочки Нерея.

ПРИЗНАНИЕ

Тихо с сумраком вечер подкрался;
Грозней бушевало море...
А я сидел на прибрежье, глядя
На белую пляску валов,
И сердце мне страстной тоской охватило —
Глубокой тоской по тебе,
Прекрасный образ,
Всюду мне предстающий,
Всюду зовущий меня,
Всюду — всюду —
В шуме ветра, и в рокоте моря,
И в собственных вздохах моих.

Легкою тростью я написал на песке:
«Агнеса!
Я люблю тебя!»
Но злые волны плеснули
На нежное слово любви
И слово то стерли и смыли.

Ломкий тростник,
Зыбкий песок и текучие волны!
Вам я больше не верю!
Темнеет небо — и сердце мятежней во мне...
Мощной рукою в норвежских лесах
С корнем я вырву
Самую гордую ель, и ее обмакну
В раскаленное Этны жерло,

И этим огнем-напоенным
Исполинским пером напишу
На темном своде небесном:
«Агнеса!
Я люблю тебя!»

И каждую ночь будут в небе
Неугасимо гореть письмена золотые,
И все поколения внуков и правнуков
Будут ликуя читать
Слова небесные:
«Агнеса!
Я люблю тебя!»

НОЧЬЮ В КАЮТЕ

Свои у моря перлы,
Свои у неба звезды.
Сердце, сердце мое!
Своя любовь у тебя.

Велики море и небо;
Но сердце мое необъятней...
И краше перлов и звезд
Сияет и светит любовь моя.

Прекрасное дитя!
Прийди ко мне на сердце!
И море, и небо, и сердце мое
Томятся жаждой любви.

К голубой небесной ткани,
Где так чудно блещут звезды,
Я прижался бы устами
Крепко, страстно — бурно плача.

Очи милой — эти звезды.
Переливно там играя,
Шлют они привет мне нежный
С голубой небесной ткани.

К голубой небесной ткани,
К вам, родные очи милой,
Простираю страстно руки
И прошу и умоляю:

Звезды-очи! кротким миром
Осените вы мне душу!
Пусть умру — и буду в небе,
В вашем небе, вместе с вами!

Из очей небесных льются
В сумрак трепетные искры,
И душа моя все дальше,
Дальше рвется в страстной скорби.

Очи неба! ваши слезы
Лейте мне в больную душу!
Пусть душа моя слезами,
Переполнясь, захлебнется!

Убаюканный волнами,
Будто в думах, будто в грезах,
Тихо я лежу в каюте,
В уголке, на темной койке.

В люк мне видны небо, звезды...
Звезды ясны и прекрасны...
Это — радостные очи
Дорогой, родной и милой.

Эти радостные очи
Не дремля следят за мною
Кротким светом и приветом
С голубой, небесной выси.

И гляжу я ненаглядно,
Страстно в небо голубое...
Только б вас, родные очи,
Не подернуло туманом!

В дощатую стену,
Куда я лежу головой,
Грезами полной,
Стучатся волны — буйные волны.
Они шумят и бормочут
Мне под самое ухо: «Безумный!
Рука у тебя коротка,
А небо далеко,
И звезды там крепко
Золотыми гвоздями прибиты.
Напрасно тоскуешь, напрасно вздыхаешь...
Уснул бы... право, умней!»

Мне снился тихий дол в краю безлюдном;
Как саван, белый снег на нем лежал.
Под белым снегом я в могиле спал
Сном одиноким, мертвым, беспробудным.

Но теплились, средь ночи голубой,
Родные звезды над моей могилой.
Их взор горел победоносной силой,
Любовью безмятежной и святой.

БУРЯ

Ярится буря
И хлещет волны,
И волны, в пене и гневной тревоге,
Громоздятся высоко,
Словно зыбкие белые горы,
И кораблик на них
Взбирается с тяжким трудом —
И вдруг свергается
В черный, широко разинутый зев
Водной пучины.

О море!
Мать красоты, из пены рожденной!
Праматерь любви! пощади меня!
Уж чует труп и порхает над нами

Белым призраком чайка,
И точит о мачту свой клюв
И, жадная, алчет сердца,
Что звучит хвалою
Дщери твоей,
Что взято в игрушки плутишкою внуком твоим.

Мои моленья напрасны!
Глохнет мой голос в грохоте бури,
В диком шуме ветров.
Что за гам и за свист! что за рев и за вой!
Словно все море —
Дом сумасшедших звуков.
Но меж звуками теми
Мне слышится внятно
Чудное арфы бряцанье,
Страстное, душу влекущее пенье —
Душу влекущее, душу зовущее...
И узнаю я тот голос.

Далеко, на темных утесах
Шотландского берега,
Где лепится серым гнездом
Замок над гневно-бьющимся морем,—
Там, под стрельчатым окном,
Стоит прекрасная
Больная женщина,
Нежно-прозрачная, мраморно-бледная,
И поет и на арфе играет,
А ветер взвевает ей длинные кудри
И темную песню ее
Несет по широкому, бурному морю.

МОРСКАЯ ТИШЬ

Тишь и солнце! Свет горячий
Обнял водные равнины,
И корабль златую влагу
Режет следом изумрудным.

У руля лежит на брюхе
И храпит усталый боцман;

Парус штопая, у мачты
Приютился грязный юнга.

Щеки пышут из-под грязи;
Рот широкий, как от боли,
Стиснут; кажется, слезами
Брызнут вдруг глаза большие.

Капитан его ругает,
Страшно топая ногами...
«Как ты смел — скажи, каналья!
Как ты смел стянуть селедку?»

Тишь и гладь! Со дна всплывает
Рыбка-умница; на солнце
Греет яркую головку
И играет резвым плесом.

Но стрелой из поднебесья
Чайка падает на рыбку —
И с добычей в жадном клюве
Снова в небе исчезает.

МОРСКОЙ ПРИЗРАК

А я лежал на краю корабля и смотрел
Дремотным оком
В зеркально-прозрачную воду,
Все глубже и глубже
Взглядом в нее проникая...
И вот в глубине, на самом дне моря,
Сначала как будто в тумане,
Потом все ясней и ясней,
Показались церковные главы и башни,
И наконец, весь в сиянии солнца,
Целый город,
Старобытно-фламандский,
С живою толпою народной.
Важные граждане в черных плащах,
В белых фрезах, в почетных цепях,
С длинными шпагами, с длинными лицами

Проходят по рыночной площади,
Народом кипящей,
К ратуше
С высоким крыльцом,
Где каменной стражей
Стоят императоров статуи
С мечами и скиптрами.
Неподалеку, вдоль длинного ряда домов,
Где окна так ярко блестят,
Где пирамидами липы подстрижены,
Гуляют, шелком платьев шумя,
Стройные девушки,
И их цветущие лица
Скромно глядят из-под шапочек черных
И из-под золота пышных волос.
Мимо гордо проходят,
Им головою кивая,
Пестрые франты в испанском наряде.
Старые женщины в желтых
Полинявших платьях,
Со святцами, с четками
Мелкими идут шажками к собору...
Уж с башен благовест льется,
А в церкви орган загудел.

И меня самого эти дальние звуки
Охватили таинственным трепетом...
Бесконечная, страстная грусть
И глубокая скорбь
Тихо крадутся в сердце ко мне —
Едва исцеленное сердце...
И кажется, будто сердечные раны мои
Уста любимые
Лобзаньями вновь открывают,
И снова кровь из них льется —
Горячими, красными каплями,
И капли те падают тихо,
Тихо, одна за другой,
На старый дом, в том глубоком,
Подводном городе,
На старый, с высокою кровлею дом,
Унылый, пустой и безлюдный...
Только внизу, под окном,

Сидит пригорюнясь там девушка —
Словно бедный, забытый ребенок...
И я знаю тебя, мое бедное
Дитя позабытое!

Так вот куда,
В какую глубокую глубь
От меня ты скрылась
Из детской прихоти,
И выйти уж больше на свет не могла,
И сидела одна, как чужая,
Средь чуждых людей,
Меж тем как, скорбный душою,
По целой земле я искал тебя —
Все только искал тебя,
Вечно-любимая,
Давно-утраченная,
Наконец-обретенная!
Да, я нашел тебя — и опять
Вижу прекрасное
Лицо твое, вижу глаза,
Умные, преданно-добрые,
Милую вижу улыбку...
И уж теперь не расстанусь с тобой,
И к тебе низойду,
И, раскрывши объятья,
Припаду на сердце к тебе!

Но вовремя тут капитан
Схватил меня за ногу,
И дальше от края меня оттащил,
И молвил, сердито смеясь:
«В уме ли вы, доктор!»

ОЧИЩЕНИЕ

Останься в морской глубине ты,
Безумная греза,
Ты, некогда много ночей
Мне сердце лживым счастьем терзавшая,
А ныне, призраком в лоне морском,

Мне и средь белого дня угрожающая!
Останься ты в бездне на вечные веки!
И я заодно к тебе сброшу
Все мои скорби и все прегрешения,
И шапку безумства, звеневшую
Так долго над жалкой моей головой,
И гладко-холодную
Змеиную кожу
Лицемерия,
Что долго так душу мою обвивала —
Душу больную,
Бога отвергшую, небо отвергшую,
Окаянную душу!
Ой-гой! Ветер крепнет!
Вверх паруса!.. Заплескали они и надулись...
Вдоль по погибельно-тихой равнине
Несется корабль —
И ликует душа на свободе!

Часть вторая

УТРЕННИЙ ПРИВЕТ

Фалатта! Фалатта!
Привет тебе, вечное море!
Привет тебе десять тысяч раз
От ликующего сердца,—
Такой, как некогда слышало ты
От десяти тысяч
Сердец греческих,
С бедами боровшихся,
По отчизне томившихся,
Всемирно-славных сердец!

Вставали волны —
Вставали, шумели,
И солнце их обливало
Игривым румяным светом.
Стаи вспугнутых чаек
Прочь отлетали с громкими криками;

Били копытами кони; гремели щиты,—
И разносилось далече кличем победным:
Фалатта! Фалатта!

Привет тебе, вечное море!
Родным языком мне шумят твои воды;
Грезы детства встают предо мной
Над твоим зыбучим простором,
И сызнова мне повторяет
Старая память былые рассказы
О всех дорогих и милых игрушках,
О святочных, пышных подарках,
О красных деревьях коралловых,
О злато-чешуйчатых рыбках,
О жемчуге желтом, о грудах
Раковин пестрых,
Что ты бережливо таишь
В своем прозрачном,
Хрустальном доме.

О! как я в чужбине томился!
Словно увядший цветок
В жестянке ботаника,
Лежало в груди моей сердце.
Мне кажется,
Будто я целую долгую зиму, больной,
Был заперт в темном больничном покое
И вдруг нежданно его покинул —
И мне ослепительно блещет навстречу
Весна изумрудная,
Солнцем пробужденная,
И молодые цветы
Глядят на меня
Душистыми пестрыми глазками,
И все благовонием дышит,
И все гудит, и живет, и смеется,
И в небе лазурном
Распевают птицы...
Фалатта! Фалатта!

О храброе — и в отступлении храброе сердце!
Как часто, как горестно-часто
Тебя теснили

Варварки севера;
Сыпали жгучие стрелы в тебя
Из больших, победительных глаз;
Грозили мне грудь раскроить
Кривыми мечами слов;
Гвоздеобразными письмами
Бедный мой, оглушенный
Мозг разбивали...
Напрасно я крылся щитом;
Стрелы свистали, и падал удар за ударом...
И вот оттеснили меня
Варварки севера к самому морю,
И, полною грудью дыша,
Я море приветствую —
Спасительно-чудное море...
Фалатта! Фалатта!

ГРОЗА

Тяжко нависла над морем гроза,
И черную стену туч
Зубчатым лучом прорезает
Молния, быстро светя и быстро
Исчезая, как беглая мысль
На челе Крониона.
Далече по бурно-пустынным водам
Грохочет гром,
И скачут белые кони-валы,
Самим Бореем рожденные
От чудных кобылиц Эрихтона,
И в жалком испуге порхает
Морская птица,
Как тень у вод Стикса,
Хароном оттолкнутая
От барки его полуночной.

Бедный резвый кораблик!
Пришлось пуститься ему
В опасную пляску!
Эол ему выслал
Самых искусных своих музыкантов:

Пусть поиграют погромче, а он веселее попляшет!
Один громче свищет, другой трубит,
А третий водит по струнам
Глухого баса...
И корабельщик
Едва стоит на ногах у руля,
И смотрит, глаз не сводя, на компас,
Дрожащую душу кораблика,
И руки с мольбой к небесам простирает...
«Спаси нас, Кастор, воинственный всадник,
И ты, кулачный боец Полидевк!»

КРУШЕНИЕ

Любовь и надежда! все погибло!
И сам я как труп —
Выброшен морем сердитым —
Лежу на пустынном,
Унылом береге.
Передо мной водяная пустыня колышется;
За мною лишь горе и бедствие;
А надо мною плывут облака,
Безлично-серые дочери воздуха,
Что черпают воду из моря
Туманными ведрами,
И тащат и тащат ее через силу,
И снова в море ее проливают...
Труд печальный и скучный —
И бесполезный, как жизнь моя.

Волны рокочут; чайки кричат...
Воспоминанья старинные веют мне на́ душу...
Забытые грезы, потухшие образы,
Мучительно-сладкие, вновь возникают.

Живет на севере женщина,
Прекрасная, царственно-пышная...
Стан ее, стройный как пальма,
Страстно охвачен белой одеждой;
Темные пышные кудри,
Словно блаженная ночь,

С увенчанной косами
Головы разливаясь, волшебно змеятся
Вкруг чудного бледного лика;
И, величаво-могучи, горят ее очи,
Словно два черные солнца.

О черные солнцы! как часто —
Как часто восторженно я упивался из вас
Диким огнем вдохновенья
И стоял, цепенея,
Полон пламенным хмелем...
И тогда голубино-кроткой улыбкой
Вдруг оживлялись гордые губы,
И с гордых губ
Сливалось слово
Нежнее лунного света,
Отраднее запаха розы,
И душа ликовала во мне —
И к небу орлом возлетала.

Молчите вы, волны и чайки!
Все миновало! Любовь и надежда —
Надежда и счастье! Лежу я на береге,
Одинокий, морем ограбленный,
И к сырому песку
Горячим лицом припадаю.

НА ЗАКАТЕ

Прекрасное солнце
Спокойно склонилось в море,
Зыбкие волны окрасила
Темная ночь,
И только заря осыпает их
Золотыми лучами;
И шумная сила прилива
Белые волны теснит к берегам,
И волны скачут в поспешном веселье,
Как стада белорунных овец,
Что вечером к дому
Гонит пастух, распевая.

«Как солнце прекрасно!» —
Сказал мне по долгом молчанье мой друг,
Со мною у моря бродивший...
И полугрустно, полушутливо
Он стал уверять меня,
Будто солнце — прекрасная женщина,
Которой пришлось поневоле
Выйти замуж за старого бога морей...
И днем она радостно по небу ходит
В пурпурной одежде,
Блистая алмазами,
И все ее любят, и всей ей дивятся —
Все земные созданья,
И всех созданий земных утешает
Свет и тепло ее взгляда;
А вечером грустно-невольно
Она возвращается
Во влажный дворец, на холодную грудь
Седого мужа.

«Поверь мне! — прибавил мой друг...
А сам смеялся,
Потом вздыхал — и снова смеялся... —
Это одно из нежнейших супружеств!
Они или спят, иль бранятся —
Так бранятся, что море высоко вскипает,
И в шуме волн мореходы
Слышат, как старый жену осыпает
Страшною бранью:
«Круглая ты потаскушка вселенной!
Лучеблудница!
Целый ты день горяча для других;
А ночью,
Для меня — холодна ты, устала!»
После таких увещаний постельных, конечно,
Ударяется в слезы
Гордое солнце — и рок свой клянет...
Клянет так долго и горько,
Что бог морской
С отчаянья прочь из постели кидается
И поскорее наверх выплывает —
Воздухом свежим дохнуть, освежиться.

Я сам его видел прошедшею ночью:
По́ пояс вынырнул он из воды
В байковой желтой фуфайке,
В белом как снег ночном колпаке,
Нависшем над старым,
Истощенным лицом».

ПЕСНЬ ОКЕАНИД

Меркнет вечернее море,
И одинок, со своей одинокой душой,
Сидит человек на пустом берегу
И смотрит холодным,
Мертвенным взором
Ввысь, на далекое,
Холодное, мертвое небо
И на широкое море,
Волнами шумящее.
И по широкому,
Волнами шумящему морю,
Вдаль, как пловцы воздушные,
Несутся вздохи его —
И к нему возвращаются грустны;
Закрытым нашли они сердце,
Куда пристать хотели...
И громко он стонет, так громко,
Что белые чайки
С песчаных гнезд подымаются
И носятся с криком над ним...
И он говорит им, смеясь:

«Черноногие птицы!
На белых крыльях над морем вы носитесь;
Кривым своим клювом
Пьете воду морскую;
Жрете ворвань и мясо тюленье...
Горька ваша жизнь, как и пища!
А я, счастливец, вкушаю лишь сласти:
Питаюсь сладостным запахом розы,
Соловьиной невесты,
Вскормленной месячным светом;

Питаюсь еще сладчайшими
Пирожками с битыми сливками;
Вкушаю и то, что слаще всего,—
Сладкое счастье любви
И сладкое счастье взаимности!

Она любит меня! она любит меня!
Прекрасная дева!
Теперь она дома, в светлице своей, у окна,
И смотрит в вечерний сумрак —
Вдаль, на большую дорогу,
И ждет, и тоскует по мне — ей-богу!
Но тщетно и ждет и вздыхает...
Вздыхая, идет она в сад,
Гуляет по́ саду
Среди ароматов, в сиянье луны,
С цветами ведет разговор,
И им говорит про меня:
Как я — ее милый — хорош,
Как мил и любезен — ей-богу!
Потом и в постели, во сне, перед нею,
Даря ее счастьем, мелькает
Мой милый образ;
И даже утром, за кофе, она
На бутерброде блестящем
Видит мой лик дорогой —
И страстно съедает его — ей-богу!»

Так он хвастает долго,
И порой раздается над ним,
Словно насмешливый хохот,
Крик порхающих чаек.
Вот наплывают ночные туманы;
Месяц — желтый, как осенью лист,—
Грустно сквозь сизого облака смотрит...
Волны морские встают и шумят...
И из пучины шумящего моря
Грустно, как ветра осеннего стон,
Слышится пенье.
Океаниды поют,
Милосердые, чудные девы морские...
И слышнее других голосов
Ласковый голос

Сереброногой супруги Пелея...
Океаниды уныло поют:

«Безумец! безумец! хвастливый безумец!
Скорбью истерзанный!
Убиты надежды твои,
Игривые дети души,
И сердце твое, словно сердце Ниобы,
Окаменело от горя.
Сгущается мрак у тебя в голове,
И вьются средь этого мрака,
Как молний, мысли безумные!
И хвастаешь ты от страданья!
Безумец! безумец! хвастливый безумец!
Упрям ты, как древний твой предок,
Высокий титан, что похитил
Небесный огонь у богов
И людям принес его,
И, коршуном мучимый,
К утесу прикованный,
Олимпу грозил, и стонал, и ругался
Так, что мы слышали голос его
В лоне глубокого моря
И с утешительной песнью
Вышли из моря к нему.
Безумец! безумец! хвастливый безумец!
Ты ведь бессильней его,
И было б умней для тебя
Влачить терпеливо
Тяжелое бремя скорбей —
Влачить его долго, так долго,
Пока и Атлас не утратит терпенья
И тяжкого мира не сбросит с плеча
В ночь без рассвета!»

Долго так пели в пучине
Милосердые, чудные девы морские.
Но зашумели грознее валы,
Пение их заглушая;
В тучах спрятался месяц; раскрыла
Черную пасть свою ночь...
Долго сидел я во мраке и плакал.

БОГИ ГРЕЦИИ

Полный месяц! в твоем сиянье,
Словно текучее золото,
Блещет море.
Кажется, будто волшебным слияньем
Дня с полуночною мглою одета
Равнина песчаного берега.
А по ясно-лазурному,
Беззвездному небу
Белой грядою плывут облака,
Словно богов колоссальные лики
Из блестящего мрамора.

Не облака это! нет!
Это сами они —
Боги Эллады,
Некогда радостно миром владевшие,
А ныне в изгнанье и в смертном томленье,
Как призраки, грустно бродящие
По небу полночному.
Благоговейно, как будто объятый
Странными чарами, я созерцаю
Средь пантеона небесного
Безмолвно-торжественный,
Тихий ход исполинов воздушных.
Вот Кронион, надзвездный владыка!
Белы как снег его кудри —
Олимп потрясавшие, чудные кудри;
В деснице он держит погасший перун;
Скорбь и невзгода
Видны в лице у него;
Но не исчезла и старая гордость.
Лучше было то время, о Зевс!
Когда небесно тебя услаждали
Нимфы и гекатомбы!
Но не вечно и боги царят:
Старых теснят молодые и гонят,
Как некогда сам ты гнал и теснил
Седого отца и титанов,
Дядей своих, Юпитер-Паррицида!
Узнаю и тебя,
Гордая Гера!

Не спаслась ты ревнивой тревогой,
И скипетр достался другой,
И ты не царица уж в небе;
И неподвижны твои
Большие очи,
И немощны руки лилейные,
И месть бессильна твоя
К богооплодотворенной деве
И к чудотворцу божию сыну.
Узнаю и тебя, Паллада Афина!
Эгидой своей и премудростью
Спасти не могла ты
Богов от погибели.
И тебя, и тебя узнаю, Афродита!
Древле златая! ныне серебряная!
Правда, все так же твой пояс
Прелестью дивной тебя облекает;
Но втайне страшусь я твоей красоты,
И если б меня осчастливить ты вздумала
Лаской своей благодатной,
Как прежде счастливила
Иных героев,— я б умер от страха!
Богинею мертвых мне кажешься ты,
Венера-Либитина!
Не смотрит уж с прежней любовью
Грозный Арей на тебя.
Печально глядит
Юноша Феб-Аполлон.
Молчит его лира,
Весельем звеневшая
За ясной трапезой богов.
Еще печальнее смотрит
Гефест хромоногий!
И точно, уж век не сменять ему Гебы,
Не разливать хлопотливо
Сладостный нектар в собранье небесном.
Давно умолк
Немолчный смех олимпийский.

Я никогда не любил вас, боги!
Противны мне греки,
И даже римляне мне ненавистны.
Но сострадание святое и горькая жалость

В сердце ко мне проникают,
Когда вас в небе я вижу,
Забытые боги,
Мертвые, ночью бродящие тени,
Туманные, ветром гонимые,—
И только помыслю, как дрянны
Боги, вас победившие,
Новые, властные, скучные боги,
То берет меня мрачная злоба...
. . . .

Старые боги! всегда вы, бывало,
В битвах людских принимали
Сторону тех, кто одержит победу.
Великодушнее вас человек,
И в битвах богов я беру
Сторону вашу,
Побежденные боги!

Так говорил я,
И покраснели заметно
Бледные облачные лики,
И на меня посмотрели
Умирающим взором,
Преображенные скорбью,
И вдруг исчезли.
Месяц скрылся
За темной, темною тучей;
Задвигалось море,
И просияли победно на небе
Вечные звезды.

ВОПРОСЫ

У моря, пустынного моря полночного
Юноша грустный стоит.
В груди тревога, сомненьем полна голова,
И мрачно волнам говорит он:

«О! разрешите мне, волны,
Загадку жизни —
Древнюю, полную муки загадку!

Уж много мудрило над нею голов —
Голов в колпаках с иероглифами,
Голов в чалмах и черных, с перьями, шапках,
Голов в париках и тысячи тысяч других
Голов человеческих, жалких, бессильных...
Скажите мне, волны, что̀ есть человек?
Откуда пришел он? куда пойдет?
И кто там над нами на звездах живет?»

Волны журчат своим вечным журчаньем;
Веет ветер; бегут облака;
Блещут звезды безучастно-холодные...
И ждет безумец ответа!

ФЕНИКС

Летит с запада птица —
Летит к востоку,
К восточной отчизне садов,
Где пряные травы душисто растут,
И пальмы шумят,
И свежестью веют ручьи...
Чудная птица летит и поет:

«Она любит его! она любит его!
Образ его у ней в сердце живет —
В маленьком сердце,
В тайной, заветной его глубине,
Самой ей неведомо.
Но во сне он стоит перед нею...
И молит она, и плачет,
И руки целует ему,
И имя его произносит,
И с именем тем на устах
В испуге вдруг пробуждается,
И протирает себе в изумленье
Прекрасные очи...
Она любит его! она любит его!»

На палубе, к мачте спиной прислонясь,
Стоял я и слушал пение птицы.
Как черно-зеленые кони с серебряной гривой,
Скакали бело-кудрявые волны;
Как лебединые стаи,
Мимо плыли,
Парусами блестя, суда гелголандцев,
Смелых номадов полночного моря.
Надо мною, в вечной лазури,
Порхали белые тучки,
И вечное солнце горело,
Роза небесная, пламенноцветная,
Радостно в море собою любуясь...
И небо, и море, и сердце мое
Согласно звучали:
«Она любит его! она любит его!»

У ПРИСТАНИ

Счастлив, кто мирно в пристань вступил,
И за собою оставил
Море и бури,
И тепло и спокойно
В уютном сидит погребке
В городе Бремене.

Как приятно и ясно
В рюмке зеленой весь мир отражается!
Как отрадно,
Солнечно грея, вливается
Микрокосм струистый
В жаждой-томимое сердце!
Все в своей рюмке я вижу:
Историю древних и новых народов,
Турок и греков, Ганса и Гегеля,
Лимонные рощи и вахтпарады,
Берлин и Шильду, Тунис и Гамбург...
А главное — образ милой моей...
Херувимское личико
В золотистом сиянье рейнвейна.

О милая! как ты прекрасна!
Как ты прекрасна! Ты — роза...
Только не роза ширазская,
Гафизом воспетая,
Соловью обрученная...
Не роза шаронская,
Священно-пурпурная,
Пророками славимая...
Но роза ты погребка
В городе Бремене... [1]
О! это роза из роз!
Чем старше она, тем пышнее цветет,
И я упоен
Ее ароматом небесным —
Упоен — вдохновлен — охмелен...
И не схвати меня
За вихóр погребщик,
Я наверно под стол бы свалился!

Славный малый! Мы вместе сидели
И пили как братья.
Мы говорили о важных, тайных предметах,
Вздыхали и крепко друг друга
Сжимали в объятьях,
И он обратил меня
На истинный путь... Я с ним пил
За здравие злейших врагов
И всем плохим поэтам простил,
Как и мне простится со временем...
Я в умилении плакал, и вот наконец
Передо мною отверзлись
Врата спасенья...
. . . .
. . . .

Слава! слава! Как сладостно веют
Вокруг меня пальмы вефильские!
Как благовонно дышат
Мирры хевронские!
Как шумит священный поток
И кружится от радости!
И сам я кружусь... и меня

[1] **Роза** — одно из названий рейнвейна. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

Выводит скорее на воздух,
На белый свет — освежиться —
Мой друг погребщик, гражданин
Города Бремена.

Ах, мой друг погребщик! погляди!
На кровлях домов все стоят
Малютки крылатые...
Пьяны они — и поют...
А там — это яркое солнце,—
Не красный ли спьяну то нос
Властителя мира Зевеса;
И около этого красного носа
Не спьяну ль весь мир кружится?

ЭПИЛОГ

Как на ниве колосья,
Растут и волнуются помыслы
В душе человека; но нежные
Любовные помыслы ярко
Цветут между ними, как между колосьями
Цветы голубые и алые.

Цветы голубые и алые!
Жнец ворчливый на вас и не взглянет,
Как на траву бесполезную;
Нагло вас цеп деревянный раздавит...
Даже прохожий бездомный,
Вами любуясь и тешась,
Головой покачает и даст вам
Названье плевел прекрасных.
Но молодая крестьянка,
Венок завивая,
Ласково вас соберет и украсит
Вами прекрасные кудри,
И в этом венке побежит к хороводу,
Где так отрадно поют
Флейты и скрипки,
Или в укромную рощу,
Где милого голос звучит отрадней
И флейт и скрипок!

НИКОЛАУС ЛЕНАУ

ТРОЕ ЦЫГАН

Степью песчаной наш грузный рыдван
 Еле тащился. Под ивой,
Рядом с дорогою, трое цыган
 Расположились лениво.

В огненных красках заката лежал
 Старший с лубочною скрипкой;
Буйную песню он дико играл
 С ясной, беспечной улыбкой.

Трубкой дымил над собою другой,
 Дым провожая глазами,
Счастлив — как будто нет доли иной
 Лучше, богаче дарами.

Третий, раскинувшись, сладко заснул;
 Над головою висела
Лютня на иве... По струнам шел гул,
 По́ сердцу греза летела.

Пусть из-за пестрых заплат, из прорех
 Голое тело сквозится:
Все на лице у них гордость и смех,
 Сколько судьба ни грозится.

Вот от кого довелось мне узнать,
 Как тебя, доля лихая,
Дымом развеять, проспать, проиграть,
 Мир и людей презирая.

Глаз я не мог отвести от бродяг;
    Долго мне будут всё сниться
Головы в черных косматых кудрях,
    Темные, смуглые лица.

СОВЕТ И ЖЕЛАНИЕ

«Не живи так быстро, так мятежно!
Посмотри — еще весна кругом.
К сердцу радость ластится так нежно...
Ты ж бледнеешь, вянешь с каждым днем.

Ненадолго розы увядают:
Лишь пахнет весной — цветут опять;
Соловьи в леса к нам прилетают
И поют... иль их не хочешь ждать?»

«Не хочу. Пусть жизнь скорей промчится —
Вольно, бурно, страстью и огнем!
Пусть угасну я, как та зарница,
Что, сверкнув, исчезла за холмом!»

МОРИЦ ГАРТМАН

БЕЛОЕ ПОКРЫВАЛО

I

Позорной казни обреченный,
Лежит в цепях венгерский граф.
Своей отчизне угнетенной
Хотел помочь он: гордый нрав
В нем возмущался; меж рабами
Себя он чувствовал рабом —
И взят в борьбе с могучим злом,
И к петле присужден врагами.

Едва двадцатая весна
Настала для него — и надо
Покинуть мир! Не смерть страшна:
Больному сердцу в ней отрада!
Ужасно в петле роковой
Средь людной площади качаться...
Вороны жадные слетятся,
И над опальной головой
Голодный рой их станет драться.
Но граф в тюрьме, в углу сыром,
Заснул спокойным, детским сном.

Поу́тру, грустно мать лаская,
Он говорил: «Прощай, родная!
Я у тебя дитя одно;
А мне так скоро суждено
Расстаться с жизнью молодою!
Погибнет без следа со мною

И имя честное мое.
Ах, пожалей дитя свое!
Я в вихре битв не знал боязни,
Я не дрожал в дыму, в огне;
Но завтра, при позорной казни,
Дрожать как лист придется мне».

Мать говорила, утешая:
«Не бойся, не дрожи, родной!
Я во дворец пойду, рыдая:
Слезами, воплем и мольбой
Я сердце разбужу на троне...
И поутру́, как поведут
Тебя на площадь, стану тут,
У места казни, на балконе.
Коль в черном платье буду я,
Знай — неизбежна смерть твоя...
Не правда ль, сын мой! шагом смелым
Пойдешь навстречу ты судьбе?
Ведь кровь венгерская в тебе!
Но если в покрывале белом
Меня увидишь над толпой,
Знай — вымолила я слезами
Пощаду жизни молодой.
Пусть будешь схвачен палачами —
Не бойся, не дрожи, родной!»

И графу тихо, мирно спится,
И до утра он будет спать...
Ему все на балконе мать
Под белым покрывалом снится.

II

Гудит набат; бежит народ...
И тихо улицей идет,
Угрюмой стражей окруженный,
На площадь граф приговоренный.
Все окна настежь. Сколько глаз
Его слезами провожает,
И сколько женских рук бросает
Ему цветы в последний раз!

Граф ничего не замечает:
Вперед, на площадь он глядит.
Там на балконе мать стоит —
Спокойна, в покрывале белом.

И заиграло сердце в нем!
И к месту казни шагом смелым
Пошел он... с радостным лицом
Вступил на помост с палачом...
И ясен к петле поднимался...
И в самой петле — улыбался!

Зачем же в белом мать была?..
О, ложь святая!.. Так могла
Солгать лишь мать, полна боязнью,
Чтоб сын не дрогнул перед казнью!

ДВА КОРАБЛЯ

Два корабля, как два гроба глухих,
Встретились молча во мраке ночном.
Далее каждый плывет; а на них—
Сын на одном, мать на другом.

Сын после долгих скитаний и бед
Едет на родину, где его мать.
Мать стосковалась; вести все нет,—
И поплыла она сына искать.

Что с ней такое, не знает она:
Капают слезы, одна за одной.
Дума у сына легка и ясна,
Словно он слушает голос родной.

А корабли, как два гроба глухих,
Дальше несутся во мраке ночном.
Нет человека, чтоб знал, что на них—
Сын на одном, мать на другом.

ГЕОРГ ГЕРВЕГ

СТАРИКИ И МОЛОДЫЕ

«Ты молод, и твой долг — молчанье.
Ты молод; слушай стариков.
Горячей крови волнованье
Пусть поути́шит ряд годов!

Ты молод; испытал ты мало,
Цель жизни для тебя темна.
Ты молод; пусть тебя сначала
Украсит наша седина.

Умей отказываться, милый;
Дай пылу юности простыть;
Сковать дай молодые силы:
Тогда и годен можешь быть!»

«Вы рады, умники, любого
С собою на́ цепь посадить.
Скажите ж, сторожа Былого,
Кому Грядущее творить?

Где, кроме сил могучих наших,
Себе опору вам сыскать?
Кто дочерей полюбит ваших?
Кто будет дом ваш охранять?

По вас, и в речи нашей страстной
И в русых ку́дрях проку нет?
Но — серебро седин прекрасно;
А золоту покорен свет!

Не вам хулить нас! Юность наша
Шумна, конечно, и громка;
А сколько добродетель ваша
Творила зла исподтишка!»

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

ТРИ ПОЭТА

Куда, скорбя и негодуя,
Идешь ты? — В даль былых веков,
В историю, во тьму гробов
От вашей жизни ухожу я.
Среди дряхлеющих руин,
Холодных камней, мхом покрытых,
Средь мавзолеев позабытых
Я буду жить один — один.
Мне ненавистно это время
Без сил на подвиг и борьбу,
Мне жалко ты, больное племя,
Свою влачащее судьбу
С покорством, свойственным рабу!
Вокруг меня не люди — тени.
Скорее дальше! прочь от них!
Перед гробницами былых
Героев я склоню колени.
Холодный прах их вопрошу,
Душой проникну в их могилу
И мысли их живую силу
В могучем слове воскрешу.

А ты куда?— Туда, где море
В пустынный берег бьет волной,
Уйду глухой лесной тропой
Подальше от людского горя.
Там не смутит моих ушей
Бессильный плач и стон людей,
Закон которых — не свобода,

А воля горсти палачей.
Там обоймет меня природа
Святой гармонией своей.
Ее весны любовный шепот,
Ее громов угрюмый ропот
И тихий сон морских зыбей,
И волн ревущие громады,
Под солнцем молкнущие вновь,
И гнев, не знающий пощады,
И бесконечная любовь —
Моей душе они родные;
Гроза души и тишина
Там встретят отзывы живые.
В строй мировой погружена,
Природы мысль найдет она —
И, воплотясь в живое слово,
Людей пробудит к жизни новой.

А ты? — Прощайте! Вам душой
И был и буду я чужой.
Меня не манит жизнь природы,
Не манит жизнь былых племен.
Я не хочу *себе* свободы,
Когда народ порабощен.
Меня влечет в свой омут темный
Жизнь многолюдных городов.
Не их дворцы, не блеск пиров,
А злобный голод, труд бессонный
В углах их горьких бедняков,
С судьбой бессильное боренье,
Стон боли, вопль ожесточенья,
Проклятье жертвы палачу,
Забвение в пороке грязном,
В разврате жалко-безобразном,
Все это видеть я хочу,
Все слышать...

АВГУСТ ГОФМАН ФОН ФАЛЛЕРСЛЕБЕН

ИЗ ОВИДИЕВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Заштопать для царя мундир
Один портной взялся.
Сел шить; но — над одной из дыр
Вдруг дух в нем занялся.
«О чудо! о чудо! Да что ж это? что ж?
Ведь вошь это, вошь это! царская вошь!»

Вскочил от радости портной;
В душе и в теле дрожь.
Глядит на вошь он сам не свой
И вдруг — хватает нож.
О чудо! о чудо! Да нож-то на что ж?
Ах, режет он, режет он царскую вошь.

«Мне половину! много всей:
Ведь вон как налилась!
Довольно царской крови в ней,
Чтоб целый вышел князь».
О чудо! о чудо! лишь в рот ее взял,
И князем он, князем потомственным стал!

Кричат закройщики: «А нам?
Что ж позабыл об нас?» —
«Другую половину вам:
Тут на троих как раз».
О чудо! полвши только стоило съесть —
Три графа, три графа сиятельных есть!

И ученик с вопросом тож:
«Все кровью царской вши
Вы причастились; я-то что ж?» —
«На! ножик оближи!
Почище, почище! с обеих сторон!
И выйдешь — хоть плохонький-выйдешь барон».

АРНОЛЬД РУГЕ

СВОБОДА СЛОВА

Раз предложили Бюффону вопрос: отчего обезьяна
Не говорит? «Да сказать нечего ей!» — был ответ.

СВОБОДА ПЕЧАТИ

Пурпуром Кодр вас одень и главою поставь вам Перикла,
Вы же останьтесь чем есть — все будет рабской печать.

КРИСТИАН ШУБАРТ

ВЕЧНЫЙ ЖИД

Из темного ущелия Кармила
На солнце выполз Агасвер. Другое
Тысячелетье шло к концу с тех пор,
Как он бродил, бичуемый тревогой,
По всем странам. — Когда, идя на казнь,
Христос под крестной ношею склонился
И отдохнуть у двери Агасвера
На миг остановился, Агасвер
Его сурово оттолкнул, — и дальше
Пошел Христос и пал под тяжкой ношей
Без слова, без стенанья. Тут предстал
Пред Агасвера грозный ангел Смерти
И с гневным взглядом молвил: «Отдохнуть
Ты сыну человеческому не дал;
Не знай же сам ты отдыха отныне,
Бесчеловечный, до его второго
Пришествия!»
И черный адский демон
Гнал Агасвера из страны в страну,—
И не было гонимому ни сладкой
Надежды умереть, ни утешенья
Найти успокоение в могиле.

Из темного ущелия Кармила
На солнце вышел Агасвер. С лица
И с бороды стряхнул он пыль; из груды
Костей, нагроможденных тут, взял череп
И по горе метнул его с размаха.
Запрыгал череп, зазвенел о камни —

И разлетелся вдребезги. «То был
Отец мой!» — Агасвер проскрежетал.
Еще схватил он череп — и еще...
Семь черепов, кружася, покатились
С утеса на утес. «А это — это... —
Он восклицал с налившимися кровью
Безумными глазами,— это были
Мои все жены!» Черепа катились...
Еще... Еще...«А это — это были
Мои все дети! — скрежетал несчастный.—
И умерли! Они могли... а я,
Отверженный, я не могу! нет смерти!
Грознейший суд мучительнейшей карой
Навеки надо мной отяготел.

И пал Ерусалим. Я с лютой злобой
Смотрел, как мрут другие, — и кидался
В объятья пламени, и ярой бранью
Дразнил меч римлян. Грозное проклятье
Меня как бронь хранило: я не умер!

И рухнул Рим, всесветный исполин.
Я голову и грудь свою подставил.
Он рухнул и меня не раздавил.
Передо мною нации рождались
И умирали; я же оставался,
Не умирал! С вершин, одетых в тучи,
Кидался я в пучину; но прилив
Меня волною выносил на сушу,
И жгучий яд существованья снова
Меня палил. К запекшемуся зеву
Волкана я взобрался. Я скатился
В его утробу. Там стонал и выл
Я десять месяцев в чаду и мраке;
Ногтями рыл курящееся устье...
И огненная матка разродилась
Потоком лавы, и меня опять
Из пламенного выкинула зева,
И в пепле шевельнулся я — живой!

В горящий лес я бросился. Я бегал,
Беснуясь, средь пылающих деревьев.
С волос своих они меня кропили

Огнем, — и пухло тело у меня,
И ныла кость. Но не сгорел я! жив!

И ринулся я в дикий пыл войны.
В грозе кровавых битв с врагом сходился
Лицом к лицу. Ругательством поносным
Я разжигал и галла и германца;
Но от меня отскакивали стрелы,
Обламывались копья об меня.
Об череп мой в осколки разлетались
Кривые сабли сарацинов. Пули
В меня летели градом — как горох
В железный панцирь. Молнии сраженья,
Змеясь, мне опоясывали тело,
И — как утес, зубчатою вершиной
Поднявшийся за тучи, — оставался
Я невредим. Напрасно слон меня
Топтал; напрасно конь своим железным
Копытом бил, дыбясь средь ярой сечи!—
Пороховой подземный взрыв меня
Высоко взбросил; оглушенный, тяжко
Упал на землю я — и очутился
Средь изможженных трупов, весь обрызган
Их кровью, мозгом, — жив и невредим!

На мне ломались молот и топор;
У палачей мертвели руки; зубы
У тигров притуплялись. В цирке лев
Голодный растерзать меня не мог.
Я подползал к норе гремучих змей;
Кровавый гребень щекотал дракону.
И жало змей меня не заражало;
Терзал и грыз дракон, не умерщвляя.

И я пошел плевать хулой и бранью
В лицо тиранам. Говорил Нерону:
«Ты пес! ты кровопийца!» Христиерну
Я говорил: «Ты пес! ты кровопийца!»
Мулею Измаилу говорил:
«Ты пес! ты кровопийца!» И тираны
Мне злейшие придумывали пытки
И казни... Но меня не умертвили.

О, ужас! умереть не мочь! покоя
Не мочь найти, томясь и изнывая!
И все влачить иссохшее, как труп,
И тлением пропахнувшее тело!
Столетья и тысячелетья — видеть
Перед собой зияющую пасть
Чудовища *Одно и то же!* видеть,
Как Время, в ненасытном любодействе
И в вечном голоде детей рождает
Иль пожирает! Умереть не мочь!
О беспощадный мститель! есть ли казнь
Грознейшая в твоей всевластной воле?
Казни меня, казни меня ты ею!
О, если б пасть от одного удара
И с этой выси покатиться вниз,
И у подошвы горной растянуться,
И, вздрогнув, — прохрипеть и умереть!»

И Агасвер шатнулся: смутный гул
Ему наполнил уши; тьма покрыла
Горячие зеницы. — Светлый ангел
Взял на руки его и снес в ущелье,
И там сложил и молвил: «Агасвер!
Спи мирным сном! Не вечен божий гнев».

Из французских поэтов

АНДРЕ ШЕНЬЕ

* * *

Мой стих умеет все так живо рисовать...
Приди, мой друг! Приди скорей ему внимать...
Мой голос нравится; звучит он нежно, стройно.
Все отражается в элегии спокойной...
Леса зеленые, ручьи и соловей,
И музы, и весна живут согласно в ней.
В моих стихах и вздох и поцелуй палящий;
Ручей серебряный, так сладостно журчащий,
В них катит легкие и чистые струи,—
И часто синевой небес полны они.
Дыханье сладкое, живящее дубровы,
В строфах моих живет и дышит негой новой;
Благоухают в них роскошные цветы:
И те, которыми весна дарит кусты,
И те, что у тебя над щечкой молодою
Так пышно расцвели с шестнадцатой весною.

ВИКТОР ГЮГО

* * *

Так, как в глубоких водах, усыпленных под сенью деревьев,
Часто в душе у людей видим мы две стороны:
Небо,— которое в чуть журчащие волны глядится
Всеми стрелáми лучей, каждою тучкой своей...
И ужасное дно, — бессветное, мутное ложе,
Где в заснувшей зыби черные гады живут.

* * *

О, подойди ко мне! поговори со мной!..
Очарование летает за тобой.
Не ангел ли ты Данта песнопений?
Ты не богиня ли Виргилия творений?..
Высокое чело, и нега уст твоих,
И ножка легкая — напоминают их.
Ты с гордостью б могла, в кирасе из эфира,
Быть амазонкой греческого мира!

Сераль и гинекей, жилища красоты,
Кораллом уст — верь! — помрачила б ты...
И если б знал тебя Челлини, на чудесной
Он вазе греческой твой лик прелестный,
Конечно бы, резцом волшебным начертил;
В цветке бы долотом тебя изобразил;
Иль полулилией, полженщиной прекрасной
Он изваял тебя на чаше голубой,
Иль в чудном лотосе, его созданье ясном,
Которому цветок завидует живой.

Приди, красавица с небесными очами!..
То золотой был день, как я узнал тебя.
Воспоминанье светлыми лучами
Живет ли у тебя в душе, как у меня?
Ты улыбаешься... Дай руку мне, пойдем!..
Весна встречает нас улыбкою живою...
Легла на путь нам тень, и в воздухе ночном
Так много теплоты... А там, за той горою,
Прохладный лес, и в нем — у ног больших дубов
Ковры роскошные густых зеленых мхов.

ПЬЕР-ЖАН БЕРАНЖЕ

Книга первая
1810—1815

КОРОЛЬ ИВЕТО́

Жил-был король; он не попал
    В историю: ложился
Спать рано, поздно днем вставал,
    По лаврам не томился,—
И коронован не венцом,
А от Жанеты колпаком
        С хохлом.
Ой люли́! ой люли!
Где такие короли?
        Люли!

Изба была ему дворцом;
    Покушав сытно, жирно,
Он ехал на осле верхом
    Взглянуть на край свой мирный.
Добряк не ждал народных гроз:
При нем за стражу службу нес
        Барбос.
Ой люли! ой люли!
Где такие короли?
        Люли!

Не знал затей он дорогих;
    Любил лишь выпить вволю.
Счастливя подданных своих,
    Себе ли портить долю?
Один налог шел для двора:
Он брал стакан иль полтора
        С ведра.

Ой люли! ой люли!
Где такие короли?
Люли!

Красавицы его тайком
Охотно целовали:
Недаром в царстве все отцом
Его именовали.
Не собирал он ратных сил;
Но в цель стрельбу, коль весел был,
Любил.
Ой люли! ой люли!
Где такие короли?
Люли!

Не думал у соседей он
Оттягивать владенья;
Пример монархов, он в закон
Поставил наслажденье.
Тогда лишь, как он век скончал,
Народ, который слез не знал,
Рыдал.
Ой люли! ой люли!
Где такие короли?
Люли!

В портрете верном сохранен
Нам лик его державный,
И служит вывескою он
Харчевни, всюду славной.
По праздникам, как подопьет,
Пред этой вывеской народ
Поет:
«Ой люли! ой люли!
Где такие короли?
Люли!»

СЕНАТОР

Да, сокровище прямое
Я нашел в своей жене:
Ведь знакомство-то какое

Чрез нее досталось мне!
В тот же день, как я женился,
Вдруг сенатор к нам явился.
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

О, с особою такою
Не сравниться никому!
У министра бал; с собою
Взял жену мою к нему.
Где меня ни повстречает,
Тотчас руку пожимает.
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

Он с женою мил,— ни слова;
Но чтоб куры строил,— нет.
А случится, нездорова,
Я играю с ним в пикет.
В именины, в день рожденья
Шлет поклон и поздравленье.
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

В дождик вечером случится
Дома мне сидеть с женой...
«Не хотите ль прокатиться?—
Говорит он. — Вы со мной
Без чинов, без этикета!
У крыльца моя карета».
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

Раз на дачу снарядился,—
Пригласил и нас с собой.
Ужин — вина. Я спьянился
Так, что спать не мог с женой;
Но в накладе был едва ли:

Спальню лучшую мне дали.
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

Сын родился; я, конечно,
В восприемники *его.*
Как ласкал добросердечно
Он малютку моего!
Дал тогда ж и обещанье:
«Не забуду в завещанье».
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

За обедом посмеяться
Любит он,— и я острю.
Раз случилось мне завраться...
«Я уверен,— говорю,—
Все толкуют, что с женою
Вы смеетесь надо мною!»
Что за честь!
Что за честь!
К высшей знати в дружбу влезть!

ВЕСЕЛАЯ ГОЛОВА

Как образец удачный
Для страждущих хандрой
Родился в век наш мрачный
Веселый мой герой.
Жить смирно, без вниманья
К судьбе, к речам молвы...
Вот в чем и все призванье
Веселой Головы.

В отцовской шляпе чинно
По праздникам гулять;
Фасон ее старинный
Цветами обновлять...
Плащ — тоже не для чванства:

Все побелели швы...
Вот в чем и все убранство
Веселой Головы.

Под кровлей стульев пара,
Кроватка, стол кривой,
Колода карт, гитара,
Стакан, сундук пустой,
Портрет (воспоминанье
Хорошенькой вдовы)...
Вот все и достоянье
Веселой Головы.

Пропеть куплет нескромный;
Учить детей играть;
Большим рассказ скоромный
Забавно передать;
Плясать неугомонно,
Когда б ни звали вы...
Вот весь запас ученый
Веселой Головы.

Коль есть вино плохое,
Хорошего не ждать;
Оставя дам в покое,
У швей любви искать;
Не знать припадков сплина
И мрачности совы...
Вот мудрая доктрина
Веселой Головы.

Всего себя вверяю,
Творец, любви твоей:
Ты не осудишь, знаю,
Веселости моей
И в смертное мгновенье
Не дашь сказать: «Увы!»
Вот скромное моленье
Веселой Головы.

Ты, ропщущий невольно,
Бедняк, и ты, богач,
Всем вечно недовольный,

От ваших неудач
Утешьтесь; не тужите,
Что б ни терпели вы:
Благой пример берите
С Веселой Головы.

БАБУШКА

С рюмки бабушка спьянилась
Раз на празднике у нас
И шутя разговорилась:
«Что творила я проказ!
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Значит, бабушка, ты тоже...»—
«А еще б! В пятнадцать лет
Знала я, что я пригожа.
Ночью сна, бывало, нет.
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«А потом? потом влюблялась?» —
«Как же! милого нашла.
И недолго дожидалась,
И недолго ждать дала.
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Долго ты его любила?» —
«Да с полгода — одного;
А потом — еще был милый.
Не бросала и того.
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,

Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Двое, бабушка? и разом?» —
«Так недолго я жила:
Оба прочь! — Взялась за разум:
Дед ваш сватал, — я пошла.
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Ну, и что же муж-то, муж-то?» —
«От другого бы не скрыть.
Но влюбленному неужто
В эти мелочи входить?
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Ну, а мужу изменяла?» —
«Вы умны, как посмотрю!
И на исповеди мало
Я об этом говорю.
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Ты ведь поздно овдовела?» —
«Но не хмурилась вдова...
Церковь так же не пустела,
Хоть была и не нова.
Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

«Ну, а нам как жить, родная?» —
«Не собьетеся с пути.
Ведь по бабушке пошла я:
Что ж и вам по мне нейти?

Жаль и нынче, внучки,
Мне красы своей,
Стройной ножки, полной ручки
И пропащих дней».

СЛЕПАЯ МАТЬ

Лиза, выслушай совет...
Что-то лен твой не прядется.
Видно, сердце очень бьется:
Свел с ума тебя сосед.
Ах, не верь ты негодяю!
Хоть слепа, а все я знаю,
Все я слышу, все смекаю:
Ты нет-нет да и вздохнешь.
Скольких эта страсть губила!..
Для чего окно открыла?
Лиза, что ты не прядешь?

Душно в горнице?.. Не ври...
Не с соседом ли в окошко
Полюбезничать немножко?..
Знаю, что ни говори.
Ты твердишь, что я ворчлива.
Ах, и я была красива,
Молода,— и мне не диво
Знать, что все на свете ложь,
И не верить лицемерью...
Кто такой там стукнул дверью?
Лиза, что ты не прядешь?

Это ветер стукнул?.. Что ж
Я его не замечала?
И собака заворчала...
Ну, за что ее ты бьешь?
Верь, — не лгать мне пред могилой,—
Верь, тебя обманет милый.
Будешь плакать ты; но силой
Снова друга не вернешь...
Это что? могло ли статься!
С кем изволишь целоваться?
Лиза; что ты не прядешь?

Это птичку ты свою
Приласкать вдруг захотела?..
Брось ее, садись за дело;
Не буди ты злость мою.
Ах, мы ветреностью сами
Губим век свой,— и над нами
Все смеются: меж людями
Сострaданья не найдешь...
И какой конец печальный!..
Что понадобилось в спальной?
Лиза, что ты не прядешь?

Спать пошла ты?.. Ах, творец!
Так-то тешишься ты мною!
Твой любовник там с тобою.
Вон сейчас,— иль под венец!
Вон сейчас его, нахала!
Чтобы я вам не мешала,
Мужем станет пусть сначала!
А до тех пор не уйдешь
Ни на шаг ты прочь от дела:
Возле этого пострела,
Лиза, горя напрядешь.

СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ

Есть славный малый здесь.
Он сразу виден весь:
Живой, румяный,
Бровей не хмурит никогда,
Хоть у него всегда
Пусты карманы.
На все он весело глядит.
«Мне, право... — говорит,—
Мне, право... — говорит,—
Мне, право, горя в этом мало».
Ах, славный, славный малый!

На швей и на вино
Истратил уж давно
Он все, что было.

Рвут за долги со всех сторон,
Грозят тюрьмой; а он
С улыбкой милой
На все и всем свое твердит...
«Мне, право... — говорит,—
Мне, право... — говорит, —
Мне, право, горя в этом мало».
Ах, славный, славный малый!

Домой он спать придет,—
Сквозь кровлю дождик льет;
Ложись без свечки.
Зимой дуй в оба кулака:
Дров нету ни куска,
Да нет и печки.
И в холоде он крепко спит.
«Мне, право... — говорит,—
Мне, право... — говорит,—
Мне, право, горя в этом мало».
Ах, славный, славный малый!

Красавица жена
Живет не с ним, одна.
Свои наряды
Берет она не знаю где;
Встречает он везде
Косые взгляды.
Но он на них и не глядит.
«Мне, право... — говорит,—
Мне, право... — говорит,—
Мне, право, горя в этом мало».
Ах, славный, славный малый!

Подагра доняла,
И слег он: смерть пришла.
Попа призвали.
Тот рассуждать, конечно, рад
Про черта и про ад...
«Вы досказали? —
Пред смертью наш больной хрипит.—
Мне, право... — говорит,—
Мне, право... — говорит,—
Мне, право, горя в этом мало».
Ах, славный, славный малый!

БЕДНЯКИ

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Где мы стольких добрых сыщем,
Сколько их меж бедных есть?
Воздадим же честным нищим
Подобающую честь!

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Счастью легче уживаться
С нищетой. Могу, что прав,
На евангелье сослаться
И на свой веселый нрав.

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

На Парнасе долго жило
Всё в союзе с нищетой.
Что́ и у Гомера было,
Кроме посоха с сумой?

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Вы, кого нужда тревожит,
Верьте мне: иной герой,
Коль сапог не впору, может
О лаптях вздыхать порой.

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Кто спасся из сильных мира
От падений, от измен?
«Вздор их царская порфира!» —
Думал в бочке Диоген.

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Что за роскошь в царском доме!
А жильцов томит тоска.
Можно спать и на соломе,
Можно есть и из горшка.

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Как солома превратилась
В ложе пышное цветов?
Это к бедности явилась
Гостья милая любовь.

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

Дружба, всюду холод чуя,
Улетела, говорят.
Нет, она сидит, пируя,
В кабачке меж двух солдат.

Весело живется
Нищим голякам:
Любится, поется.
Слава беднякам!

МОЖЕТ БЫТЬ, ПОСЛЕДНЯЯ МОЯ ПЕСНЯ

Я не могу быть равнодушен
Ко славе родины моей.
Теперь покой ее нарушен,
Враги хозяйничают в ней.
Я их кляну; но предаваться
Унынью — не поможет нам.
Еще мы можем петь, смеяться...
Хоть этим взять, назло врагам!

Пускай иной храбрец трепещет,—
Я не дрожу, хотя и трус.
Вино пред нами в чашах блещет;
Я богу гроздий отдаюсь.
Друзья! наш пир одушевляя,
Он силу робким даст сердцам.
Давайте ж пить не унывая!
Хоть этим взять, назло врагам!

Заимодавцы! беспокоить
Меня старались вы всегда;
Уж я хотел дела устроить, —
Случилась новая беда.
Вы за казну свою дрожите;
Вполне сочувствую я вам.
Скорей мне в долг еще ссудите!
Хоть этим взять, назло врагам!

Не безопасна и Лизета;
Беды бы не случилось с ней.
Но чуть ли ветреница эта
Не встретит с радостью гостей.
В ней, верно, страха не найдется,
Хоть грубость их известна нам.
Но эта ночь мне остается...
Хоть этим взять, назло врагам!

Коль неизбежна гибель злая,
Друзья, сомкнемтесь — клятву дать,
Что для врагов родного края
Не будет наша песнь звучать.
Последней песнью лебединой

Пусть будет эта песня нам.
Друзья, составим хор единый!
Хоть этим взять, назло врагам!

ДЕНЬ ПОМИНОК

Звон церковный — грустный, томный —
Укоряет громко нас,
Что за тра́пезой нескромной
Застает нас в этот час.
«Души многих в тьме блуждают»,—
Скажет вам монах любой.
Нынче мертвых поминают;
    Вечный им покой!

Пусть поэзия цветами
В этот день гроба́ дарит,
Пусть слезами перед нами
Лицемерье их кропит.
Вспять судьбы нас увлекают;
Но поет им голос мой:
«Нынче мертвых поминают;
    Вечный им покой!»

Злым — огонь пучин бездонных;
Сень невянущих садов
Примет женщин благосклонных
И простых друзей пиров.
В рай ключи Петра впускают
Всех незлобивых душой.
Нынче мертвых поминают;
    Вечный им покой!

Чем в уныние вдаваться
У могил отцов своих,
Поучиться б нам смеяться
Над судьбой своей у них.
Вина искрами сверкают;
Лица дышат добротой.
Нынче мертвых поминают;
    Вечный им покой!

Смерть от слез чужих не краше;
Но хотел бы в смертный час
Видеть я, что дети наши
Веселей, живее нас.
Пусть беспечно распевают
Возле ямы роковой:
«Нынче мертвых поминают;
Вечный им покой!»

ЦЕНСУРА

Мы у издателей под игом;
Но пусть его усилят нам
И отдадут нас ценсорам;
Пусть этих крыс допустят к книгам...
Не станем унывать:
Чтоб посмеяться
И все сказать,
Не нужно, право, дожидаться,
Чтоб приложил король печать.

Пускай предвидит час последний
Себе от прессы туз иной;
Пусть речь свободную хулой
Зовут в палате и в передней...
Не станем унывать:
Чтоб посмеяться
И все сказать,
Не нужно, право, дожидаться,
Чтоб приложил король печать.

Пусть эта мудрая палата
На волю пустит крестный ход,
А мысли всякой ход запрет...
Она холопством так богата!..
Не станем унывать:
Чтоб посмеяться
И все сказать,
Не нужно, право, дожидаться,
Чтоб приложил король печать.

Пусть будет ценсор назначаться
Уму тюремщиком,— и с ним,
С несчастным узником своим,
Не будет вовсе сообщаться...
Не станем унывать:
Чтоб посмеяться
И все сказать,
Не нужно, право, дожидаться,
Чтоб приложил король печать.

И так уж нас в потемках душат;
Но пусть (как новый щедрый дар),
Желая будто снять нагар,
Последний свет у нас потушат...
Не станем унывать:
Чтоб посмеяться
И все сказать,
Не нужно, право, дожидаться,
Чтоб приложил король печать.

Пускай министр, что запрещает
Таланты исчислять свои,
Куплеты новые мои
Хоть в списке про себя читает...
Не станем унывать:
Чтоб посмеяться
И все сказать,
Не нужно, право, дожидаться,
Чтоб приложил король печать.

НОВЫЙ ДИОГЕН

Доволен
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

В воде ты почерпал презренье к миру;
Воды не пью, — и нрав мой веселей.
Я пил вино из бочки, чтоб квартиру
Очистить для премудрости своей.

Доволен
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

Где ладно мне, я рад остановиться;
Но постоянства нет между людей.
Как время и как счастие, кружиться
Приходится мне с бочкою моей.

Доволен
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

Смеялся я над партиями много,
И скажут все: «Он бесполезен нам».
Пред бочкой у меня не спросят строго:
«Все для тебя ничто; да что ты сам?»

Доволен,
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

Люблю над старым хламом посмеяться,
Цветá ль кокарды, лента ль то звезды;

В цветы полей привыкла убираться
Моя свобода, чуждая вражды.

Доволен
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

Пусть на конгрессе друг и неприятель
Начнут делить весь мир, — у королей
Не побегу справляться я, не кстати ль
Заняться им и бочкою моей.

Доволен,
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

Известно мне, куда ведет сатира;
От пышности дворов я сторонюсь.
Засмейся я поближе к сильным мира —
Они заслонят солнце мне, боюсь.

Доволен
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

В Афинах новых можно бы, я знаю,
Искать и человека днем с огнем;
Но я лишь в ночь фонарь свой зажигаю:
Светильник свой любовь находит в нем.

Доволен,
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

Хоть от рекрутства я — признаться надо —
И ускользнул, но родину люблю:
Случись нужда при сборе винограда,
Без ропота я бочку уступлю.

Доволен
И волен,
Ношу я мантию твою,
О Диоген! Смеюсь и пью...
Доволен,
И волен,
Смеюсь и пью, когда хочу,
И бочку весело качу.

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Ах, повеса, озорник!
Ну, на что это похоже?
Я заснул всего на миг;
А уж он и прочь от книг...
Ах, совсем мне с ним беда...
И какие строит рожи!
Ах, совсем мне с ним беда.
Поскорее хлыст сюда!

Мало ль он меня бесил!
Я вина принес недавно,
Да поставить в шкаф забыл;
Он бутылку утащил...
Ах, совсем мне с ним беда...
Да и выпил всю исправно.
Ах, совсем мне с ним беда.
Поскорее хлыст сюда!

Поутру́ жена начнет
В спальне мыться, одеваться;
Он из класса ускользнет,
К щелке двери припадет...
Ах, совсем мне с ним беда...
И изволит любоваться.
Ах, совсем мне с ним беда.
Поскорее хлыст сюда!

Раз и с дочерью застал!
Вижу, с нею он приятель.
Знать, уроки ей, нахал,
Он и прежде уж давал...
Ах, совсем мне с ним беда...
Вот хорош преподаватель!
Ах, совсем мне с ним беда.
Поскорее хлыст сюда!

Не уйдешь теперь ты так;
Вспомнишь ты расправу эту.
Что ворчишь ты?.. Я... колпак?..
Что?.. жена... намедни... Как!..
Ах, совсем мне с ним беда...
И детей уж в мире нету!
Ах, совсем мне с ним беда.
Поскорее хлыст сюда!

НАШ СВЯЩЕННИК

Священник наш живет умно:
Водой не портит он вино,
И, славя милость бога,
Твердит племяннице (ей нет
Еще семнадцати): «Мой свет!
Что хлопотать нам много,
Грешно иль нет в селе живут?
Оставим черту этот труд!
Э! поцелуй меня,
Красавица моя!
Судить не будем строго!

Овцам служу я пастухом
И не хочу, чтоб им мой дом
Был страшен, как берлога.
Твержу я стаду своему:
Кто мирно здесь живет, тому
В рай не нужна дорога.—
На проповедь зову приход
Тогда лишь я, как дождь идет.
Э! поцелуй меня,
Красавица моя!
Судить не будем строго!

Запрета в праздник я не дам
Повеселиться беднякам:
Им радостей не много.
У кабачка их смех и гам
Порою слушаю я сам
С церковного порога.
А надо — побегу сказать,
Что меньше можно бы кричать.
Э! поцелуй меня,
Красавица моя!
Судить не будем строго!

Мне дела нет, что у иной
Плутовки фартучек цветной
Раздуется немного...
Полгодом свадьба запоздай,
До свадьбы бог младенца дай,—
Не велика тревога:
Венчаю и крещу я всех.
Не подымать же шум и смех!
Э! поцелуй меня,
Красавица моя!
Судить не будем строго!

Наш мэр философом глядит
И про обедню говорит,
Что толку в ней не много.
Зато еще без ничего
Ни разу нищий от его
Не отходил порога.
Над ним господня благодать:

Кто сеет, будет пожинать.
Э! поцелуй меня,
Красавица моя!
Судить не будем строго!

На каждый пир меня зовут;
Вином снабжают,— и несут
Цветов на праздник много.
Толкуй епископ, злой старик,
Что я чуть-чуть не еретик...
Чтобы на лоно бога
Я в рай попал и увидал
Там всех, кого благословлял,
Целуй, целуй меня,
Красавица моя!
Судить не будем строго!»

ТРАКТАТ О ПОЛИТИКЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ЛИЗЕ

О Лиза, милостию бога,
Перед которым все равны,
Ты царствуешь,— и все мы строго
Твоей красой покорены.
В любовниках и обсчитаться
Тебе легко: так много их.
Собьешься ль в чем, позволь смеяться
Для блага подданных твоих.

Как часто, теша самовластье,
Красавицы и короли
Вели любовников в несчастье,
Народ к отчаянью вели.
Не тронь мятежные стихии;
Храни свой будуар от них.
Не ведай, Лиза, тирании
Для блага подданных твоих.

Кокетством женщина похожа
На честолюбца, что идет —
В родном краю лишь горе множа —
Далекий покорять народ.

Что зол от одного каприза!
Примеров не забудь таких.
Побед не делай больше, Лиза,
Для блага подданных твоих.

К монархам доступ затрудняет
Толпа придворных,— и подчас
Он легче к женщине бывает
Под стражей двух ревнивых глаз.
Твой трон — постель, где неподкупна
Для лести воля нег ночных.
О Лиза, будь на нем доступна
Для блага подданных твоих.

Пусть хвалятся цари пред нами,
Что власть им небом вручена,—
Тебе господство над сердцами
Дала природа ли одна?
Да, скипетр в руки взять могла ты;
Но, хоть и создан он для них,
От нас принять его должна ты
Для блага подданных твоих.

Чтоб было все тебе послушно,
Ты в эти истины вникай;
Над нами царствуй благодушно
И наших прав не нарушай.
Венец из роз, любовью свитый,
Так свеж в кудрях твоих густых!
О, много лет его носи ты
Для блага подданных твоих!

МНЕНИЕ ЭТИХ ДЕВИЦ

Опять враги к нам на постой!
Так это правда? — Лишь нагрянут,
    Вверх дном все ставить станут.
Пале-Рояль, наш край родной,
    Так оживится!
Да и для нас расчет прямой.
Все наши говорят девицы:

«Как рады мы своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!»

С французов наших что и взять!
Где ж им сравниться с пруссаками?
Тем больше с казаками.
Им деньги стыдно и считать...
На всех нас стала
Цена вдруг быстро возрастать;
Блох некогда искать, бывало.
Как рады мы своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!

Так станем ждать их. Боже мой!
Опять увижу Тичакова,
Бюлова и Плятова.
И Сакен с нежною душой
Опять прибудет,
И этот Блюкер, душка мой...
Что наберут, все наше будет.
Как рады мы своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!

Когда завижу перья их,
Под такт трубам и барабану
Платком махать им стану.
Я из любовников своих
В лицо узнаю
Наверно сотни три меж них.
Окно к их встрече нанимаю.
Как рада я своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!

Как мы, немало честных дам,
Когда те в первый раз явились,
От них же поживились.
В гостиных к пылким казакам
Теснились с лестью,
Хоть наносить убытки нам
Не Сен-Жерменскому б предместью.
Как рады мы своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!

«Отлично все дела пойдут»,—
Аббат-кутила уверяет;
А он, конечно, знает...
Сожгут ли что, или убьют
Кого в народе,—
Еще беды немного тут;
А нас насилуй на свободе!
Как рады мы своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!

ПРИДВОРНЫЙ КАФТАН

Все наши принципы — химера!
Двор и меня уже пленил.
Обноски после камергера
В лоскутной лавке я купил.
Его высочество заняться
Изволил мной,— намек мне дан.
Как я доволен!
Я во дворец иду являться,
В придворный облачась кафтан.

От честолюбья нет покоя;
Мне грезится мой славный путь.
Шитье на платье золотое
Внушает — ниже спину гнуть.
Вот в зал меня с почетом вводят,
Стараясь угадать мой сан...
Как я доволен!
Его высочество выходят...
На мне придворный мой кафтан.

Я не завел еще кареты,—
Иду пешком. Вдруг предо мной
Толпа гуляк, друзей Лизеты,—
И тащат завтракать с собой.
«Не пропустить бы лишь парада! —
Твержу, попавшись к ним в капкан.—
Как я доволен!
К его высочеству мне надо.
Придворный видите кафтан?»

Лишь кончен завтрак, в путь я снова.
Навстречу старый добрый друг.
«Ты быть на свадьбе дал нам слово».
И я попал в знакомый круг.
Поют, смеются, веселятся;
Шампанским пенится стакан.
Как я доволен!
Но во дворец я шел являться;
На мне придворный мой кафтан.

Как мне ни весело с друзьями,
Спесь подзывает во дворец.
Иду нетвердыми шагами,—
И дотащился наконец.
В толпе неужто Роза это?
Ее походка, стройный стан.
Как я доволен!
Ей, сто́ящей всех сильных света,
Не нужен вышитый кафтан.

От двери, где ее смешило
Холопство глупой суетой,
Она меня сейчас сманила
В свой скромный уголок с собой.
У Розы мой кафтан расшитый
Мне душит грудь — в глазах туман.
Как я доволен!
Его высочество забыто,
И в угол брошен мой кафтан.

Простился я со спесью жалкой
И прочитал себе урок.
Вооружась дурацкой палкой,
Пойду петь песни в кабачок.
Подчас там можно и забыться:
На совести не будет ран.
Как я доволен!
Кто жаждет во дворец явиться,
Возьми придворный мой кафтан!

КОНЕЦ ПОЛИТИКЕ

Не брани меня ты строго,
Ненаглядная моя,
Что любви своей так много
Отдаю отчизне я.
Ты всегда скучать готова
От политики моей.
Успокойся; ни полслова
Не скажу теперь о ней.

Близ тебя еще недавно
Об искусствах речь я вел,
Детях вольности державной.
Но погас наш ореол,—
И, чтоб здесь расцвесть им снова,
Надо ждать времен других.
Успокойся; ни полслова
Не скажу теперь о них.

Несмотря на робость нрава,
После битв любви я смел
Петь тебе о битвах славы:
Наших воинов я пел.
Как их доблести суровой
Трусил сонм владык земных!
Успокойся; ни полслова
Не скажу теперь о них.

Цепь твою нося охотно,
Я свободу призывал,
И в твой лепет беззаботный
Рим и Грецию вплетал.
Хоть мне Титам нашим новым
Что-то верится с трудом,—
Успокойся; ни полсловом
Не промолвлюсь я о том.

Кто мог с Францией сравниться?
Все завидовали ей.
Ты могла ее страшиться
Как соперницы своей.
Но — увы! судьба сурово

Гасит свет надежд моих.
Успокойся; ни полслова
Не скажу теперь о них.

Да, мой друг, ты судишь здраво:
В мрак безвестности уйдем,
Позабудем голос славы
И на ложе нег уснем:
Для французов цепь готова
От своих и от чужих.
Успокойся; ни полслова
Не скажу теперь о них.

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

Хилой и некрасивый
Я в этот мир попал.
Затерт в толпе шумливой,
Затем, что ростом мал.
Я полон был тревогой
И плакал над собой.
Вдруг слышу голос бога:
«Пой, бедный, пой!»

Грязь в пешего кидают
Кареты, мчася вскачь;
Путь нагло заступают
Мне сильный и богач.
Нам заперта дорога
Везде их спесью злой.
Я слышу голос бога:
«Пой, бедный, пой»!

Вверять судьбе заботу
О каждом дне страшась,
Не по душе работу
Несу как цепь, смирясь.
Стремленья к воле много;
Но — аппетит большой.
Я слышу голос бога:
«Пой, бедный, пой!»

В любви была отрада
Больной душе моей;
Но мне проститься надо,
Как с молодостью, с ней.
Все чаще смотрят строго
На страстный трепет мой.
Я слышу голос бога:
«Пой, бедный, пой!»

Да, петь, теперь я знаю,
Вот доля здесь моя!
Кого я утешаю,
Не все ли мне друзья?
Когда приязни много
За чашей круговой,
Я слышу голос бога:
«Пой, бедный, пой!»

ПРОСТОЛЮДИН

В моей частичке *de* знак чванства,
Я слышу, видят; вот беда!
«Так вы из древнего дворянства?»
Я? нет; куда мне, господа!
Я старых грамот не имею,
Как каждый истый дворянин;
Лишь родину любить умею.
Простолюдин я; да, простолюдин,
Совсем простолюдин.

Мне надо бы без *de* родиться:
В крови я чувствую своей,
Что против власти возмутиться
Не раз пришлось родне моей.
Та власть, как жернов, все дробила,
И пал, наверно, не один
Мой предок перед буйной силой.
Простолюдин я; да, простолюдин,
Совсем простолюдин.

Мои прапрадеды не жали
Последний сок из мужиков,

С ножом дворянским не езжали
Проезжих грабить средь лесов;
Потом, натешась в буйстве диком,
Не лезли в камергерский чин
При... ну, хоть Карле бы Великом.
Простолюдин я; да, простолюдин,
Совсем простолюдин.

Они усобицы гражданской
Не разжигали никогда;
Не ими леопард британской
Вводим был в наши города.
В крамолы церкви не вдавался
Из них никто,— и ни один
Под лигою не подписался.
Простолюдин я; да, простолюдин,
Совсем простолюдин.

Оставьте ж мне мое прозванье,
Герои ленточки цветной,
Готовые на пресмыканье
Пред каждой новою звездой.
Кадите, льстите перед властью!
Всем общей расы скромный сын,
Я льстил лишь одному несчастью.
Простолюдин я; да, простолюдин,
Совсем простолюдин.

СТАРЫЙ СКРИПАЧ

Мудрецом слыву в селенье
Я, старик, скрипач простой,
Потому что от рожденья
Не пивал вина с водой.
Любо скрипкой на поляне
Молодежь мне созывать.
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

Встарь под этот дуб сходились
За советом, за судом.

Сколько раз враги мирились
Под густым его шатром!
Не слыхал он слова брани,
Видел только тишь да гладь.
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

О владельце знатном вашем
Пожалейте: в замке там
Как завидует он нашим
Незатейливым пирам!
Дружный смех тут на поляне;
Он один изволь скучать.
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

Не хулите тех, что с вами
Чтить священства не хотят,
А желайте, чтоб плодами
Был богат их луг и сад.
Вместе надо, христиане,
Не молиться, так гулять.
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

Если ниву родовую
Ты обнес вокруг плетнем,
Не топчи же и чужую
И не тронь своим серпом.
Будешь знать тогда заране,
Что в наследье детям дать.
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

После горя прожитого
Мир опять наш край живит:
Не гоните ж прочь слепого,
Что с дороги бурей сбит.
Скольким в этом урагане
Дом и кров пришлось терять!
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

Вот мое вам наставленье.
Здесь, в тени густых ветвей,
Дети, всем привет, прощенье!
Обнимитесь дружней!
На моей родной поляне
Должен вечно мир сиять.
Собирайтесь, поселяне,
Здесь под дубом поплясать!

Книга вторая
1816—1821

ПТИЦЫ

Зима несет опустошенье
Под наши кровли и в поля;
Знакомых птиц не слышно пенья:
Умчались в чуждые края.
Но пусть там ярче свет денницы,—
Они на родине душой.
Зимою изгнанные птицы
Опять воротятся с весной.

Судьба в изгнанье их послала.
Печально им,— печальней нам:
Их песни эхо повторяло
По бедным избам и дворцам.
Пусть их певучие станицы
Собой счастливят край иной,—
Зимою изгнанные птицы
Опять воротятся с весной.

А нас застигли здесь морозы,—
И нам завидна доля их:
Холодный север шлет угрозы;
Идет все больше туч седых.
Счастли́в, кто мог, как из темницы,
Отсюда упорхнуть живой!
Зимою изгнанные птицы
Опять воротятся с весной.

Как туч не будет на лазури,
Любовь их снова приманит,—
И дуб, не раз видавший бури,
Опять их дружно приютит.—
Чтоб возвестить восход денницы
И новый день стране родной,
Зимою изгнанные птицы
Опять воротятся с весной.

ДВЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Любите! это воля бога,
    Его святой закон.
Кто любит горячо и много,
    Тот и спасен.

Скончавшись строгою черницей,
Святая дева, у дверей
Пред раем, встретилась с певицей,
Звездой меж театральных фей.
Их жизнь прошла невозмутимо,
И обе вознеслись с земли —
Одна на крыльях серафима,
Другая на руках любви.

Любите! это воля бога,
    Его святой закон.
Кто любит горячо и много,
    Тот и спасен.

На страже Петр стоял пред раем...
С черницей «Ave» прочитал;
Потом актрисе: «Мы впускаем
Без исповеди», — он сказал.
Она ему: «Я не отпета
Священником,— зарыли так.
Но бог прости его за это:
Он в жизни не любил, бедняк!»

Любите! это воля бога.
    Его святой закон.

Кто любит горячо и много,
    Тот и спасен.

«Везде,—монахиня сказала,—
По хижинам и по дворцам
Страдальцам я приготовляла
Сердца́ врачующий бальзам».—
«Служили мне все боги наши,—
Актриса молвила, — но я
И бедняку из царской чаши
Давала сладкого питья».

Любите! это воля бога,
    Его святой закон.
Кто любит горячо и много,
    Тот и спасен.

«Да, часто, — дева говорила,—
Сменив священника собой,
На ложе смерти низводила
Я упованье и покой».—
«О, скольким было в обольщенье,—
Сказала нимфа,— легче жить!
Замена счастью — наслажденье.
Я заставляла жизнь ценить».

Любите! это воля бога,
    Его святой закон.
Кто любит горячо и много,
    Тот и спасен.

«Сердца ко благу направляя,—
Сказала дева, — к беднякам
Даянье богачей несла я,
Благословляемое там».—
«А скольких честных,— говорила
Актриса, — падавших в бою,
В ряды бойцов я возвратила,
Давая ласку им свою!»

Любите! это воля бога,
    Его святой закон.
Кто любит горячо и много,
    Тот и спасен.

«Войдите, добрые, войдите!—
Сказал им часовой небес.—
Любовью обе вы горите;
А большего не нужно здесь.
Бог всем открыл свои владенья,
Кто осушал потоки слез,
Под жестким ли венцом мученья,
Иль под венками пышных роз».

Любите! это воля бога,
Его святой закон.
Кто любит горячо и много,
Тот и спасен.

ЭТО НЕ ЛИЗЕТА

В шелку и в кружевах,
Как фея разодета,
С алмазами в ушах,—
Лизета, ты ли это?
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

В атласных башмаках
Тебе нужна карета;
Румянец на щеках
Искусственного цвета.
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

Дом роскошью блестит:
Нет скромного предмета;
Лионский шелк хранит
Постель твою от света.
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

Улыбка лишена
Открытого привета;
Ты стала так умна:
Все утверждают это.
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

Как роза ты цвела,
Когда вдали от света
Простой швеей была,—
Скромна, бедно одета.
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

Любовью ли была
Твоя постель согрета,
К тебе и дружба шла
Без спроса, без запрета.
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

Ты тешишь не любя
Отжившего скелета;
Он золотит тебя.
Да разве счастье это?
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

Жилье любви — чердак;
Ей скользок лоск паркета.
Вы стали важны так!
Ее пугает это.
Ах, нет, нет, нет!
Ты больше не Лизета.
Ах, нет, нет, нет!
Забудем имя это.

ЗИМА

Вновь зима идет сюда;
Гонит птиц, сердито воет
И покровом снежным кроет
И поля и города.
Все окно разрисовала
Мне цветами из кристалла.
Дверь на петлях завизжала;
Кот мой съежился клубком.
Ждать уж нечего: отныне
Надо жечь дрова в камине;
Надо греться пред огнем.

Не пускайся, странник, в путь;
А пошел, — вернись скорее!
Мой камин горит шумнее:
Ветер начал крепче дуть.
Не страшна мне здесь угроза
Ветра, снега и мороза:
Вот явилась в шубке Роза;
Греет, кутает меня.
Но ты рук не отогрела;
На мои б колени села,
Роза, греться у огня!

Смерклось; ночь густую тень
Над снегами расстилает.
Нас любовь благословляет:
Ради нас уходит день.
Но к нам в гости, распевая,
Входит пара молодая:
Друг, красавица живая...
Славно вечер проведем!
Стужи нечего страшиться:
Чтоб попарно разместиться,
Станем греться пред огнем.

Вот нескромный лампы свет
Наши ласки прекращает.
Роза скатерть расстилает;
На столе вино, пастет.
Друг пустился в изложенье

Им прочтенного творенья
Про воров и привиденья;
Смех не молкнет за столом.
Кончен ужин; пунш пылает.
Но пока он поспевает,
Станем греться пред огнем.

Пусть, как в саван, облачит
В снег и лед зима природу,
Шлет к нам вихри, непогоду,—
Наших песен не смутит.
Здесь весна любви над нами
Веет тихими крылами,
Незнакомая с грозами,
Неразлучная с добром.
От морозов мы запремся
И, пока цветов дождемся,
Станем греться пред огнем.

МАРКИЗ КАРАБÀ

О, с какой грозой
Прибыл наш маркиз домой!
(А на кляче он
Из чужих плелся сторон.)
Всем грозя кругом
Девственным мечом,
Шествует герой
В старый замок свой.
Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

«Эй, сбирайтесь вмиг,
Кастелан, вассал, мужик!
Я, — гласит он, — я,
Я восставил короля.
Власти лишь моей
Трогать он не смей:
Счет тогда со мной—
Черт возьми! — иной».

Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

«Кто-то слух пустил,
Что мой предок — мельник был.
Вздор! главою нам
Был Пипин Короткий сам.
По гербу судя,
Думаю, что я
Родом поважней
Наших королей».
Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

«Кто другой здесь есть,
Чтобы смел при троне сесть?
Метит сын меньшой
Быть епископом; другой,
Старший сын, барон,
Хоть не воин он,
Будет в орденах
И в больших чинах».
Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

«Станем мирно жить...
Что?.. Я — подати платить?
Иль я мещанин?
Иль мужик? Я дворянин.
Есть вкруг замка вал,
Есть в нем арсенал...
Где префект ваш? С ним
Мы поговорим!»
Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

«Мы за церковь мстим:
Сбор церковный разделим
Пополам. Народ
Все снесет, как вьючный скот.
Дичь — для нас в лесах;
Девки в деревнях...
Их мы брать непрочь

В первую их ночь».
Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

«Поп, встречать иди!
Мне, как следует, кади!
Эй, пажи, псари!
Мужиков трави, пора!
Всё из прав святых
Прадедов моих
Перешло вполне
По наследству мне».
Шапки все долой со лба!
Честь маркизу Караба!

МОЯ РЕСПУБЛИКА

Люблю республику — не скрою,—
Взглянув на стольких королей.
Хоть для себя ее устрою
И сочиню законы ей.
Лишь пить считается в ней делом;
Один в ней суд — веселый смех;
Мой стол накрытый — ей пределом;
Ее девиз — свобода всех.

Друзья, придвиньтесь ближе к чашам!
Сенат наш будет заседать...
И первым же указом нашим
Нам скуку следует изгнать.
Изгнать? Нет, здесь произноситься
И слово это не должно.
Как может скука к нам явиться?
С свободой радость заодно.

Здесь роскоши не будет тени:
У ней ладов с весельем нет.
Для мысли — никаких стеснений,
Как Бахус дельный дал совет.
Пусть каждый верует как знает,
И молится как хочет сам;

Хоть у обедни пусть бывает...
Так говорит свобода нам.

Дворянство к власти все стремится:
О предках умолчим своих.
Здесь титлов нет, хоть отличится
Иной — и выпьет за троих.
А если злостная затея
Кому придет — стать королем,
Споимте Цезаря скорее;
Свободу этим мы спасем.

Так чокнемтесь! Пусть год от году
Цветет республика у нас!
Но чуть ли мирному народу
Уж не ударил грозный час:
Лизета вновь нас призывает
Под иго страсти; как нейти!
Она здесь царствовать желает...
Свободе говори «прости!»

ПАЯЦ

Паяцем быть родился я.
Отец, чтоб дать мне ходу,
Пинком спровадил в мир меня...
«Ломайся всем в угоду!
Хоть отрастил брюшко,
Но скачешь ты легко
И мастер кувыркаться.
Для всех, паяц, скачи!
Разузнавать не хлопочи,
Пред кем пришлось ломаться!»

Мать, снаряжая в путь сынка,
Собственноручно сшила
Одежу мне из тюфяка.
«Он долго,— говорила,—
Служил мне. Делай в нем,
Что делала на нем
И я, чтоб пропитаться.

Для всех, паяц, скачи!
Разузнавать не хлопочи,
Пред кем пришлось ломаться!»

Мне скоро встретиться бог дал
С особой августейшей,—
И во дворце я место взял
Собачки околевшей.
Как начал я скакать,—
С собакой ли сравнять?..
Завистники косятся.
Для всех, паяц, скачи!
Разузнавать не хлопочи,
Пред кем пришлось ломаться!

Я сладко ел... Вдруг слух идет,
Что из дурного теста
Мой господин и что займет
Законный это место.
Что ж! Тот меня кормил...
И этот будет мил,—
Лишь надо постараться.
Для всех, паяц, скачи!
Разузнавать не хлопочи,
Пред кем пришлось ломаться!

Лишь стал пред новым я скакать,
Вдруг прежний воротился.
Поесть люблю я,— и опять
Пред ним скакать пустился.
Но снова выгнан он,
И новый сел на трон.
С судьбою где ж тягаться!
Для всех, паяц, скачи!
Разузнавать не хлопочи,
Пред кем пришлось ломаться!

Кто ни приди, мне все равно:
Скакать для всех сумею.
Зато пью славное вино,
Ем сытно — и толстею.
Повсюду скакуны
(Не все лишь так умны)

У нас в краю плодятся.
Для всех, паяц, скачи!
Разузнавать не хлопочи,
Пред кем пришлось ломаться!

МОЯ ДУША

Порой бокал свой осушая
В веселом дружеском пиру,
Грядущим дням не доверяя,
Люблю я думать, как умру.
Мне грезятся предсмертные мгновенья,
Хотя вокруг живые голоса...
Душа моя! лети без сожаленья;
С улыбкой вознесись на небеса.

Ты примешь образ серафима,
В сиянье станешь утопать,
И радостью невозмутимой
Там будет песнь твоя звучать.
Там встретишь мир: его благословенья
С земли спугнула наших войн гроза.
Душа моя! лети без сожаленья;
С улыбкой вознесись на небеса.

Пал под ударами невзгоды
Наш Илион, дививший свет.
Зачем свой жертвенник свободы
Он превратил в алтарь побед?
К нам нес Терсит обиды, оскорбленья
И наглость отвязавшегося пса.
Душа моя! лети без сожаленья;
С улыбкой вознесись на небеса.

Найдешь ты в сферах над громами
Своих, умерших в добрый час:
Там сохранилося их знамя
От грязи, падавшей на нас.
С полубогами вступишь ты в общенье;
Тебе подвластна будет там гроза.

Душа моя! лети без сожаленья;
С улыбкой вознесись на небеса.

Свобода прочно основала
Свое господство в небесах.
Одна любовь лишь помогала
Мне в этом мире жить в цепях;
Но я боюсь ее исчезновенья:
У узника белеют волоса...
Душа моя! лети без сожаленья;
С улыбкой вознесись на небеса.

Покинь мир горя и проклятий;
Луч света, в мир лучей лети!
Из женских сладостных объятий
На лоно бога перейди.
Отходной будет круговое пенье;
Рука друзей закроет мне глаза.
Душа моя! лети без сожаленья;
С улыбкой вознесись на небеса.

ВАРВАРИЙСКИЙ СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ

Провозглашен союз священный:
По воле неба непременной
Взаимный заключили мир
Тунис, Марокко и Алжир.
Царям их, доблестным корсарам,
Сулит он выгоды недаром.
Цвети, тройной союз и мир!
Ура, Тунис, Марокко и Алжир!

Цари, вступив в союз священный,
Решили с тонкостью отменной
Не делать порознь ничего:
«Будь двадцать против одного!»
К ним, несмотря на разность кожи,
Примкнет Христоф, как слышно, тоже.
Цвети, тройной союз и мир!
Ура, Тунис, Марокко и Алжир!

Нам всем велит союз священный
Его законы чтить смиренно:
Читать Бональда, Алкоран,
И то, что пишет граф Ферран.
Вольтер же — нет сомненья в этом —
У варварийцев под запретом.
Цвети, тройной союз и мир!
Ура, Тунис, Марокко и Алжир!

Французы! в их союз священный
Пошлемте как залог бесценный
Всех старых, новых цензоров,
Судей, чиновников, попов.
С такими верными слугами
Пойдет там лучше торг рабами.
Цвети, тройной союз и мир!
Ура, Тунис, Марокко и Алжир!

Коль усмотрел союз священный,
Что где-нибудь король почтенный
Свалился с трона,— вмиг на трон
Посажен будет снова он;
Но пусть заплатит все расходы
На сено, провиант, походы.
Цвети, тройной союз и мир!
Ура, Тунис, Марокко и Алжир!

При этом наш союз священный
Иметь желает непременно
Гребцов галерных, да немых:
Царям-пиратам как без них?
Но для полнейшего их лада
Народы евнухов им надо.
Цвети, тройной союз и мир!
Ура, Тунис, Марокко и Алжир!

МОЙ УГОЛОК

Мириться с светом — труд напрасный;
В свой уголок уйду мечтать.
Друзья, успел один несчастный

Из вашей каторги бежать.
В просторе, где мечтой блуждаю,
Как бедуин свободен я.
Друзья, оставьте, умоляю,
Вы в уголке моем меня.

Здесь цепи и права народа
Я смело на весы кладу;
Лью слезы по тебе, свобода,—
И предаю царей суду;
В грядущем всем предвозвещаю
Восход негаснущего дня.
Друзья, оставьте, умоляю,
Вы в уголке моем меня.

Свой жезл мне здесь вручают феи —
Творить добро, лечить печаль.
Готовя чудные трофеи,
Дворцы переношу я вдаль.
Кого на трон я помещаю,
Тому народ его — семья.
Друзья, оставьте, умоляю,
Вы в уголке моем меня.

Здесь мысль взлетает в мир надзвездный
Крылатым ангелом с земли...
Под нею в пламя адской бездны
Валятся наши короли.
Как верный сын родному краю
Изъят один лишь из огня.
Друзья, оставьте, умоляю,
Вы в уголке моем меня.

Здесь слышит бог мои желанья
Добра стране моей родной.
Уважьте же мои мечтанья;
Я свету вашему чужой.
Здесь музы берегут, я знаю,
Покой ночей моих и дня.
Друзья, оставьте, умоляю,
Вы в уголке моем меня.

НЕЗАВИСИМЫЙ

Рабы тщеславия и моды,
Не вам кичиться предо мной:
Я независим; дар свободы
Мне бедность принесла с собой.
Одной лишь ею вдохновляться
Давно привыкла песнь моя.
Лизета только вправе улыбаться,
Когда скажу, что независим я,—
Да, независим я.

Всем вашим рабским чужд наукам,
Брожу я в свете дикарем.
С веселостью и метким луком
Ничьим не буду я рабом:
Довольно стрел, чтоб защищаться,
Кует сатира для меня.
Одна Лизета вправе улыбаться,
Когда скажу, что независим я,—
Да, независим я.

Для всех смешно, что в Лувре можем
Мы услыхать холопский хор
Пред каждым царственным прохожим
Чрез постоялый этот двор;
А есть глупцы, что лирой тщатся
Добыть подачку для себя.
Одна Лизета вправе улыбаться,
Когда скажу, что независим я,—
Да, независим я.

Не каждая ли власть есть бремя?
Несносна доля королей:
Держи чужую цепь все время.
Их пленным, право, веселей.
Могу ль я властью увлекаться,
Любовь ответит за меня.
Одна Лизета вправе улыбаться,
Когда скажу, что независим я,—
Да, независим я.

В ладу с судьбою, данной небом,
Иду, куда мне путь лежит;
Пою, богат насущным хлебом,
В надежде быть и завтра сыт.
День кончен: нечем сокрушаться,
Когда постель манит меня.
Одна Лизета вправе улыбаться,
Когда скажу, что независим я,—
Да, независим я.

Но Лиза, вижу я, готова,
Во всеоружье красоты,
Надеть мне брачные оковы,
Рассеять гордые мечты.
Нет, нет! я не могу поддаться;
Мне воля дорога моя.
Будь Лиза вечно вправе улыбаться,
Когда скажу, что независим я,—
Да, независим я.

ДОБРАЯ СТАРУШКА

Увянешь ты, подруга дорогая,
Состаришься; в могиле буду я:
Вдвойне мне дни погибшие считая,
Уходит жизнь. Переживи меня;
Не ведая ни скорби, ни недуга,
Останься верным сердцем мне близка
И доброю старушкой песни друга,
Как прежде, напевай у камелька.

Когда, найдя под старыми чертами
Следы воспетой мною красоты,
Тебя обступят юноши с словами:
«Кто этот друг, по ком горюешь ты?» —
Рассказывай им в тихий час досуга,
Как я любил, как жизнь была ярка,
И доброю старушкой песни друга,
Как прежде, напевай у камелька.

Коль спросят: «Что тебе в нем было мило?» —
«Его любила я»,— ты дашь ответ.

«И никогда в нем зла не находила?»
Ты с гордостью на это скажешь: «Нет!»
Припомни, как среди родного круга
Касалась нежно струн моя рука,
И доброю старушкой песни друга,
Как прежде, напевай у камелька.

Над Францией со мной лила ты слезы,—
И новым поколеньям передай,
Что славы и надежд святые грезы
Я пел, чтоб утешать родной наш край.
Напоминай им, как жестоко вьюга
Губила лавры нашего венка,
И доброю старушкой песни друга,
Как прежде, напевай у камелька.

Когда тебя обрадует порою
Молва о славе друга давних лет,
Когда весной ты слабою рукою
Сорвешь цветок — украсить мой портрет,—
Взор обращай в тот мир, моя подруга,
Где нас с тобой соединят века,
И доброю старушкой песни друга,
Как прежде, напевай у камелька.

МАРКИТАНТКА

Я маркитантка полковая;
Я продаю, даю и пью
Вино и водку, утешая
    Солдатскую семью.
Всегда проворная, живая...
Звени ты, чарочка моя!
Всегда проворная, живая,—
    Солдаты, вот вам я!

Меня герои наши знали.
Ах, скольких гроб так рано взял!
Меня любовью осыпали
    Солдат и генерал;
Добычей, славой наделяли...

Звени ты, чарочка моя!
Добычей, славой наделяли.
    Солдаты, вот вам я!

Все ваши подвиги я с вами
Делила, поднося вам пить.
Победу — знаете вы сами —
    Могла я освежить:
В бой снова шли вы молодцами...
Звени ты, чарочка моя!
В бой снова шли вы молодцами.
    Солдаты, вот вам я!

Я с самых Альпов вам служила.
Мне шел пятнадцатый лишь год,
Как я вам водку подносила
    В египетский поход.
Потом и в Вене я гостила...
Звени ты, чарочка моя!
Потом и в Вене я гостила.
    Солдаты, вот вам я!

Была пора то золотая
Торговли и любви моей.
Жаль, мало в Риме пробыла я.—
    Всего лишь восемь дней,—
У папы служек развращая...
Звени ты, чарочка моя!
У папы служек развращая.
    Солдаты, вот вам я!

Я больше пользы оказала,
Чем пэр любой, родной земле:
Хоть дорогонько продавала
    В Мадриде — и в Кремле;
Но дома даром я давала...
Звени ты, чарочка моя!
Но дома даром я давала.
    Солдаты, вот вам я!

Когда была нам участь брани
Числом лишь вражьим решена,
Я вспомнила о славной Жанне:

Будь тем я, чем она,
Как побежали б англичане!
Звени ты, чарочка моя!
Как побежали б англичане.
Солдаты, вот вам я!

Коль старых воинов встречаю,
Которым довелось страдать
За службу их родному краю
И выпить негде взять,—
Я цвет лица им оживляю...
Звени ты, чарочка моя!
Я цвет лица им оживляю.
Солдаты, вот вам я!

Награбив золота чужого,
Враги еще заплатят нам.
Наступит день победы снова,—
И ждать недолго вам!
Я прозвонить вам сбор готова...
Звени ты, чарочка моя!
Я прозвонить вам сбор готова.
Солдаты, вот вам я!

ИЗГНАННИК

В кругу подруг веселых
Из девушек одна
Сказала: «В наших селах
Всем радостна весна.
Но между нами бродит
Пришелец, нам чужой,
И грустно песнь заводит
О стороне родной.
Как брата примем странника,
С любовью приютим;
Пусть будет для изгнанника
Наш край родным.

Над быстрою рекою,
Что к Франции бежит,

Поникнув головою,
Сидит он и грустит.
Он знает, эти воды
Туда спешат скорей,
Где зеленеют всходы
Его родных полей.
Как брата примем странника,
С любовью приютим;
Пусть будет для изгнанника
Наш край родным.

Оплакивая сына,
Быть может мать его
В ногах у властелина
Там молит за него;
А он, судьбой неправой
Покинут в грозный миг,
Бежит с своею славой
От зла земных владык.
Как брата примем странника,
С любовью приютим;
Пусть будет для изгнанника
Наш край родным.

Он без приюта бродит
Среди чужих полей;
Но не везде ль находит
След доблести своей?
Как вся страна объята
Была у нас войной,
Здесь кровь его когда-то
Лилась за край родной.
Как брата примем странника,
С любовью приютим;
Пусть будет для изгнанника
Наш край родным.

Когда от бурь военных
Наш бедный край страдал,
Он, слышно, наших пленных
Как братьев принимал.
Напомним время славы
Ему в печальный час;

Пусть он найдет забавы,
Найдет любовь у нас.
Как брата примем странника,
С любовью приютим;
Пусть будет для изгнанника
Наш край родным.

Когда привет наш примет
И к нам он в дом войдет,
Свою котомку снимет,
Приляжет и заснет,—
Пусть свой напев любимый
Услышит он сквозь сон:
Наверно, край родимый
Во сне увидит он.
Как брата примем странника,
С любовью приютим;
Пусть будет для изгнанника
Наш край родным».

ПРИРОДА

Богата негой жизнь природы,
Но с негой скорби в ней живут.
На землю черные невзгоды,
Потоки слез и крови льют.
Но разве все погибло, что прекрасно?
Шлют виноград нам горы и поля.
Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля.

Везде потопы бушевали.
Есть страны, где и в наши дни
Людей свирепо волны гнали...
В ковчеге лишь спаслись они.
Но радуга сменила день ненастный,
И голубь с веткой ищет корабля.
Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля.

Готовя смерти пир кровавый,
Раскрыла Этна жадный зев.

Все зашаталось; реки лавы
Несут кругом палящий гнев.
Но, утомясь, сомкнулся зев ужасный;
Волкан притих; и не дрожат поля.
Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля.

Иль мало бедствий нас давило?
Чума несется из степей;
Как коршун, крылья распустила
И дышит смертью на людей.
Но меньше жертв,— вольней вздохнул несчастный;
Идет любовь к стенам госпиталя.
Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля.

Война! Затеян спор ревнивый
Меж королей,— и бой готов.
Кровь сыновей поит те нивы,
Где не застыла кровь отцов.
Но пусть мы к разрушению пристрастны,
Меч устает; мир сходит на поля.
Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля.

Природу ли винить за грозы?
Идет весна,— ее поем.
Благоухающие розы
В любовь и радость мы вплетем.
Как рабство после воли ни ужасно,
Но будем ждать, надежды всех деля.
Течет вино, улыбки женщин ясны,—
И вновь утешена земля.

ГРОЗА

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

Вам любо отдыхать, малютки,
От скучной школы средь полей.
Как беззаботны ваши шутки!
Как рады воле вы своей!
Пусть бедный мир наш снова
Ждет бедствий и тревог,
Пусть гром ворчит сурово,
Плетите ваш венок!

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

По туче молния змеится;
Она ваш взгляд не привлекла,
Таясь, в кустах примолкла птица;
А ваша песня весела.
Что дню недолго тмиться,
Я верю, видя вас;
Свет скоро отразится
В лазури ваших глаз.

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

Отцы ли ваши не страдали!
Они, ввиду измены злой,
Одной рукой оковы рвали,
Другой дрались за край родной.
Их честь не запятналась
Паденьем роковым.
Вам слава их осталась;
В ней было счастье им.

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

При трубных похоронных звуках
Родиться присудил нам рок;
Вам возвестил о наших муках
Сам враг, трубя в свой медный рог.
Еще гремели сшибки
С врагом. Он плен к нам нес,—
И ваших уст улыбки
Мы видели сквозь слез.

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

Вы совладеете с грозами,
В которых истощились мы:
Блеск молний, вившихся над нами,
Нас озарил средь нашей тьмы.
Пусть тучи тяготеют,
И прежний страх в нас жив,—
Для вас в Грядущем зреют
Посевы наших нив.

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

Гроза, о дети, недалеко:
За молньей снова грянул гром.
Вас не страшат угрозы рока;
Но я — я стал уж стариком.
Быть может, под громами
Я песнь не допою...
Украсите ль цветами
Могилу вы мою?

Резвитесь, дети, и играйте!
Ваш возраст — светлая весна;
Гроза вам не страшна.
Играйте, дети,— слез не знайте!
Надеждой даль ясна.

НАВУХОДОНОСОР

Библейские сюжеты в моде.
Попробую воспеть я в оде
Царя, что стал быком (тогда
Довольно новая черта).
Все при дворе в восторге были;
Торговцы лестью возгласили,
Слиясь в один хвалебный хор:
«Ура, Навуходоносор!»

Царь замычал. «Ах, как прекрасно!
О государь, взгляните ясно! —
Ему твердят, клоня главы,—
В Египте богом были б вы.
Как без рогов, так и с рогами
Вам можно чернь топтать ногами».
Гласи же громче, верный хор:
«Ура, Навуходоносор!»

Царю пришлось по нраву стойло;
И корм понравился, и пойло.
«Чем,— думал,— я не божество?»
Глупцы острили за него,—
И есть в одной из дедикаций,
Что им проглочен весь Гораций.
На арфах грянь, согласный хор:
«Ура Навуходоносор!»

«Совет министров собирался;
Царь вместе с ними занимался —
И не дремал, хотя зевал»,—
Халдейский извещал журнал.
А царедворцы со слезами:
«Не царь, отец нам дан судьбами!»
На арфах грянь, согласный хор:
«Ура, Навуходоносор!»

Когда он вынюхал весь ладан,
Ему урок был тяжкий задан:
Поповский и дворянский род,

Чтоб лучше жать и мять народ,
Царя — коль верить старой были —
К себе в оглобли заложили.
На арфах грянь, согласный хор:
«Ура, Навуходоносор!»

Не снес народ,— царя сгоняет;
Другому (хуже?) власть вручает.
А двор, недолго говоря,
На вертел падшего царя.
Да и попы (прости им, боже!)
Весь пост им лакомились тоже.
На арфах грянь, согласный хор:
«Ура, Навуходоносор!»

Певцы, за деньги нанятые,
Творцы трагедий покупные!
Возьмитесь-ка за мой сюжет:
В цензуре вам препятствий нет.
Чтоб возле трона подслужиться,
Подчас и библия годится.
На арфах грянь, согласный хор:
«Ура, Навуходоносор!»

ПРОЩАНЬЕ С ПОЛЯМИ

Как кротко-ласково осеннее светило!
Как блеклый лес шумит и в глубь свою зовет!
Уже надежды нет, чтоб ненависть простила
Мои напевы мне и смелый их полет.
Здесь навещал меня мечтаний рой прекрасный;
Здесь слава мне порой шептала свой обет.
О небо, раз еще пошли мне луч свой ясный!
Даль рощи, повтори прощальный мой привет!

Зачем не пел я так, как птица меж ветвями?
Как был бы волен здесь я с песнею своей!
Но родина моя — унижена врагами —
Клонила голову под иго злых людей:

Стихами колкими я мстил за край несчастный.
Лишь для стихов любви преследований нет.
О небо, раз еще пошли мне луч свой ясный!
Даль рощи, повтори прощальный мой привет!

Их ярость скудных средств меня уже лишила;
Теперь грозят судом веселости моей.
Святою маскою их злость лицо покрыла:
Заставлю ль их краснеть я прямотой своей?
Пред божествами лжи преступник я опасный;
Пред богом истины вины за мною нет.
О небо, раз еще пошли мне луч свой ясный!
Даль рощи, повтори прощальный мой привет!

Величье наше пел я над его могилой,
О славе вспоминал в надгробной песне я;
Но — неподкупная — перед победной силой
Убийства государств хвалила ль песнь моя?
Когда давал ты, лес, мне свой приют прекрасный,
Империю ль я пел? ее ли солнце? Нет!
О небо, раз еще пошли мне луч свой ясный!
Даль рощи, повтори прощальный мой привет!

Надеясь мне нанесть позор и униженье,
Пусть цепи для меня вымеривает суд!
В цепях и Франция. Оковы, заточенье
В ее глазах венец моим стихам дадут.
Пусть за окном тюрьмы мерцает день ненастный:
Мне слава принесет свой радующий свет.
О небо, раз еще пошли мне луч свой ясный!
Даль рощи, повтори прощальный мой привет!

Не навестишь ли ты мой угол, Филомела?
Когда-то от царя терпела горе ты...
Пора: тюремщик ждет; ему так много дела!
Прощайте, нивы, лес, долины и цветы!
Готовы цепи мне; но я душою страстной
Свободе гимн пою, храня ее завет.
О небо, раз еще пошли мне луч свой ясный!
Даль рощи, повтори прощальный мой привет!

Книга третья

1822—1828

СВОБОДА

Лишь тронул цепь рукою,
Погасла страсть моя:
Свободу всей душою
Возненавидел я.
    Что за свобода!
    К чему свобода!

Давнишней верен роли,
Наш мудрый трибунал
Мне рабства и неволи
Законность доказал.
    Что за свобода!
    К чему свобода!

Ей не дождаться ярых
Моих стихов,— о нет!
Она в пеленках старых
Доныне держит свет.
    Что за свобода!
    К чему свобода!

От дерева цивизма
Осталась нам одна
Дубина деспотизма,—
И нелегка она.
    Что за свобода!
    К чему свобода!

Нигде ей нету хода:
Сам Тибр не разберет
Пот вольного народа
От папских нечистот.
    Что за свобода!
    К чему свобода!

Кто смысл имеет ясный
И хочет рассуждать,

Тот каторжник несчастный,
Посмевший бунтовать.
Что за свобода!
К чему свобода!

Как милы мне оковы
И сторожа мои!
Пусть этот клич мой новый
Снесут и в Лувр они:
Что за свобода!
К чему свобода!

ТЕНЬ АНАКРЕОНА

«Мы победили! — молвил юный грек,
Кладя венки на свежие могилы.—
Покиньте Стикс! мы повторим ваш век,
О полубоги, древних дней светилы!»
И пред собой в лучах утра
Он видит призрак, слышит пенье:
«Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!

Мне жизнь была, о греки, сладкий сон
При ваших предках, гнавших прочь печали.
Когда на их пирах Анакреон
Им пел любовь, они цепей не знали.
Душе, не жаждущей добра,
Чужда любовь и вдохновенье.
Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!

Все так же к небесам летит орел;
Песнь соловья полна все так же чувства...
А где же ваш, о греки, ореол:
Законы, слава, боги и искусства?
Природа так же все щедра;
А пир ваш глух и нем без пенья.

Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!

Иди же, грек, сражаться, побеждать!
Рви цепь свою! Проснулся страх в тиранах.
Недолго будет варвар сладко спать
На ложе роз твоих благоуханных.
Недолго с данью серебра
Ему брать дев на униженье.
Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!

Довольно, греки, потуплять глаза,
Довольно вам краснеть пред древней славой!
Помогут правой мести небеса,
Вернется слава... Мчитесь в бой кровавый!
И почва будет вновь щедра:
Ей кровь тиранов — удобренье.
Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!

Берите у соседей только меч;
Их рук не нужно, скованных цепями.
Гром Зевса будет с вами в вихре сеч!
Звезда Киприды всходит над полями;
Вин искрометная игра
Ждет победивших из сраженья.
Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!»

Исчезла тень певца. Свой тяжкий плен
Клянут грозней, с мечом в руках, эллины.
Дрожат надеждой камни ваших стен,
Коринф и Фивы, Спарта и Афины!
Тьму ночи гонит свет утра,
И ваших дев нам слышно пенье:
«Пора на родину, пора,
Дитя Свободы, Наслажденье!
Пора!»

БОГИНЯ

*К женщине, олицетворявшей Свободу
на одном из празднеств Революции*

Тебя ль я видел в блеске красоты,
Когда толпа твой поезд окружала,
Когда бессмертною казалась ты,
Как та, чье знамя ты в руке держала?
Ты прелестью и славою цвела;
Народ кричал: «Хвала из рода в роды!»
Твой взор горел: богиней ты была,
Богиней Свободы.

Обломки старины топтала ты,
Окружена защитниками края;
И пели девы, сыпались цветы,
Порой звучала песня боевая.
Еще дитя, узнал я с первых дней
Сиротский жребий и его невзгоды,—
И звал тебя: «Будь матерью моей,
Богиня Свободы!»

Что темного в эпохе было той,
Не понимал я детскою душою,
Боясь лишь одного, чтоб край родной
Не пал под иноземною рукою.
Как всё рвалось к оружию тогда!
Как жаждало военной непогоды!
О, возврати мне детские года,
Богиня Свободы!

Чрез двадцать лет опять уснул народ —
Волкан, потухший после изверженья;
Пришелец на весы свои кладет
И золото его и униженье.
Когда, в пылу надежд, для красоты
Мы воздвигали жертвенные своды,
Лишь грезой счастья нам явилась ты,
Богиня Свободы.

Ты ль это, божество тех светлых дней?
Где твой румянец? гордый взгляд орлицы?
Увы! не стало красоты твоей.
Но где же и венки; и колесницы?

Где слава, доблесть, гордые мечты,
Величие, дивившее народы?
Погибло все,— и не богиня ты,
Богиня Свободы.

ЛАСТОЧКИ

В плену у племени чужого,
Гляжу с тоской в окно тюрьмы.
Явились, ласточки, вы снова
Из дальних стран, боясь зимы.
Не прилетела ль ваша стая
Сюда к теплу, сюда к весне
Из моего родного края?
Ах, не о родине ль щебечете вы мне?

Три года я молю в неволе
Вас побывать в долине той,
Где мирно жил я, в тихой доле
Надеждой тешась молодой.
У речки, где листвою темной
Сирени клонятся к волне,
Вы не видали ль домик скромный?
Не о долине ль той щебечете вы мне?

Быть может, родилась иная
Из вас под кровлей, мне родной.
Что мать моя? Лежит больная,
И все-то сына ждет домой,
Все не дождется... «Кто-то скачет!
Не он ли это на коне?»
Послушает,— потом поплачет.
Не о любви ль ее щебечете вы мне?

Что, не при вас ли выдавали
В замужство младшую сестру?
Вы громких песен не слыхали
У ней на свадебном пиру?
Что сверстники мои, со мною
Служившие в святой войне?
Вернулся ль кто домой из бою?
Не о друзьях ли весть щебечете вы мне?

По теплым трупам их, быть может,
В долину нашу враг идет;
Покой сестры моей тревожит,
Свой произвол в наш дом несет.
В могиле спит моя родная,—
И всюду цепи на земле.
О ласточки родного края!
Не о его ль скорбях щебечете вы мне?

УЗНИК

«Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!»

Так узник пел из-за решетки
Тюремной башни над водой:
Он видел,— каждый день на лодке
Являлась дева под стеной.

«Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!

Я молод; тяжки эти своды.
В тьме заточенья своего,
Что день, страстнее — как свободы —
Я жду явленья твоего.

Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!

Твой милый образ отражает
С любовью зеркало волны.
О, что твой парус направляет?
Любовь? Иль только дух весны?

Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!

Надеждой веет надо мною...
Меня рука твоя спасет!
Освобожденного тобою
Везде с тобою счастье ждет.

Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!

Ты легкий челн свой замедляешь,—
И слезы у тебя в глазах...
Но, как надежда, ускользаешь
Ты вновь,— и я умру в цепях.

Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!

Меня схоронят эти своды...
Но нет,— ты машешь мне рукой.
Светило жизни и свободы
Заблещет завтра надо мной!

Царица волн, ты будишь чудным пеньем
Молчанье скал, ведя свой быстрый челн.
В огне лучей, под вешним дуновеньем
Горит залив. Плыви, царица волн!»

СМЕРТЬ САТАНЫ

Чтоб просветить моих собратий,
Я чудо расскажу для них:
Его свершил святой Игнатий,
Патрон всех остальных святых.
Он штукой, ловкой для святого

(В другом была б она гнусна),
Устроил смерть для духа злого,—
И умер, умер Сатана!

Святой обедал. Бес явился:
«Пьем вместе или тотчас в ад!»
Тот очень рад; но изловчился
Влить в рюмку освященный яд.
Бес выпил. В пот его кидает;
Упал он; жжет его с вина.
Как еретик, он издыхает...
Да, умер, умер Сатана!

Монахи взвыли в сокрушенье:
«Он умер! Пал свечной доход.
Он умер! За поминовенье
Никто гроша не принесет».
В конклаве все в унынье впали...
«Погибла власть! прощай казна!
Отца, отца мы потеряли...
Ах, умер, умер Сатана!

Лишь страх вселенной управляет:
Он сыпал нам свои дары.
Уж нетерпимость угасает;
Кто вновь зажжет ее костры?
Все ускользнут из нашей лапы,
Всем будет Истина ясна,
Бог станет снова выше папы...
Ах, умер, умер Сатана!»

Пришел Игнатий: «Я решился
Его права и место взять.
Его никто уж не страшился;
Я всех заставлю трепетать.
Откроют нам карман народный
Убийство, воровство, война.
А богу то, что нам негодно,—
Хоть умер, умер Сатана!».

И все кричат: «В беде суровой
Спасенье нам в его руках!»

Своею рясой орден новый
Внушает даже небу страх.
Там ангелы поют в смущенье:
«Как участь смертного темна!
Ад у Игнатья во владенье...
Ах, умер, умер Сатана!»

НЕГРЫ И КУКЛЫ

В продажу негров через море
Вез португальский капитан.
Они как мухи гибли с горя.
Ах, черт возьми! какой изъян!
«Что,— говорит он им,— грустите?
Не стыдно ль? Полно хмурить лбы!
Идите, кукол посмотрите;
Рассейтесь, милые рабы».

Чтоб черный люд не так крушился,
Театр воздвигли подвижной,—
И вмиг Полишинель явился.
Для негров этот нов герой;
В нем все им странно показалось.
Но — точно — меньше хмурят лбы;
К слезам улыбка примешалась.
Рассейтесь, милые рабы.

Пока Полишинель храбрился,
Явился страж городовой.
Тот палкой хвать — и страж свалился.
Пример расправы недурной!
Смех вырвался из каждой груди;
Забыты цепи, гнет судьбы:
Своим бедам неверны люди.
Рассейтесь, милые рабы.

Тут черт на сцену выступает,
Всем мил своею чернотой.
Буяна в лапы он хватает...
К веселью повод им другой!

Да, *черным* кончена расправа;
Он стал решителем борьбы.
В оковах бедным снится слава.
Рассейтесь, милые рабы.

Весь путь в Америку, где ждали
Их бедствия еще грозней,
На кукол глядя, забывали
Рабы об участи своей.—
И нам, когда цари боятся,
Чтоб мы не прокляли судьбы,
Давать игрушек не скупятся:
Рассейтесь, милые рабы.

Книга четвертая
1829—1833

КАМИН В ТЮРЬМЕ

Мне взаперти так много утешений
Дает камин! Лишь вечер настает,
Здесь греется со мною добрый гений,
Беседует и песни мне поет.
В минуту он рисует мир мне целый,
Леса, моря, в углях среди огня.
И скуки нет: вся с дымом улетела.
О добрый гений, утешай меня!

Он в юности дарил меня мечтами;
Мне, старику, поет о юных днях.
Он кажет мне перстом между дровами
Большой корабль на вспененных волнах.
Вдали пловцам уж виден берег новый
В сиянии тропического дня.
Меня же крепко держат здесь оковы.
О добрый гений, утешай меня!

А это что? Орел ли ввысь несется
Измеривать путь солнечных лучей?

Нет; это шар воздушный... Вымпел вьется;
Я вижу лодку,— человека в ней.
Как должен он жалеть, взносясь над нами,
Дыша всей грудью вольным светом дня,
О людях, обгороженных стенами.
О добрый гений, утешай меня!

А вот Швейцария... ее природа...
Озера, ледники, луга, стада...
Я мог бежать: я знал, близка невзгода;
Меня Свобода кликала туда,
Где эти горы гордо громоздятся
В венцах снегов. Но был не в силах я
От Франции душою оторваться.
О добрый гений, утешай меня!

Вот и опять переменилась сцена...
Лесистый холм,— знакомый небосклон...
Напрасно шепчут мне: «Согни колена,—
И мы тюрьму отворим; будь умен».
Назло тюремщикам, назло оковам,
Ты здесь,— и вновь с тобою молод я...
Я тешусь каждый миг виденьем новым...
О добрый гений, утешай меня!

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ

Как память детских дней отрадна в заточенье!
Я помню этот клич, во всех устах один:
«В Бастилью, граждане! к оружию! отмщенье!»
Все бросилось — купец, рабочий, мещанин.
То барабан бил сбор, то пушка грохотала...
По лицам матерей и жен мелькала тень.
Но победил народ; пред ним твердыня пала.
Как солнце радостно сияло в этот день,
В великий этот день!

Все обнимались, все — и нищий и богатый;
Рассказ чудесных дел средь женщин не смолкал.
Вот криком радостным все встретили солдата:
Герой осады он,— народу помогал.

С любовью Лафайет, я слышал, поминался;
Король же... вкруг него черней сгущалась тень.
Свободна Франция!.. Мой разум пробуждался...
Как солнце радостно сияло в этот день,
 В великий этот день!

Назавтра был я там: уж зáмок с места срыли.
Среди развалин мне сказал седой старик:
«Мой сын, здесь произвол и деспотизм душили
Народный каждый вопль, народный каждый крик.
Для беззащитных жертв им мест недоставало...
Изрыли землю всю: то яма, то ступень.
При первом натиске, шатаясь, крепость пала.
Как солнце радостно сияло в этот день,
 В великий этот день!

Свобода, древняя, святая бунтовщица,
Вооруженная обломками желез,
Зовет — торжественно над нами воцариться —
Святое Равенство, сестру свою, с небес.
Они своих борцов уж выслали насилью:
Для громов Мирабо двор — хрупкая мишень.
Народу он кричит: «Еще, еще Бастилью!»
Как солнце радостно сияло в этот день,
 В великий этот день!

Где мы посеяли, народы пожинают.
Десятки королей, заслышав наш погром,
Дрожа, свои венцы плотнее нажимают;
Их подданные нас приветствуют тайком.
Отныне светлый век — век прав людских — начнется,
Всю землю обоймет его святая сень.
Здесь новый мир в пыли развалин создается.
Как солнце радостно сияло в этот день,
 В великий этот день!»

Уроки старика я живо вспоминаю;
И сам он как живой встает в уме моем.
Но через сорок лет я этот день встречаю —
Июльский славный день — в темнице, за замком.
Свобода! голос мой, и преданный опале,
Звучит хвалой тебе.— В окне редеет тень...
И вот лучи зари в решетках засверкали...
Как солнце радостно восходит в этот день,
 В великий этот день!

РЫЖАЯ ЖАННА

Двухлетний сын ей обвил шею
Из-за спины; в руках другой;
А третий, старший, рядом с нею
Бежит иззябший и босой.
Отца застигли так нежданно!
Он за решеткой, за замком.
Что будет с бедной рыжей Жанной?
Взят браконьер в лесу с ружьем.

Я знал ее довольной, ясной;
Видал за чтеньем, за иглой.
В селе казалась всем прекрасной
Она своею добротой.
Я руку ей с отрадой странной
Жал часто в танце круговом.
Что будет с бедной рыжей Жанной?
Взят браконьер в лесу с ружьем.

К ней фермер сватался, мы знали,—
Богатый, с нею лет одних.
Но Жанну рыжей называли,
Смеялись,— и отстал жених.
Не он один... От бесприданной
Шли прочь жених за женихом.
Что будет с бедной рыжей Жанной?
Взят браконьер в лесу с ружьем.

«Будь мне женой,— сказал бездомный,—
Ты мне и рыжая мила.
С ружьем не страшен лес нам темный,
Хоть рыщет стража без числа.
Постель в траве лесной поляны
Благословить — попа найдем».
Что будет с бедной рыжей Жанной?
Взят браконьер в лесу с ружьем.

Любить, быть матерью — все звало
Ее давно. Пошла она,—
И в горькой радости рожала
Три раза, в тьме лесной, одна.
Малютки бодры и румяны,

Как почки на цветке лесном.
Что будет с бедной рыжей Жанной?
Взят браконьер в лесу с ружьем.

Что за любовь у ней святая
В улыбке доброго лица!
Она твердит, детей лаская:
«Черноволосы,— все в отца».
Ее улыбкою нежданной
Мрак озарится пред отцом.
Что будет с бедной рыжей Жанной?
Взят браконьер в лесу с ружьем.

СТАРИК БРОДЯГА

Я стар и хил; здесь, у дороги,
Во рву придется умереть.
Пусть скажут: «Пьян — не держат ноги».
Тем лучше; что меня жалеть?
Один мне в шапку грош кидает;
Другой и не взглянув идет.
Спешите! пир вас ожидает.
Старик бродяга и без вас умрет.

От старости я умираю;
Не умер с голоду. Я ждал —
Хоть при смерти покой узнаю.
Да нет,— в больницу не попал.
Давно везде народ набился;
Все нет ему счастливых дней!
Я здесь, на улице родился,
Старик бродяга, и умру на ней.

Я смолоду хотел трудиться;
Но слышал в каждой мастерской:
«Не можем сами прокормиться;
Работы нет. Иди с сумой!»
У вас, твердивших мне о лени,
Сбирал я кости по дворам
И часто спал на вашем сене.
Старик бродяга благодарен вам.

Приняться мог за воровство я;
Нет, лучше по миру сбирать.
Дорогой яблоко чужое
Едва решался я сорвать.
Но двадцать раз меня сажают
В острог благодаря судьбе;
Одно, что было, отнимают:
Старик бродяга, солнца нет тебе!

Отечества не знает бедный.
Что в ваших тучных мне полях?
Что в вашей славе мне победной,
В торговле, в риторских борьбах?
Когда врагу ваш город сдался,
Поил-кормил гостей чужих,
С чего слезами обливался
Старик бродяга над подачкой их?

Что, люди, вы не раздавили
Меня, как вредного червя?
Нет, лучше б вовремя учили,
Чтоб мог полезен стать и я!
Я был бы не червем — пчелою.
Но от невзгод никто не спас.
Я мог любить вас всей душою;
Старик бродяга проклинает вас!

ОРАНГУТАНГИ

Орангутанги (так в Езопе
Читал я) славились в Европе
Речами,— и от них идет
Всех адвокатов наших род.
Их предок раз в ученом пренье
Сказал: «В науке твердо мненье,
Что люди всех веков и стран
Лишь обезьянят обезьян.

Не нам ли следуя вначале,
Они копить запасы стали?

Не нам ли довелось учить
Их с палкой, выпрямясь, ходить?
Не действуют ли в нашем вкусе
Они и с небом, сильно труся?
Да, люди всех веков и стран
Лишь обезьянят обезьян.

Любовь их — наши же интрижки...
Но нам всегда верны мартышки.
Им было более под стать
Бесстыдство наше перенять.
От нас их Диоген великий
Усвоил образ жизни дикий.
Да, люди всех веков и стран
Лишь обезьянят обезьян.

Не нам ли люди подражали,
Когда и войско создавали?
Какой не знал орангутанг,
Что́ правый фланг, что́ левый фланг?
У нас и до паденья Трои
Считались сотнями герои.
Да, люди всех веков и стран
Лишь обезьянят обезьян.

Копье ль, дубину ль, шпагу ль в руки,
Лишь бей!.. Прекрасней нет науки,—
И *мы* ее преподаем.
А человек вдруг стал царем!
Где ж, боги, правосудье ваше?
Ведь образ ваш — подобье наше.
Да, боги, человек всех стран
Лишь обезьянит обезьян».

Досадно слушать Зевсу стало.
«Вся тварь мне уши прокричала,
Что человек мой очень туп
И неискусен. Да, он глуп,—
Зато мне лесть всегда готова.
А вы?.. Отнять у них дар слова!
А люди всех веков и стран
Пусть обезьянят обезьян!»

БЕЗУМЦЫ

Мы, как солдаты для парада,
По струнке чинно в ряд стоим;
А выйдет человек из ряда,
«Безумец!» — хором закричим.
Его тиранят, убивают;
Потом, подумав век, другой,
Ему статую воздвигают,
И им гордится род людской.

Как бесприданная невеста,
Идея долго мужа ждет.
Глупец кричит: «Ты не у места!»
А умник: «Не кажись в народ».
Но, с верой в будущность, находит
Ее безумец и с собой
На свет из сумрака выводит,
Чтоб осчастливить род людской.

Я знал пророка Сен-Симона.
Он был богат, и нищим стал;
Но слово нового закона
Провозглашать не уставал.
Чтоб дать ему осуществленье,
Старик был рад идти с сумой;
Он верил, что его ученье
От зла избавит род людской.

Фурье нас звал: «Свою дремоту
Покинь, обманутый народ!
Сомкнись в фаланги; за работу!
Тебя в ней наслажденье ждет.
Конец бедам! Земля вступила
В союз небес; разумный строй,
Согласно движущий светила,
Миротворит и род людской».

Цепь с женщин Анфантен снимает
И к нашим их зовет правам.
«Безумцы! — всякий восклицает,—
Они смешны все трое нам».

Но кто же к счастью нас направит?
А счастья молим мы с тоской.
Хвала безумцу, коль заставит
О нем погрезить род людской!

Кто новый свет нам открывает?
Безумец, возбуждавший смех.—
Толпа безумца распинает;
Распятый богом стал для всех.—
Да, если б над землей смущенной
Не встало утро чередой,
Безумец факел бы зажженный
Тебе принес, о род людской!

Книга пятая
1834—1851

КОНЕЦ СТИХАМ

Конец стихам, как ни кипит желанье!
Старинной силы в рифмах нет моих.
Теперь мне школьник страшен в состязанье,
По пальцам составляющий свой стих.
Когда, как встарь, мой голос начинает
Беседу с сердцем в глубине лесов,
Родной их шум мне прозой отвечает.
Меня покинул светлый дар стихов.

Конец стихам! Как осенью глухою
Поселянин в увядший сад идет
И смотрит: под последнею листвою
Не притаился ль где забытый плод?
Так я хожу, ищу. Но все увяло;
На дереве ни листьев, ни плодов;
Корзины не наполнить, как бывало.
Меня покинул светлый дар стихов.

Конец стихам! Но я душой внимаю
Зов бога к вам, поникшие сердца:
«Воспрянь, народ! тебя провозглашаю

Отныне я наследником венца!»
И радостен и полон веры ясной,
Тебе, народ-дофин, я петь готов
О милости и кротости... Напрасно!
Меня покинул светлый дар стихов.

МУРАВЬИ

Муравейник весь в движенье;
Все шумит, кричит, снует.
Войско в сборе к выступленью;
Царь ведет его в поход.
Полководец горячится,
Возглашая храбрецам:
«Целый мир нам покорится!
Слава, слава муравьям!»

Войско в марше достигает
До владений гордой тли,
Где былинка вырастает
Из-за камня, вся в пыли.
Царь командует: «Смелее!
С нами бог — и смерть врагам!
Молодцы, ударь дружнее!
Слава, слава муравьям!»

Есть у тли свои герои
Для свершенья славных дел:
Все помчалось в вихорь боя.
Сколько крови, мертвых тел!
Наконец — хоть храбро билась —
Тля бежит по всем углам.
Участь варваров свершилась!
Слава, слава муравьям!

Двое старших адъютантов
Сочинили бюллетень:
Днем сражения гигантов
В нем был назван этот день.
Край разграбить покоренный
Остается молодцам.

Что́ трухи тут запасенной!
Слава, слава муравьям!

Вот, под аркой из соломы,
Триумфальный вьется ход.
Чернь, работавшая дома,
Натощак *ура* ревет.
Местный Пиндар в громкой оде
Всем другим грозит врагам.
(Оды были очень в моде.)
Слава, слава муравьям!

В пиитическом паренье
Бард гласит: «Сквозь тьму времен
Вижу мира обновленье:
Муравьи, ваш данник он!
И когда земного шара
Все края сдадутся нам,
Ты, о небо, жди удара!
Слава, слава муравьям!»

Он еще не кончил слова
Пред восторженной толпой,
Как нечаянно корова
Залила их всех мочой.
Лишь какой-то Ной остался...
«Океан на гибель нам,—
Говорит он,— разливался!»
Слава, слава муравьям!

АПОСТОЛ

«Куда ты, Павел?» — «В мир несу спасенье.
Нам богом дан закон любви».—
«Апостол, отдохни мгновенье!
Устал ты, ноги все в крови».—
«Нет, нет; я в мир несу спасенье.
Нам богом дан закон любви».

«Куда ты, Павел?» — «Проповедать людям
Весть мира, братства, правоты».—

«Останься с нами; вместе будем
Жить для наук и красоты».—
«Нет; я иду поведать людям
Весть мира, братства, правоты».

«Куда ты, Павел?» — «Со стези неправой
Направить души в путь прямой».—
«Светлей всего дорога славы.
Коль хочешь славы, с нами пой!» —
«Нет; я иду с тропы неправой
Направить души в путь прямой».

«Куда ты, Павел?» — «Благовестье бога
В селенья скудные несу».—
«Страшись! Трудна туда дорога:
В горах злодеи, зверь в лесу».—
«Нет; я благословенье бога
В селенья скудные несу».

«Куда ты, Павел?» — «В города, пороки
Искоренить во всех сердцах».—
«Страшись! насмешки там жестоки,
И много зла кипит в страстях».—
«Нет; я иду туда — пороки
Искоренить во всех сердцах».

«Куда ты, Павел?» — «К бедным и несчастным;
Сказать им: бог один велик!» —
«Ты бич вручишь врагам всевластным,
И сгубит бедных твой язык».—
«Нет; я иду сказать несчастным
И бедным: бог один велик!»

«Куда ты, Павел?» — «На прибрежья моря,
Дрожащих ободрять друзей».—
«Как! ни года, ни труд, ни горе
Не потрясли души твоей?» —
«Нет; я иду к прибрежьям моря,
Дрожащих ободрять друзей».

«Куда ты, Павел?» — «Высказать все прямо
Гнетущим свой народ царям».—

«Страшись! за горстку фимиама
Ты будешь выдан их жрецам».—
«Нет; выскажу я правду прямо
Гнетущим свой народ царям».

«Куда ты, Павел?» — «В суд; свое ученье
Перед судьями возгласить».—
«Смягчи уступкой обвиненье,
Хитрей старайся говорить».—
«Нет; я иду свое ученье
Перед судом провозгласить».

«Куда ты, Павел?» — «Я несу на плаху
Седую голову свою».—
«Лишь слово дай промолвить страху —
И старость озлатят твою».—
«Нет, нет; я понесу на плаху
Седую голову свою».

«Куда ты, Павел?» — «В тихой сени рая
По трудном отдохнуть пути».—
«И жизнь и смерть твоя святая
Примером будет нам. Прости!» —
«В небесной, тихой сени рая
По трудном отдохну пути».

ПРОЩАНИЕ

Прости, прости, о Франция родная!
Мой смертный час, я чувствую, пробил;
Но я пою тебя и умирая;
Кто так любил, как я тебя любил!
Я пел тебя ребенком, до науки;
Вот смерть меня готова унести,
Чуть дышит грудь, но в ней все те же звуки,—
За всю любовь пролей слезу. Прости!

Когда врагов гнели тебя союзы
И грудь твою разили десять стран,

Не я ль щипал на корпию их узы
И лил бальзам для язв твоих и ран?
Из праха ты восстала в полном цвете,
Чтоб с торжеством из века в век расти:
Ты, мысль свою посеяв в целом свете,
Пожнешь и плод; он в равенстве. Прости!

И мнится мне, что я среди могилы.
О, призри тех, кто мил душе моей!
Ведь это — долг: твой голубь легкокрылый
Не брал зерна с отеческих полей.
Но бог зовет! Чтоб сердца стон и пламень
Твоим сынам до сердца довести,
Я поддержал на миг могильный камень;
Увы, нет сил! он падает... Прости!

ЗАЛОГИ

Арабская сказка

Ах, что за добрая душа
Был Бен-Исса́ в Бассоре!
Но раз встает он,— ни гроша,—
Друзей любил,— вот горе!
Бен завтра по миру пойдет
Винить судьбу-злодейку;
Сегодня ж нищему дает
Последнюю копейку.

Тому лет триста это был
Век духов и видений,
Иссу же Мок тогда любил,—
Зеленоглазый гений.
Но Мок хитер: все, дескать, дам,
Чтоб Бен стал равен Крезу,
Пусть только все дает друзьям,
Придись хоть до зарезу.

Что Бену Моковы дары? —
Спасет друзей услуга;
Но пуст кошель,— прошли пиры,—
И нет у Бена друга.

Один Малéк приходит вновь:
«Ах, Бен, я должен кади
Червонцев десять кошельков...
Достань их, бога ради!..

Быть может, Мок на этот раз
Окажет нам услугу!»
И Бен кричит: «Зеленый глаз,
Явись на помощь другу!» —
«Я из жидов! — воскликнул Мок. —
Дам денег, но, ей-богу,
Возьму хоть ухо, глаз в залог,
Зуб, руку или ногу.

Я все беру без ран и мук;
За нужную же ссуду
Твоих зубов дай восемь штук —
И я доволен буду!» —
«Как? восемь? Стало, все, что есть!
Кто ж всех зубов лишится?» —
«Эх, Бен! Ведь ты любил поесть,
Теперь пора поститься...

Присядь же!..» Крак! — и зубы вдруг
Все выпали без муки.
«Эй! — Бен кричит,— Малек, мой друг,
Достал, держи-ка руки!»
Пошла молва,— друзья бегом
К Иссе: ведь для промена
Кто ж был бы сам себе врагом
И не добыл бы Бена?

Суда Муссы раз на утес
Попали в ночь — и сели:
Бен только глаз в залог отнес —
И друг стянулся с мели.
Гассан давно бы выдал дочь,
Хватило бы кармана;
Но Бен в приданое не прочь
Дать руку для Гассана.

Цена Гуссейну дорога
Купить детей из плена,—

И вот в залог идет нога:
Друзья поддержат Бена.
Распродадут тебя, о Бен,
Все эти людоморы:
Они за свой за каждый член
Вскричали б: «Режут! Воры!»

И ведь друзья же говорят,
Завидев Бена, дружно:
«Какой урод! Ну, просто, гад!
А поклониться нужно!» —
«Постойте,— раз вскричал Малек,—
Я с ним сыграю штуку,
И завтра этот человек
Уж нам протянет руку!..»

«Исса, мой друг! Исса, отец! —
Кричит Малек, рыдает,—
Моей жене пришел конец,
Ничто не помогает.
Хоть средство есть, и сам султан
Спасен настойкой тою:
Но где же перлов взять тюрбан
На золотом настое?»

Бен к Моку уши было снес,
Чтоб выручить собрата.
«Нет,— Мок сказал,— велик запрос,
Залогу ж маловато!»
Друг просит глаз отдать другой.
«Не дам! — кричит безногий: —
Мне нужен глаз, с одной ногой
Не сбиться чтоб с дороги!»

«Спаси жену! — ревет Малек,—
Дай глаз и верь Малеку,
Что он с тобой проходит век
И сводит даже в Мекку...»
Глаз отдан... Что ж Малеку ждать?
Взяв деньги, дал он тягу
И бросил Бен-Иссу блуждать
Все ощупью, беднягу.

«Эй, берегись! — раздался крик,—
Держись, иль канешь в море!..
Ах, это Бен!.. Какой старик!
И слеп — какое горе!..
Я — Али, друг твой с детских дней!
Пойдем вдвоем до гроба,
По ремеслу я лицедей,
Так будем сыты оба».

Бен обнял друга... Вот так раз!
Вот чудо! Целы стали
Рука, нога и пара глаз,—
И Бен увидел Али,
И злых друзей увидел он,—
Но был один безногий,
А тот иль глаз, иль рук лишен —
Все старые залоги...

И Мок сказал: «Я очень рад
Судьбе друзей коварных...
Возьми ж и деньги все назад
От них, неблагодарных.
Пусть Али делит серебро
С тобой и крохи хлеба:
Достойным делай ты добро —
Получишь вдвое с неба!»

И Мок исчез. Друзья скорей
Уходят от печали
И от предателей-друзей...
Но шепчет Бен: «Дай, Али,
Им рису, меду, их одень!
Исправь их,— воля рока!
Рубином можешь и кремень
Ты сделать — длань пророка!»

С венгерского

ШАНДОР ПЕТЕФИ

* * *

Проснувшись, плачет дитя больное.
    Над люлькой мать
Запела песню — и смолк младенец
    И спит опять.

Проснется ль с плачем в душе кручина,
    Дитя невзгод,
Я запеваю за песней песню —
    Авось заснет!

В КАБАКЕ

Наш кабак одной стеною
Покосился над рекою.
Весь он виден был бы в ней,
Будь немножко ночь светлей.

Ночь же больше все темнеет;
Над рекой туман густеет;
Веслы убраны с челна;
По деревне тишина.

В кабаке лишь крик и грохот,
Бубен, скрипка, пляска, хохот.
Спор кипит, поют, шумят —
Только окна дребезжат.

«Ну, красавица хозяйка!
Подходи-ка, наливай-ка!
Хорошо твое вино;
Жаль, что есть у чарок дно.

Эй, цыган! притих ты что-то;
А вот мне плясать охота.
Разутешь-ка плясовой!
Деньги есть ведь за душой».

Вдруг в окошко постучались.
«Что вы так разбушевались?
Барин вам велел сказать:
Разошлись бы,— лег он спать!»

«Взяли б вас обоих черти!
Пить и петь хочу до смерти.
С плеч рубашку заложу,
А уж вам не угожу!»

Но опять стучат в окошко.
«Пели б тише вы немножко!
Очень матушка больна;
Хоть заснула бы она».

И цыгану все кивают,
Чарки молча допивают,
Все за шапку — и домой...
Все притихло над рекой.

С украинского

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

К ОСНОВЬЯНЕНКЕ

На Днепре шумят пороги;
Всходит, как бывало,
В небе месяц... Только Сечи —
Сечи уж не стало!
Камыши, к воде склоняясь,
Синий Днепр пытают:
«Где же, где же наши дети?
Где они гуляют?»
С жалким стоном вьется чайка,
Словно деток ищет;
По казачьей вольной степи
Буйный ветер рыщет.
А вдоль степи за могилой
Высится могила,
С буйным ветром те могилы
Шепчутся уныло:
«Где же наши? где вы, братья?
Где запировались?
Воротитесь! поглядите...
Мы одни остались,—
Где паслися ваши кони,
Где трава шумела,
Где татарской, ляшской кровью
Степь кругом алела...
Воротитесь!» —
«Не вернутся! —
Глухо простонали
Волны в море,— не вернутся!
Все навек пропали!»

Правда, правда, сине море:
Такова их доля.

Не вернутся удалые,
Не вернется воля,
Не вернется век казачий,
Не придут гетма́ны,
Не покроют всей Украйны
Красные жупаны.
Над Днепром она горюет
Жалкой сиротою
И ничьей души не тронет
Горькою бедою.
Только враг один смеется:
Лишь ему забава!
Смейся! Все пускай погибнет —
Не погибнет слава;
Не погибнет, а расскажет,
Что творилось в свете,
Чья неправда и чья правда,
Скажет, чьи мы дети.
Нашей думы, нашей песни
Ворог наш не сгубит —
И родную нашу славу
Песня та протрубит.
Нет в ней злата, камней ценных —
Степи да оковы,
А громка, светла, правдива,
Как господне слово.
Так ли, так ли, мой сердечный?
Правду ль говорю я?
Эх, и рад бы молвить больше,
Да молчишь, горюя.
А кругом земля чужая
Да чужие люди.
Может, скажешь: «Пой, не бойся!»
Что ж в том проку будет?
Осмеют псалом мой горький,
Вылитый слезами;
Осмеют его... Ах, тяжко,
Тяжко жить с врагами!
Может, я и поборолся б,
Если б стало силы,
И запел бы — только голос
Стужей захватило.

Таково-то мое горе,
Милый мой, родимый!
Затяну ль средь зимней вьюги
Свой напев любимый —
Голос рвется. Ты ж, сердечный,—
Все тебя там знают,
И тебя за голос громкий
Люди уважают.
Пой про Сечь им, голубь сизый,
Пой им про могилы,
Кто насыпал их, кого в них
Мать-земля укрыла.
Пой про старь, про то, что было
И чего уж нету...
Пой, чтоб голос твой далеко
Разнесся по свету;
Пой, что делалось в Украйне,
Как она терзалась,
Отчего казачья слава
С края в край промчалась!
Пой, орел мой! я с тобою
Сердцем погорюю,
Хоть во сне ее увижу —
Родину святую;
Пусть хоть раз еще услышу,
Как море играет,
Как под вербою девица
«Грицяʼ» запевает;
Пусть хоть раз я на чужбине
Встрепенусь душою,—
А уж там засыплют очи
Мне чужой землею.

ИВАН ПОДКОВА

I

Было время — по Украйне
Пушки грохотали.
Было время — запорожцы
Жили-пировали.

Пировали, добывали
Славы, вольной воли.
Все-то минуло — остались
Лишь могилы в поле,
Те высокие могилы,
Где лежит зарыто
Тело белое казачье,
Саваном повито.
И чернеют те могилы,
Словно горы в поле,
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.
Славу дедовскую ветер
По полю разносит...
Внук услышит — песню сложит
И с той песней косит.

Было время — на Украйне
В пляску шло и горе:
Как вина да меду вдоволь —
По колено море!
Да, жилось когда-то славно!
И теперь вспомянешь —
Как-то легче станет сердцу,
Веселее взглянешь.

II

Встала туча над Лиманом,
Солнце заслоняет;
Лютым зверем сине море
Стонет, завывает.
Днепр надулся. «Что ж, ребята,
Время мы теряем?
В лодки! Море расходилось...
То-то погуляем!»
Высыпают запорожцы.
Вот Лиман покрыли
Их ладьи. «Играй же, море!»
Волны заходили...
За волнами, за горами
Берегá пропали.

Сердце ноет; казаки же
Веселее стали.
Плещут веслы, песня льется,
Чайка вкруг порхает...
Атаман в передней лодке —
Путь-дорогу знает.
Сам все ходит вдоль по лодке;
Трубку сжал зубами;
Взглянет вправо, взглянет влево —
Где б сойтись с врагами?
Закрутил он ус свой черный,
Вскинул чуб косматый;
Поднял шапку — лодки стали...
«Сгинь ты, враг проклятый!
Поплывемте не к Синопу,
Братцы-атаманы;
А в Царьград поедем — в гости
К самому султану!»—
«Ладно, батька!»— загремело.
«Ну, спасибо, братцы!»
И накрылся.
Вновь горами
Волны громоздятся...
И опять он вдоль по лодке
Ходит, не садится;
Только молча, исподлобья
На волну косится.

ЗАВЕЩАНИЕ

Как умру, похороните,
Братья, вы мой труп остылый
Средь родной широкой степи,
На моей Украйне милой!

Чтоб вокруг поля родные
Расстилались, колосились,
Чтоб с Днепра раскаты бури
До могилы доносились.

И как Днепр помчится к морю,
Кровью вражеской окрашен,

Я покину степь родную,
Днепр и ширь полей и пашен.

Понесусь душою вольной
В небо, к богу; стану много
Там молиться... А дотоле
Что мне бог? Мне нету бога.

Хороните да вставайте,
Разрывайте, братья, цепи,
Окропляйте вражьей кровью
Нашу волю, наши степи!

И меня в семье великой,
В нашем круге вольном, новом,
Не забудьте — помяните,
Братья, теплым братским словом!

С польского

ЗИГМУНТ КРАСИНСКИЙ

* * *

От слез и крови му́тны и черны,
Клубятся волны жизни, вечным стоном
И скрежетом зубов оглашены.
В тумане похоронном
Бесплодный берег прошлого исчез;
А впереди далекий край небес
Кровавым заревом пылает.
Вокруг плывущих мрак сырой,
Знобит их стужа — и с тоской
И воплем каждый повторяет,
Плывя во тьме: «Проклятье надо мной!»

АДАМ МИЦКЕВИЧ

СОН

Пускай велит судьба с тобою мне расстаться...
Но, если сердцем ты еще верна любви,
Не мучь меня, когда придет пора прощаться,
И о разлуке мне, прощаясь, не тверди.

Пред грустным этим днем последнее мгновенье
Средь безмятежных ласк незримо пусть пройдет...
Когда ж почуешь ты разлуки приближенье,
Пускай рука твоя мне яду поднесет...

И я прижму уста к устам твоим, а очи
Смежит тогда мне разве смерть одна...
Роскошно я усну — во мраке долгой ночи,
Целуя образ твой, глядясь в твои глаза.

И много дней пройдет и много лет крылатых...
И должен буду гроб покинуть снова я...
Тогда припомнишь ты о друге, сном объятом,
И с неба ты сойдешь, чтоб разбудить меня.

К ПОЛЬКЕ-МАТЕРИ

О полька-мать! Коль в детском взгляде сына
Надеждами тебе заблещет гений
И ты прочтешь в нем гордость гражданина —
Отвагу старых польских поколений;
Коль отрок сын твой — игры покидая,
Бежит он к старцу, что поет былины,

И целый день готов сидеть внимая,
Все слушать, весь недетской полн кручины,
Словам былин о том, как жили деды,—
О полька-мать! сыновнею забавой
Не тешься,— стань пред образом скорбящей,
Взгляни на меч в ее груди кровавой;
Такой же меч тебе готовит враг грозящий.
И, если б целый мир расцвел в покое,
Все примирилось — люди, веры, мненья,
Твой сын живет, чтоб пасть в бесславном бое,
Всю горечь мук принять — без воскресенья.
Пусть с думами своими убегает
Во мрак пещер; улегшись на рогоже,
Сырой, холодный воздух там вдыхает
И с ненавистным гадом делит ложе;
Пусть учится таить и гнев и радость,
Мысль сделает бездонною пучиной,
И речи даст предательскую сладость,
А поступи — смиренный ход змеиный.
Христос — ребенком в Назарете
Носил уж крест, залог страданья.
О полька-мать! пускай свое призванье
Твой сын заране знает.
Заране руки скуй ему цепями,
Заране к тачке приучай рудничной,
Чтоб не бледнел пред пыткою темничной,
Пред петлей, топором и палачами.
Он не пойдет, как рыцарь в стары годы,
Бить варваров своим мечом заветным,
Иль, как солдат под знаменем трехцветным,
Полить своею кровью сев свободы.
Нет! зов ему пришлет шпион презренный,
Кривоприсяжный суд задаст сраженье,
Свершится бой, в трущобе потаенной
Могучий враг произнесет решенье.
И памятник ему один могильный —
Столб виселицы с петлей роковою,
А славой — женский плач бессильный
Да грустный шепот земляков порою.

Из поэтов новой Греции

КОНСТАНТИН РИГАС

ВОЕННЫЙ ГИМН

Что ж, братья паликары,
До коих будем пор
Мы, словно львы, гнездиться
По кручам диких гор?
В лесах да по ущельям,
Вдали от городов
И от людей таиться,
Чтоб не носить оков?
Бежать всего, что сердцу
Дороже и милей:
Семьи, друзей и кровных —
И родины своей?

Дохнуть и час свободой
Отрадней, чем в тюрьме
Прожить хоть полстолетья
В невольничьем ярме.
Что проку в долгой жизни,
Коль цепь на нас гремит,
Коль произвол нам смертью
И день и ночь грозит?
Визирь ли ты, паша ли,
Носи в душе боязнь,
Что и тебя, быть может,
Неправая ждет казнь!
Как ни служи тирану,
Как ни клонись главой,
Твоей он жаждет крови,—
И час ударит твой!
Вспомянем лучших греков,

Красу Фанара! В том,
Что было с ними, ясно
Мы свой удел прочтем.
Князей отважных, граждан,
Священников, мирян,
Больших и малых резал,
Как одурев, султан.
А что ромейцев! турок!
Все жертвы счесть нет сил...
Кто стал безвинно нищим,
Кто голову сложил.

Пора! Пусть вспыхнет сердце
У всех святым огнем!
Сюда! Обет священный
Дадим перед крестом.
Совет из верных, честных
Сынов земли родной
Пусть все ведет и рядит
Разумною рукой;
А им да правит свято
Во всем закон один!
Из их среды пусть выйдет
И вождь родных дружин!
Как рабство, безнарядье
Нам пагубно теперь,
Где люди рвут друг друга,
Как зверя дикий зверь.
Поднимем руки к небу!
Душой и языком
Торжественную клятву
Пред богом принесем!

«Твоею вечной правдой,
О господи, клянусь:
Пред волею тиранов
Челом я не склонюсь.
Моей не сломят воли
Ни зло их, ни приязнь,
Ни золото, ни голод,
Ни почести, ни казнь.
Пока дышу, мной править
Святая будет месть;

В фаланги турок буду
Я меч и пламя несть.
Как верный сын отчизны,
На шаг не отступлю
Пред грозной силой,— жизни
Позором не куплю!
И, если слово клятвы
На миг забуду я,
Да грянет гром твой, боже!
И разразит меня!»

Восток и Запад, Север
И Юг — куда ни глянь,
Всё за родную землю
В святую рвется брань.
Болгары! арваниты!
Ромейцы! сербы! в бой!
Кто с островов, кто с твердой
Земли — все в дружный строй!
Все в битву за свободу
Из горькой рабства тьмы!
Пусть видит мир, что сто́им
Отцовской славы мы!
И вы, что на чужбине,
На гибель злым врагам,
Владеть мечом учились,
Скорее, братья, к нам!
Скорей сюда! Эллада
В объятья вас зовет.
Здесь ждет вас дом, ждет дружба,
Ждет слава, счастье ждет!
Скорей домой! Довольно
Служил ваш меч чужим.
Скорей домой! Победа
Нужна теперь своим.
Какая слава выше,
Какой святей почет,
Чем смерть на ратном поле
За волю, за народ!
Майноты! сулиоты!
Недаром славны вы.
Вставайте! по берлогам
Дремать довольно, львы!

И вы, львы Мавровуни!
Орлы Олимпа! в бой!
Вы, соколы Аграфы!
В один смыкайтесь строй!
Вы, христиане с Савы,
С дунайских берегов!
Идите к братьям! вместе
Ударим на врагов!
Пусть дрогнет правой злобой
В вас сердце! Стар и млад,
Клянитесь мстить злодеям,
Пока в руке булат!
Вставайте, македонцы!
Как тигры вы в бою...
Залейте вражьей кровью
Святую месть свою!
Вы, с островов драконы,
Дельфины с вод морских,
Врагов разите наших!
Как молнья граньте в них!
Неситесь, чайки Гидры!
Вы, псариоты! Миг
Настал: святой отчизны
Призывный громок клик.

За меч, сыны Эллады!
Сряжайте корабли!
Огнем твердыни вражьи
Снесем с лица земли!
Одна да будет воля,
Один в нас дух! Вперед!
Пока наш меч тиранству
Корней не подсечет,
Зальем все земли турок
Пожаром — от полей
Боснийских до бесплодных
Аравии степей!
Пусть на знаменах наших
Священный крест горит!
И враг наш, как перуном
Спаленный, побежит.
Не думайте, что с силой
Своей он тверд теперь.

Нет, он дрожит от страха,
Как всполошенный зверь.
От трех сот кирсалидов
Узнал уж он, как слаб
И с пушками пред храбрым
Тот, кто душою раб.

Что ж медлите? Проснитесь!
Без споров, без вражды
Друг друга выручайте
От общей всем беды!
Как древле предки наши —
Орлы и львы душой —
Вставали за свободу,
Кидались в ярый бой,—
Так мы восстанем, братья!
За ружья! за мечи!
Дружнее в бой! и дрогнут
Пред нами палачи.
Как стаю кровожадных
Волков, разгоним их;
Не унести из боя
Им рабских душ своих!
Над морем и над сушей
Да светит крест святой!
Да рухнет сила вражья
И ложь пред правотой!
Да сгинет бич тиранства!
И с битвы мы придем
Свободны — жить в свободном
Отечестве своем!

АЛЕКСАНДР ИПСИЛАНТИ

ПТИЧКА-ИЗГНАННИЦА

Грустная птичка, залетная странница,
Где твое гнездышко? путь твой куда?

«Я из родимого края изгнанница:
Цели мне нету; да нет и гнезда!
Все мне равно, куда путь мой направится:
Сердце от горьких тревог не избавится,
Счастья ему не найти никогда...
Раем была ты мне, родина милая!
Сладко жилось мне под миртами там;
Весело песню свою заводила я
И по росистым утрам
И по румяным вечерним зарям.
Пелось отрадно! С подругой любимою
С детства душой я сжилась...
Вдруг с своей жадностью ненасытимою
Коршун нагрянул на нас.
Все, что мне было и свято и дорого,
Пухом по ветру пустил.
Мало и этого было для ворога:
Он и гнездо разорил.
И понесла я в края чужедальные
Крылья усталые, песни печальные.
Родины нет! милой нет!
Темен мне весь белый свет.
Пусть меня носит, куда ему хочется,
Ветер изменчивый! буря пусть бьет!

Рано ли, поздно ль, туда ж занесет,
Где все навеки покончится,
Где не найдет меня грозный налет
Коршуна жадного,
Где неповинная птичка заснет
После пути своего безотрадного».

Народные песни

ШОТЛАНДСКИЕ БАЛЛАДЫ

ДВА ВОРОНА

На дубе два ворона страшных сидят;
Их крылья, как черные угли, блестят.
Товарищу ворон один говорит:
«Кто нынче обедом нас, брат, угостит?
У синего ль моря, средь мягких песков,
У темного ль леса обед нам готов?..

У взморья на вязком песке я гулял...
Красивый корабль к берегам приставал.
Я клюв приготовил,— ударил крылом...
Погиб он,— проклятия слышались в нем,—
На береге много там мертвых пловцов:
У синего моря обед мне готов».

«В глубокой долине, у чащи лесной,
Убитый лежит удалец молодой...
Под свежею кровью поблекла трава...
С ним ножик широкий, большая стрела.
О смерти красавца не знает никто:
Лишь пес, да сокол, да хозяйка его.

С охотником пес на охоту пошел,
Им дичь выгоняет из леса сокол...
Хозяйка другого красавца нашла
И с милым далеко отсюда ушла.
В обеде никто нам не будет мешать...
Летим лучше в лес мы добычу клевать!

Обед твой на белой груди у него;
Я ж выклюю синие очи его.
Ты русые кудри его оборви,—

Гнездо свое ими теплей уложи;
Пушок молодой с его русых усов
Возьму для своих я малюток птенцов».

Постель молодца холодна и жестка...
С ним вьюга лесная играет одна...
Подушка из дерна, и камень в ногах:
Он спит; не сидит над ним дева в слезах.
Над трупом порой лишь орел пролетит,
Да взвоет лисица,— олень пробежит...

ВИЛЛИ И МАРГАРИТА

Вилли в конюшне у стойла стоит,
Гладит коня своего.
Нá руку белую вдруг полилась
Из носу кровь у него.

«Матушка, корму коню положи!
Ужинать конюху дай!
Еду сейчас к Маргарите: поспеть
Засветло надо. Прощай!»

«Вилли, останься! не езди, родной!
Ветер студеный шумит;
Смеркнется скоро, а ночи темны...
Путь через речку лежит».

«Пусть не бывало темнее ночей,
Ветра сильней, холодней —
Еду сейчас к Маргарите: поспеть
Засветло надо мне к ней».

«Вилли, не езди! Поедешь — добра
Ты и не жди! Прокляну!
Клейд и широк и глубок — и пойдешь
Ты словно камень ко дну».

Он оседлал вороного коня,
Сел на него — и погнал.
Клейд еще был далеко, а в полях
Ветер и выл и стонал.

Вилли в долину съезжает с холма:
Вся потемнела река;
Зверем ревет она, бешено бьет
Темной волной в берега.

Сердцем он пылок, отважен душой:
Клейду ль его испугать?
Только звучит все в ушах у него,
Словно клянет его мать.

Вплавь на коне переправился он,
Как ни бурлила река.
К милой поспел он уж в темной ночи...
Спят все; нигде огонька.

Долго вкруг дома ходил он; стучал
Долго у двери кольцом...
Дверь на замке, и все окна темны —
Словно как вымер весь дом.

«Ах, отвори, Маргарита моя!
Ах, отвори поскорей!
Мерзнет вода у меня в сапогах;
Весь я продрог до костей».

«Как тебе, Вилли, я дверь отворю?
Матушка спать улеглась.
Петли скрипят, половицы скрипят...
Встану — проснется как раз».

«Если к себе ты не пустишь меня,
К Вилли не будешь добра,
Ты мне хоть угол какой укажи,
Где б отдохнуть до утра».

«Вилли, нельзя тебе здесь ночевать:
Поздно приехал ко мне.
Были три горницы в доме пустых;
Заняты нынче оне:

Хлебом одна, и соломой одна;
В третьей приезжие спят —
Три молодца разудалых: они
Завтра весь день прогостят».

«Бог же с тобой, Маргарита! прощай!
Вижу — ты хочешь мне зла.
Видно, недаром, как ехал к тебе,
Мать меня грозно кляла».

Сел он, погнал вороного коня;
Сердце в нем ныло тоской.
Пó полю ветер и выл и стонал;
Небо темнело грозой.

Вилли в долину съезжает с холма:
Вся почернела река;
Зверем ревет она, бешено бьет
Черной волной в берега.

С берега в воду спустил он коня;
Сам же дрожит весь как лист.
Ветер, кидаясь по бурным волнам,
Вырвал из рук его хлыст.

Вилли поймать его хочет: к воде
Он наклонился с седла.
Буря, кидаясь по темным волнам,
Шляпу с него сорвала.

Вилли поймать ее хочет: к воде
Он наклонился с седла.
Буря, кидаясь по черным волнам,
Вилли с коня сорвала.

С берега брат ему старший кричит:
«Очень же, малый, ты прост!
Плавать не можешь, так знал бы держал
Крепче коня — хоть за хвост!»

«Плавай не плавай — беды не избыть!
Что мне держаться коня?
Мать, провожая, на смерть обрекла
Грозным проклятьем меня!»

Молвил — и камнем он в воду пошел
И не поднялся со дна.
Временем тем Маргарита его
Вдруг пробудилась от сна.

«Матушка, встань! разгадай мне мой сон!
Снилась мне бурная ночь...
Снилось мне: милый стучал у дверей;
Ты прогнала его прочь».

«Спи, Маргарита, родное дитя!
Спи, не страшись ничего!
Милый твой был, и тебя он будил;
Я не впустила его».

Тихо с постели тут дочь поднялась;
К двери идет и дрожит...
Из дому вышла — кричит и зовет...
Ветер все пуще шумит.

К клейдским волнам прибежала она;
В воду ступила ногой...
«Господи боже мой! Грозен ты, Клейд:
Видно, не быть мне живой!»

Дальше ступила — по белую грудь
В бурные волны ушла.
«Глубже пойду я, грозы не боюсь —
Только бы Вилли нашла!»

Глубже ступила... Уж ветер волной
Ей через плечи плескал;
Вдруг обо что-то запнулась она:
Тут ее Вилли лежал.

«Вилли, мой друг! недобра к тебе мать;
Мать и ко мне недобра...
Вместе мы ляжем и вместе уснем,
Словно как брат и сестра!»

СЕРБСКИЕ ПЕСНИ

* * *

Девушка у́ моря сидела,
Говорила она, вопрошала:
«Господи сильный и правый!
Что шире синего моря?
Что просторнее чистого поля?
Что коня лихого быстрее?
Что меду сотового слаще?
Что милее брата родного?»

Молвила ей рыбка морская:
«Девушка, зелен твой разум.
Шире синего моря — небо,
А просторней чиста́ поля — море,
Взор быстрее коня лихого,
Слаще меду сотового — сахар,
Милый друг милей брата родного».

* * *

Будь у меня, Лазо,
Царская казна,
Знала бы я, Лазо,
Что себе купить;
Я купила б, Лазо,
Садик над рекой.
Знала бы я, Лазо,
Что в нем посадить:
Посадила б много
Розанов, гвоздик.

Будь у меня, Лазо,
Царская казна,
Знала бы я, Лазо,
Что себе купить;
Я б себе купила
Лазо-молодца:
Будь садовник, Лазо,
У меня в саду!

АРАПСКАЯ ЦАРЕВНА

Мать пытала кралевича Марка:
«Ты скажи мне, милый сын мой Марко,
Что ты строишь столько храмов божьих?
Или тяжко богу согрешил ты?
Иль добра ты много добыл даром?»

Отвечает ей кралевич Марко:
«Вот тебе, как перед богом, правда!
Был, родная, я в Земле Арапской
И пошел поутру к водопою —
Своего напоить хотел Шарца.
Как пришел с конем я к водопою,
Там двенадцать стояло арапов.
Не хотел я череда дожидаться,
Подошел к водопою я с Шарцем.
Не пустили меня арапы,
И затеяли мы ссору, родная.
Как взмахнул я тяжкой булавою,
Положил я одного на месте.
Положил одного; а в отместку
На меня одиннадцать напало.
Я двоих убил — напало десять;
Я троих убил — напало девять;
Четверых убил — напало восемь;
Пятерых — тут семеро напало;
Шестерых — тут шестеро напало.
Шестеро меня одолели,
За спиной руки мне связали,
К своему царю потащили;
Засадил меня их царь в темницу.

Семь годов просидел я в темнице.
Не знал, когда лето наступало;
Не знал, когда зима приходила.
Лишь одна была мне примета:
Как снежками девушки кидались,
Попадал мне снег в окно, родная;
Вот и знал я — зима наступила!
Как цветы мне в окно залетали,
Вот и знал я, что лето, родная!
Как пришел восьмой год заточенью,
Не темница уж меня сокрушала,
Сокрушала девушка-арапка,
Арапского царя дочь родная.
Утром рано и вечером поздно
Подходила к темничному окошку;
Кликала мне: «Бедный ты мой Марко!
Чахнешь ты и вянешь ты в темнице.
Поручись мне верным своим словом,
Что возьмешь меня себе женою —
И тебя я выпущу на волю;
Выведу и Шарца из подполья;
Золотых возьму с собой дукатов,
Сколько твоей душеньке угодно!»

Умудрился я в беде, родная.
Снял шапку, положил на колени
И стал своей шапке божиться:
«Видит бог! с тобой не расстанусь.
Видит бог! не увидишь измены.
И солнышко клятве изменило:
Зимой не по-летнему греет;
Я же слова вовек не нарушу!»

Поверила обману царевна:
Думала, я ей побожился.
Как начало вечером смеркаться,
Отперла она в темницу двери,
Вывела меня из заточенья,
Привела мне удалого Шарца,
Для себя ж коня уда́лей Шарца;
На обоих по мешку дукатов.
На коней мы сели с царевной,
В ночь проехали Арапскую Землю.

Только стало утро заниматься,
Я сошел с коня на малый отдых;
Сел, и села со мною арапка,
Обняла меня черными руками.
Как взглянул я на нее, родная:
Сама черная, белые зубы —
Обуял меня страх и ужас.
Выхватил я острую саблю
И всадил ей в шелковый пояс.
Насквозь ее сабля пронизала.

На коня вскочил я без оглядки.
Провещала тут голова арапки:
«Брат ты мой о господе, Марко!
Чтó меня, несчастный, покидаешь?»

Вот как согрешил я перед богом,
Вот свое добро откуда добыл,
Вот зачем я храмы божьи строю!»

НОВОГРЕЧЕСКИЕ ПЕСНИ

* * *

Как в ночи́ мы целовались,
От людей мы схоронились;
А от звездочек небесных
Наших ласк и не таили.

С неба звездочка упала
И про нас сказала морю;
Море веслам проболталось;
Рыбаку сказали веслы.

Как в ночи́ мы целовались,
Рассказал рыбак невесте —
И про нас теперь повсюду
Девки песни распевают.

МОЛОДОЙ МОНАХ

Молодой монах из кельи,
Притаясь, в окно глядит:
Под окном, внизу, девица,
Зарумянившись, стоит.

По кусочку белый сахар
Он кидает из окна
Ей за пазуху; а сверху
Грудь лебяжья вся видна.

«Эй, сиди, монашек, смирно!
Не застали бы тут нас,
Не проведал бы игумен:
Расстригут тебя как раз».

«Расстригут — клобук свой сброшу,
Алый фес надену я.
Мигом свадебку сыграем,
Ненаглядная моя!»

ЛИТОВСКИЕ ПЕСНИ

* * *

Как в лес меня послали
По ягоду чернику,
Я в лес не заходила
И ягод не сбирала:
Пошла я на кладбище,
К родимой на могилу;
Над нею залилася
Горючими слезами.

«Кто плачет над могилой?
Меня в могиле будит?»

«Я, матушка родная,
Пришла к тебе поплакать
Сиротскими слезами.
Кто косы мне расчешет?
Кто личико умоет?
Кто лаской приголубит?»

«Иди домой ты, дочка!
Там мать тебе другая
И волосы расчешет
И личико умоет;
А суженый молодчик
И лаской приголубит».

ВОРОН

Пролетает черный ворон;
Руку белую несет он,
С золотым на пальце перстнем.
Ты скажи, скажи мне, птица,
Ты ответь мне, черный ворон:
Где взял белую ты руку
С золотым на пальце перстнем?

Отвечает ворон вещий:
«Я войну большую видел,
На великом был сраженье.
Там плетни плели из сабель,
Рыли ружьями могилы,
Разливалась кровь ручьями.
Не один там сын зарублен,
Не одна там мать рыдает».

Этим перстнем обручилась
Я с моим сердечным другом.
Лейтесь, слезы мои, лейтесь!
Не воротится он к милой.

ПИРУШКА

Собрался отец на охоту в лесок.
Недаром ходил он: был важный стрелок.

Присел за кустом, да навел из ружья —
И сразу убил наповал воробья.

В телегу коня сыновья запрягли
И с песнями птицу домой привезли.

«Ну, сестры! огонь разводите скорей!
А мы созывать разойдемся гостей».

Дичину в сметане обжарила мать.
«Идите-ка, дочки, на стол накрывать!»

Сестрицы жаркое на стол подают;
И только поставили — гости уж тут.

Раскланялись, чинно уселись за стол,
И есть да похваливать каждый пошел.

А есть, так и выпить,— обычай у нас...
И выпили пива две бочки как раз.

* * *

У меня был коник —
Малый, да удалый;
Возил меня коник,
Возил меня верно:
На́ гору шел рысью,
По́д гору шел скачью,
Через ямы прыгал,
Через речки плавал.
Встретил я девицу,
Горе-мастерицу:
Ни спрясти потоньше,
Ни соткать покрепче.
У меня ли плетка
Связана тоненько,
Сплетена крепонько;
Научила плетка
Прясть и ткать девицу:
Ниточки не рвутся,
Тканье не дерется.

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БДЧ — журнал «Библиотека для чтения».

Белинский, ПСС — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, АН СССР, М. 1953—

Гете — Собрание сочинений Гете в переводах русских писателей, изданных под редакцией Н. В. Гербеля, том I, лирические стихотворения и поэмы, СПБ 1878.

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

Д — журнал «Дело».

Добролюбов, ПСС — Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6 томах, М. 1934—1941.

ЖО — журнал «Живописное обозрение».

И — газета «Иллюстрация».

Изд. 1858 г. — Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова, СПБ 1858.

Изд. 1862 г. — Стихотворения М. Л. Михайлова. Подражания восточному. Из английских поэтов. Из немецких поэтов. С венгерского. С малороссийского. С польского. Народные песни. Берлин, 1862.

Изд. 1866 г. — Стихотворения М. Л. Михайлова. Редакция издания Н. В. Гербеля, СПБ 1866.

Изд. 1890 г. — Собрание стихотворений М. Л. Михайлова, СПБ 1890.

Изд. 1914 г. — Полное собрание сочинений М. Л. Михайлова, под редакцией П. В. Быкова, том I, стихотворения оригинальные и переводные, СПБ [1914].

Изд. 1934 г. — М. Л. Михайлов, Полное собрание стихотворений. Редакция, биографический очерк и комментарий Н. С. Ашукина, Academia, М.—Л. 1934.

Изд. 1951 г. — М. И. Михайлов, Собрание сочинений в пяти томах, под общей редакцией М. В. Нечкиной, подготовка текста и комментарии П. С. Фатеева. Том I, Чкаловское издательство, 1951.

Изд. 1953 г. — М. Михайлов, Собрание стихотворений. Подготовка текста и примечания Ю. Д. Левина. Большая серия «Библиотеки поэта», Л. 1953.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, Ленинград.

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Москва.

ЛГ — «Литературная газета».

М — журнал «Москвитянин».

Н — газета «Неделя».

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

Р — журнал «Развлечение».

РВ — журнал «Русский вестник».

РМ — журнал «Русская мысль».

РС — журнал «Русское слово».

С — журнал «Современник».

Смирдин — Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя А. Ф. Смирдина, том VI, СПБ 1859.

СО — журнал «Сын отечества».

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР, Москва.

ЦГИА — Центральный Государственный исторический архив, Москва.

ЦГИА, д. № 274 — Центральный Государственный исторический архив в Москве, дело № 274 «О разыскании виновных в распространении между народом и войском возмутительного воззвания под названием «К молодому поколению».

ЦГИАЛ — Центральный Государственный исторический архив, Ленинград.

Чернышевский, ПСС — Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах, М. 1939—1950.

Шелгунов — Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923.

Шиллер I, II — Лирические стихотворения Шиллера в переводе русских поэтов, под редакцией Н. В. Гербеля, томы I, II, СПБ 1857.

Шиллер IV — Драматические сочинения Шиллера в переводах русских писателей, под редакцией Н. В. Гербеля, том IV, СПБ 1858.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Поэзия Михайлова представляет наиболее ценную часть его литературного наследия. «Стихи мои едва ли не лучшее из всего, что мною написано»,— писал М. Л. Михайлов из Петропавловской крепости Шелгуновым (*С*, 1912, № 9, стр. 209).

Не все поэтическое наследие Михайлова дошло до нас. До сих пор не разысканы многие стихотворения 1840-х гг. (см. письмо редактору *ЛГ* В. Р. Зотову от 25 июня 1848 г. в *изд. 1953 г.*, стр. 654). Из стихотворений 1850-х гг. сохранилось лишь несколько (см. письмо Я. П. Полонскому от 5 апреля 1856 г. в сб. «Шестидесятые годы», М.—Л. 1940, стр. 455). Большая часть стихотворений, созданных Михайловым в ссылке (1862—1865), по свидетельству П. Ф. Якубовича-Мельшина, была уничтожена «из трусости» купцом Глазковым, у которого хранился ящик с рукописями поэта («Степной край», 1896, № 54).

Многие стихотворения и переводы Михайлова печатались в различных периодических изданиях в искаженном цензурою виде. После ареста поэта (1861), когда имя его стало запретным в России, стихотворения и переводы его распространялись в списках, печатались в русских эмигрантских сборниках и периодических изданиях. Из стихов, написанных в ссылке, лишь немногие, под псевдонимами («Мих. Илецкий», «Л. Мелихов», «М.—Л.—М.», «М. М—ов» и др.) и за подписями его друзей, появились в русских журналах.

Издать собрания своих стихотворений Михайлову не удалось. В 1848 г. он сообщал В. Р. Зотову: «Стал приводить в порядок свои стихи, думаю издать их отдельно...» (письмо от 11 июля, *ИРЛИ*, ф. 357, оп. 3, № 51). Лишь в 1858 г. вышло только издание его переводов из Гейне. В 1860—1861 гг. поэт начал готовить к печати сборник переводов и подражаний, но был арестован, и составление сборника по рукописи поэта (полностью до нас не дошла) и журнальным и газетным публикациям текстов завершили друзья поэта (см. подробно письма Михайлова в *С*, 1912, № 9). Главное управление цензуры по указанию Третье-

го отделения запретило это издание (см. *изд. 1934 г.*, стр. 647—648). Оно было осуществлено Н. Серно-Соловьевичем в Берлине в 1862 г. и сразу же как издание произведений «государственного преступника» решением Петербургского цензурного комитета было занесено в список книг, «не дозволенных к обращению» в России (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, № 23).

Уже после смерти поэта, в 1866 г., издание его стихотворений было предпринято Н. В. Гербелем, близким другом Михайлова. Возможно, что Гербель хотел издать собрание сочинений Михайлова в нескольких томах: сохранилась (в собрании проф. В. А. Десницкого) корректура подготовленного Гербелем сборника переводов и подражаний, на титульном листе которой значится: «Собрание сочинений М. Л. Михайлова, том первый, стихотворения». Но затем, видимо по цензурным соображениям, Гербель отказался от этого намерения и подготовил к печати сборник переводов и подражаний Михайлова. Он был издан, возможно при содействии Н. А. Некрасова, издателем Звонаревым, с которым Некрасов имел права «половинщика по книжной торговле» (см. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. XII, М. 1953, стр. 86—87). 2500 экз. было отпечатано без предварительной цензуры и представлено для разрешения на выпуск в Петербургский цензурный комитет. Комитет нашел, что книга имеет «важное неудобство»—«она носит имя государственного преступника... появление ее в свете совпадает с обнаружением преступных замыслов (имеется в виду дело Каракозова. — *Г. К.*), однородных с теми, в которых обвинялся переводчик» (*изд. 1934 г.*, стр. 650). Возражения цензуры вызвал и подготовленный Гербелем для этого издания первый библиографический указатель произведений Михайлова, где имелись сведения о произведениях, написанных поэтом в ссылке и печатавшихся в 1862—1866 гг. в русских журналах под псевдонимами или за подписью Н. В. Гербеля и Л. П. Шелгуновой.

Дальнейшее печатание книги было приостановлено. Некрасов обратился с письмом к цензору, в котором сообщал, что многие из переводов уже были опубликованы, и выражал готовность исключить из книги все, «на что будет указано», и не помещать полного имени переводчика (см. письмо Н. А. Некрасова цензору Фуксу от 12 января 1867 г. в: Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 82—83). Но и это не спасло издание. Главное управление по делам печати, куда вопрос был передан для окончательного решения (см. подробно *изд. 1934 г.*, стр. 649—652), постановило все отпечатанные экземпляры книги сжечь. Уцелело лишь несколько экземпляров этого издания.

Только в 1890 г. по ходатайству Л. П. Шелгуновой было «дозволено» в России издание стихотворений Михайлова. В сборник, под-

готовленный ею, вошли стихотворения, публиковавшиеся как при жизни поэта, так и после его смерти; впервые были опубликованы также стихотворения, хранившиеся у нее в рукописях.

Большая работа по собиранию стихотворений поэта и составлению подробной библиографии его сочинений была проделана П. В. Быковым. Но и в подготовленное им издание (первый том — 1914) все еще не могли быть включены по цензурным условиям многие оригинальные и переводные стихотворения. Лишь в советское время было осуществлено издание полного собрания стихотворений Михайлова (1934) и вышел ряд сборников его стихотворений, при подготовке которых была проделана большая работа по комментированию текстов и освобождению их от цензурных искажений.

В настоящее издание включены известные нам оригинальные стихотворения поэта, за исключением отдельных юношеских подражательных и стихотворений, ошибочно ему приписывавшихся [1], и большинство его переводов и подражаний.

В виду того, что произведения Михайлова часто запрещались цензурой, не всегда печатались при непосредственном его участии, а многие из них при жизни поэта опубликованы не были, основным источником текстов для настоящего издания явились прижизненное издание «Песен Гейне» (1858), которое было подготовлено самим поэтом и осуществлялось под его непосредственным наблюдением, и автографы. В остальных случаях источником текста служат последние прижизненные публикации, копии Л. П. Шелгуновой, Н. В. Гербеля, неизвестного [2] и списки. В случаях отсутствия и этих источников

---

[1] До сих пор Михайлову ошибочно приписывались стихотворения «Желание» и «Малютка». Однако он не является их автором: «Желание» впервые было опубликовано в *И*, 1847, № 4, 23 января, без подписи. Под стихотворением стояло: «С. (село.— *Г. К.*) Грачевка. 1846 г., декабря 7-го». Приписка «С. Грачевка» встречается несколько раз под опубликованными на страницах *И* стихотворениями, подписанными Ардалионом Зименко. Под стихотворениями, публиковавшимися в *И* с подписью Михайлова, встречается только приписка «Н. Новгород». Стихотворение «Малютка» появилось на страницах *И* с подписью «М». Как указывает В. Р. Зотов, в его изданиях 40-х гг. (*ЛГ* и *И*) буквой «М» подписывались стихотворения М. И. Попова («Исторический вестник», 1890, т. X, стр. 314). Стихотворения Михайлова, появлявшиеся на страницах *ЛГ* и *И*, всегда подписывались полностью.

[2] Эти тексты названы в описании рукописей *ИРЛИ* списками (см. «Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома», V, АН СССР, 1955). Однако эти стихотворения не появлялись в печати при жизни поэта, неизвестны были и в списках, почти все были созданы в ссылке и потому могли быть переписаны двумя не известными нам лицами (они записаны двумя группами, двумя разными почерками, каждая из групп имеет свою пагинацию листов) только с рукописи Михайлова, а может быть записаны под диктовку поэта.

текста произведения печатаются по наиболее авторитетным посмертным публикациям. Источники текста указываются в примечаниях. (Если источник текста является в то же время первой публикацией, она особо не оговаривается.)

Том состоит из двух отделов. В первом помещены оригинальные стихотворения, во втором — переводы и подражания. Такое деление сам Михайлов считал целесообразным в тех случаях, когда переводческая деятельность поэта имеет самостоятельное значение (рец. на «Стихотворения Ф. Миллера», *РС*, 1859, № 12).

Нам неизвестны какие-либо пожелания Михайлова относительно порядка расположения и группировки по разделам его оригинальных стихотворений. В настоящем издании они располагаются в хронологическом порядке, если же точное время их создания неизвестно,— в порядке расположения их в рукописях поэта (большая часть их, хранящаяся в *ИРЛИ*, имеет авторскую пагинацию).

Однако, учитывая совет Михайлова в рецензии на «Стихотворения Ф. Миллера» «группировать стихотворения по родам, не мешать эпиграммы с идиллиями, романтические песни с классическими элегиями» (*РС*, 1859, № 12, стр. 39), мы выделили в особые разделы сатирические и шуточные стихотворения. В раздел сатирических стихотворений вошли также пародии и эпиграммы.

Второй отдел тома в основном повторяет композицию *изд. 1862 г.*, в котором стихотворения были расположены в соответствии с волей Михайлова: содержание *изд. 1862 г.* совпадает с хранящимся в *ЦГИА (д. № 274)* «Оглавлением» не разрешенного к печати Петербургским цензурным комитетом сборника переводов и подражаний (см. подробно выше).

Кроме разделов *изд. 1862 г.*, в настоящем, как и во многих предшествующих изданиях стихотворений Михайлова, создано еще три раздела: «Из поэтов древней Греции», «Из французских поэтов», «Из поэтов новой Греции»,— куда вошли лучшие из переводов, печатавшихся в газетах и журналах 40—50-х гг. и переводы, созданные в заключении и ссылке. За счет включения переводов этих лет расширены также многие разделы, имевшиеся в *изд. 1862 г.*

Составитель счел возможным также, в соответствии с практикой самого Михайлова, включить в том стихотворений Михайлова его переводы из трагедии Гейне «Альманзор» и из «Илиады» Гомера, входившие в прозаический перевод Михайлова статьи Гейне «Идеи. Книга Ле Гран», но представляющие ценность и как самостоятельные поэтические произведения (напр. в раздел «На Гарце» им были включены в *изд. 1858 г.* и *изд. 1862 г.* переводы стихотворений, содержавшиеся ранее в тексте его прозаического перевода «Путешествия по Гарцу» Гейне). «Песни Мирзы Шаффи», переведенные Михайловым с немец-

кого, помещены среди «Подражаний восточному», а не в разделе «Из немецких поэтов», куда они входили в *изд. 1862 г.*, в связи с выяснением их подлинного авторства — ранее их автором считался немецкий поэт и переводчик Боденштедт.

Включенные дополнительно к *изд. 1862 г.* переводы из Гейне распределены по циклам, которые были созданы в этом издании по указаниям Михайлова (см. письмо Шелгуновым, 1861, *С*, 1912, № 9, стр. 205). Переводы из Гейне, о включении которых в какой-либо цикл никаких указаний не сохранилось, сгруппированы под рубрикой «Разные стихотворения». Перевод «Северного моря» помещен последним, так как поэт просил в письме к Шелгуновым дать его в конце переводов из Гейне (там же). Переводы «Венецианских эпиграмм» и «Четырех времен года» Гете, большей частью созданные Михайловым в ссылке, печатаются под этими же заглавиями, что соответствует переводческой практике поэта, сохранявшего при переводе большого числа стихотворений из какого-либо поэтического цикла его авторское название (напр. пять книг песен Беранже, «На Гарце» и «Северное море» Гейне).

Внутри разделов вначале помещены переводы из *изд. 1862 г.* За ними в хронологической последовательности следуют переводы, не вошедшие в это издание.

Даты написания стихотворений указываются в примечаниях. Если произведение не датировано автором и не публиковалось при его жизни, время написания устанавливается комментатором на основе изучения содержания стихотворения, биографии поэта, других его произведений, эпистолярного и мемуарного наследия его эпохи, а также архивных материалов. Большинство таких произведений имеет широкую дату и располагается в том порядке, в каком находится в имеющих авторскую пагинацию рукописях поэта. Если автографы произведений, имеющих широкую дату, до нас не дошли, произведения располагаются в порядке, соответствующем последовательности их первых публикаций.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Е е о н б е з м о л в н о, н о с т р а с т н о л ю б и л...» Первое опубликованное стихотворение Михайлова. Печатается по *И*, 1845, № 11, 16 июня. Стихотворение написано под влиянием Гейне, появилось в печати вместе с переводом Михайлова из Гейне «Сосна и пальма».

Д о р о г а. Печатается по *И*, 1845, № 30, 3 ноября. Образы путника, дороги — жизненного пути были популярны в поэзии 40-х гг. (ср. А. Пальм, «Напутное желание»; С. Дуров, «Странник»; А. Плещеев, «Странник»).

М у з а, Э л л а д а. Печатаются по *БДЧ*, 1847, № 1, стр. 11—12.

Д у м а. Печатается по *И*, 1847, № 4, 25 января.

К с т и х а м А. Ш е н ь е. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1847, № 11, 13 марта, с изменениями, внесенными, по-видимому, редактором *ЛГ* В. Р. Зотовым. В *ЛГ* в первой строке вместо «Андре» было «Шенье», во второй вместо «Несет»—«Влечет», в восьмой, вероятно по цензурным соображениям, вместо «свободой»— «нездешней».

Андре Шенье (1762—1794) — французский поэт и публицист, сочувственно встретивший революцию 1789 г. Однако, напуганный массовыми выступлениями парижской бедноты, Шенье вскоре выступил против якобинцев и был казнен.

Перевод Михайлова из А. Шенье см. на стр. 408.

Г о р н ы й п о т о к. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1953 г.*, стр. 58—59. Было послано в *ЛГ* одновременно со стихотворениями: «К стихам А. Шенье», «Помню я рощу зеленую...», «Тяжелый вечер (из Ленау)» — но осталось неопубликованным (автограф перечеркнут красным карандашом). В *ИРЛИ* хранится еще одно неопубликованное стихотворение, близкое по теме к «Горному

потоку», — «Горцы», присланное Михайловым литератору Ф. А. Кони, сотрудничавшему в то время в журнале «Репертуар и Пантеон русского и всех европейских театров».

ГОРЦЫ

Далеко отсюда, где лентой Кубань
Играет и вьется среди берегов,
Живет народ сильный; не платит он дань,
Жилище его — ряд гор и холмов.

Могуч он, и славен, и страшен в боях.
Булат его крепкий — защита,
Его покровитель — великий аллах
И горы седого гранита.

Не любит он роскошь; именье его:
Кинжал, пистолеты, кольчуга;
Конь верный ему драгоценней всего,—
И шашка в наездах подруга.

В одежде красивой видна красота,
Оружье зато драгоценно!
Рука его в битвах страшна и грозна,
Удар всегда меткий и верный.

И ловкость и силу природа ему,
И храбрость она подарила,
Презрение к страху и даже к всему
И твердый характер вселила.

Один недостаток в народе лишь том:
Он груб и необразован.
В наездах и битвах — огне боевом —
Он с детства к разбоям прикован.

Но время все это изгладит потом —
И будет сам горец смеяться
Предков набегам,— даже кругом,
Где горы седые ложатся

На длинном пространстве широкой грядой,
Исчезнут рвы, холмы и скалы,
Лес кедров даст место торговле живой,—
И в граждан народ сей удалый

Совсем превратится; преданье одно
Доскажет былое, как сказку,
Представит вам смутно и даже темно
Печальной Кавказа развязкой [1].

5-го июля 1845 года
С. Петербург

М. Михайлов

«Помню я рощу зеленую...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1847, № 11, 13 марта.

Надя. Печатается по *ЛГ*, 1847, № 18, 1 мая.

Тема стихотворения была характерной для демократической поэзии 40-х гг. (ср. стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья...» (1845) и «Еду ли ночью по улице темной...» (1847).

Помещик. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1847, № 19, 8 мая, под заглавием «Охотник», с цензурными искажениями: исключено было слово «свобода» (пятая строка первой строфы), изъяты последние строки, говорящие о жестоком обращении помещиков с крепостными. Строка «С житьем не расстануся патриархальным» была заменена на «С житьем ни за что не расстанусь раздольным». Искажены были цензурой и строки, высмеивающие славянофильское понимание народности: вместо строки «В себе воскресил я народный наш дух!» печаталось: «В себе воскресил я разгульный свой дух!» В восьмой строфе вместо «национальным» (строка четвертая) печаталось «привольным», слово «народность» в шестой строке было заменено словом «изделья». В девятой строфе были заменены точками строки пятая и шестая.

...В кондитерских все я журналы следил...— В XIX в. кондитерские являлись местом, где посетители могли получить свежие газеты и журналы.

...Палаты, Жорж Занда, Гизо посещал...— Палаты — законодательное собрание во Франции. Жорж Занд — псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876), французской писательницы, пользовавшейся большой популярностью в России в 40—60 гг. Гизо Франсуа (1787—1874) — знаменитый в то время французский буржуазный историк и государственный деятель, часто выступавший с речами в палате депутатов и с лекциями в парижском университете.

[1] Так в автографе.

«Пчела» —«Северная пчела»— реакционная официозная газета, издававшаяся с 1825 г. Ф. Булгариным.

«Если б я вас снова встретил...», «Еще в школе он был...» Печатаются по *ЛГ*, 1847, № 23, 5 июня.

Груня. Печатается по *И*, 1847, № 27, 26 июля.

Хорошая партия. Печатается по *ЛГ*, 1847, № 32, 7 августа.

Соседка. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1847, № 32, 7 августа.

«Акация цветы душистые роняет...», Путник. Печатаются по *ЛГ*, 1847, № 42, 16 октября.

Анакреон. Печатается по *ЛГ*, 1847, № 45, 6 ноября.

Анакреон (VI—V в. до н. э.) — древнегреческий поэт, названный Энгельсом «древним классическим певцом любви» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, 1937, стр. 58).

Михайлов переводил Анакреона еще в юности (см. стр. 135—136). Позднее, в 60-х гг., он писал: «Мы не умеем петь о любви таких веселых, светлых песен, какие пел Анакреон. Поэзия наша — красавица, улыбающаяся сквозь слезы... Источник вдохновения современного поэта — это негодование на дикие судьбы нашего общества...» (т. III наст. изд.). Михайлов внимательно следил за переводами Анакреона в России, его перу принадлежит рецензия на «Песни Анакреона» в переводе Баженова (*С*, 1861, № 8). Он написал для энциклопедического словаря (ред. П. Л. Лавров) статью «Анакреон», но в печати она не появилась, так как сотрудником Третьего отделения была признана «предосудительной» (см. *ЦГИА, д. № 274*).

Кифара — струнный щипковый музыкальный инструмент древних греков, служивший певцам для аккомпанемента.

Кольцов. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1847, № 49, 4 декабря, с цензурными искажениями: в строке пятой печатались только слова «Его душа», далее все было заменено точками. В *изд. 1914 г.* пропуск был заменен словами: «полна больной страною». Впервые по автографу — *изд. 1953 г.*, стр. 83.

Кольцов был одним из любимых поэтов Михайлова. В оценке поэзии Кольцова он идет вслед за Белинским, подчеркивая ее самобытность и народность. О своем увлечении песнями Кольцова в юности, о том, как близок Кольцов народу, Михайлов писал в автобиографическом рассказе «Уленька» (*БДЧ*, 1857, № 12). В романах «Стрижовые норы», «Вместе» он приводит стихи Кольцова в качестве эпиграфов.

Зима. Печатается по *ЛГ*, 1848, № 1, 1 января.

На пути («Предо мной лежит...»). Печатается по *ЛГ*, 1848, № 14, 8 апреля.

Кабак. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1848, № 17, 29 апреля, с цензурными искажениями: без заглавия и с точками вместо строф третьей и шестой.

Современный гидальго. Печатается по автографу (*ИРЛИ*), где следует после стихотворения «Кабак». Впервые — *ЛГ*, 1848, № 17, 29 апреля, перед стихотворением «Кабак», с цензурными искажениями — без последней строфы.

В шестнадцатой строке автографа первоначально было: «Либерально страх»; затем эта строка в автографе Михайловым исправлена на «Прогрессивно страх».

Встреча, Смех. Печатаются по *ЛГ*, 1848, № 19, 13 мая.

Антологические стихотворения (Наяда, Жатва, Мольба). Печатаются по *ЛГ*, 1848, № 20, 20 мая.

Наяда — божество рек, облаков, дождя (*греч. миф.*).

Помона — богиня древесных плодов (*римск. миф.*).

«Мне жаль тебя... Семья жестоко...» Печатается по *И*, 1848, № 40, 6 ноября, где имело приписку: Нижний-Новгород.

«Бывало, в беседке...» Печатается по *И*, 1848, № 42, 18 ноября.

... И Гейне читает //В моем переводе...— в это время уже печатались переводы Михайлова из Гейне (см. стр. 581).

Облака. Печатается по автографу (*ЛБ*), как и следующие пять стихотворений. Впервые — *М*, 1849, сентябрь, кн. 1, стр. 79.

«Опять в ночной тиши напрасно сон зову я...» Впервые — *М*, 1849, ноябрь, кн. 2, стр. 148.

Песня пловца. Написано, вероятно, в 1849—1851 гг. и прислано тогда же М. П. Погодину из Нижнего-Новгорода. Впервые — «Известия АН СССР», Отд. лит. и языка, 1953, т. XII, вып. 5, стр. 437.

«В молчанье грустном мы стояли...» Было прислано М. П. Погодину одновременно со стихотворениями: «Облака», «Опять в ночной тиши напрасно сон зову я...» (см. выше). Находится на одном листе с «Простой историей» и «Странником» (см. ниже). Написано, очевидно, в 1849—1851 гг. Впервые — «Известия АН СССР», Отд. лит. и языка, 1953, т. XII, вып. 5, стр. 437.

Простая история. Впервые — *М*, 1851, ноябрь, кн. 2, стр. 218. Написано, вероятно, в 1849—1851 гг.

Гиль— чепуха.

Странник. I часть впервые — «Известия АН СССР», Отд. лит. и языка, 1953, т. XII, вып. 5, стр. 437. Части II и III впервые — *С*, 1852, № 8, отд. VI, стр. 320, как стихотворение Лиодора, героя пародийного романа Михайлова «Камелия», направленного против реакционного романтизма, сентиментальных бульварных романов и оторван-

ной от действительности «туманной» поэзии. Роман «Камелия» входил в обзор Михайлова «Хроника петербургских новостей и увеселений». Стихотворение написано, вероятно, в 1849—1851 гг.; было прислано в *М* одновременно со стихотворением «Простая история» (см. выше).

«Я видел во сне человечка...» Печатается по *С*, 1852, № 8, отд. VI, стр. 327—328. Входит в пародийный роман «Камелия» (см. выше). Стихотворение это также вложено в уста Лиодора, но оно — иронизирует Михайлов —«было далеко недостойно его таланта».

«Когда пройдут искуса годы?..» Печатается по автографу из альбома Н. В. Гербеля (*ГПБ*), датировано 1853 г. Впервые — «Нива», 1910, № 15, стр. 290. Имеется еще один автограф, сохранившийся среди писем 1858 г. Михайлова к Я. П. Полонскому (сб. «Шестидесятые годы», М. — Л. 1940, стр. 448), где первая, четвертая, восьмая и девятая строки изменены на:

1 — Когда ж минует испытанье?
4 — Животворящего сознанья?
8 и 9 — Когда же луч сойдет с востока
И под святым его огнем

Изменения вызваны, по-видимому, цензурными соображениями: текст был прислан Михайловым Полонскому, заведовавшему литературным отделом *РС*, очевидно, в ответ на просьбы поддержать его на новом поприще (письма Я. П. Полонского М. Л. Михайлову, «Русская земля», 1904, № 3, 3 (16) января). Несмотря на эти исправления, стихотворение не появилось в печати. Вместо него в *РС* было напечатано подражание Руми (см. стр. 121 и 560).

Еще в 1848 г. Михайлов в связи с учреждением Цензурного комитета писал: «Пожалуй, он во всех журналах наших найдет и идеи свободы и коммунизма,— тогда беда: пожалуй, журналы запретят, умный народ заберут в руки,— прощай, русская литература! Но при всех этих печальных мыслях невольно приходят в голову слова поэта:

Еще лежит на небе тень,
Еще далек прекрасный день;
Но благ господь: он знает срок,
Он вышлет солнце на восток».

(Письмо В. Р. Зотову от 23 апреля 1848 г., ИРЛИ.)

В 1853 г., в связи с начавшимся общественным оживлением, Михайлов создает свое стихотворение с тем же настроением ожидания «животворящего луча» политической свободы, который рассеял бы наконец черные тучи «мрачного семилетия».

Колосс — Россия. Этот символ в применении к России был популярен в 50-е гг. в либеральных кругах.

Столб Мемнона — традиционное греческое название памятника египетскому фараону Аменофису (Аменхотепу) III. В те времена, когда памятник находился в полуразрушенном в результате землетрясения состоянии, он издавал по утрам, при быстрой смене температур, резкий дрожащий звук.

«Как храм без жертв и без богов...» Печатается по автографу из альбома Н. В. Гербеля (*ГПБ*), датировано 1853 г. Впервые — «Нива», 1910, № 15, стр. 290.

«Спалй, господь, своим огнем...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*), датировано 1854 г. Подпись: М. Впервые — *изд. 1953 г.*, стр. 112.

В этом стихотворении выражается отношение передовой части русского общества к Крымской войне. Стихотворение Михайлова, близкое к стихотворению Добролюбова «Не гром войны, не бой кровавый...», не могло появиться в печати. Но в 1855 г., когда война еще продолжалась, было опубликовано другое стихотворение Михайлова — переложение «Из корана», близкое к «Спалй, господь, своим огнем...» по стилю и по содержанию (см. стр. 127 и 561).

Перепутье. Печатается по: Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого, СПБ 1901, стр. 58, где опубликовано вместе со стихотворениями других поэтов, написанными в альбом Шелгуновой. Датировано: «1856, 11 февр.».

На пути («За туманами потух...»). Печатается по автографу (*ИРЛИ*), сохранившемуся среди писем Михайлова к Полонскому из Парижа (см. прим. к стих. «Когда пройдут искуса годы?..»). Впервые — *РС*, 1859, № 12, стр. 243. Первоначально было написано в альбом Л. П. Шелгуновой, с заглавием «Май 1856», датой внизу «10 июня 1857 г.» и пометкой «Лисино». В мае 1856 г. Михайлов находился в литературно-этнографической экспедиции в Оренбургском крае и в письмах из Уфы к Я. П. Полонскому писал о своем глубоком и сильном увлечении Л. П. Шелгуновой. Вернувшись из экспедиции, Михайлов приезжал к Шелгуновым в Лисино — учебное лесничество в Царскосельском уезде, где служил Н. В. Шелгунов.

«Говорят, весна пришла...» Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *Н*, 1874, № 1, 6 января, под рубрикой «Из посмертных стихотворений М. Л. М—ва».

Стихотворение обращено к Л. П. Шелгуновой. В ряде изданий оно датируется 1862 г. Но содержание стихотворения дает основание предположить, что оно написано в 1858 г.: Михайлов писал Полонскому 6 мая 1858 г.: «К несчастью, через неделю я останусь здесь совершенно один: Шелгуновы уезжают за границу в будущий вторник. А когда

выберусь я отсюда сам, бог ведает... Я этого и сообразить не могу, как это оставаться здесь одному. Заранее одолевает такая тоска, что беда» (сб. «Шестидесятые годы», М.—Л. 1940, стр. 447).

«О сердце скорбное народа!..» Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые— *изд. 1934 г.*, стр. 620—621. Стихотворение написано, по-видимому, в 1861 г. после обнародования манифеста об «освобождении крестьян». Михайлов «прямо называл все это (манифест.— *Г. К.*) ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения» (П. Д. Боборыкин, За полвека, М.—Л. 1929, стр. 173).

Вадим. Печатается по копии Л. П. Шелгуновой (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 610—613.

Образ Вадима, защитника новгородских вольностей, в передовой русской литературе являлся символом борца за свободу (Княжнин, Рылеев, Пушкин, Лермонтов). Тема новгородской вольницы была особенно популярной в поэзии декабристов. Стихотворение написано, по-видимому, в 1861 г., близко к «Думе» о Вадиме Рылеева, «Думы» которого были изданы Огаревым в 1860 г. в Лондоне.

...Чтоб в семье на ссору звали || Рассудить чужих, соседей... — Михайлов полемизирует с так называемой «норманской теорией», которая на основании произвольного толкования одного из летописных сказаний утверждала, что государство и царская власть возникли на Руси одновременно, благодаря варягам, приглашенным в древнюю Русь для спасения якобы ее от междоусобных войн.

«Смело, друзья! Не теряйте...» Печатается по сб. П. Ф. Якубовича «Русская муза», изд. «Русского богатства», СПБ 1907, стр. 274—275, где впервые появилось с подписью «М. Михайлов». Ранее распространялось в списках и нелегальных изданиях без подписи, часто в переработанном виде. П. Ф. Якубович (Мельшин) изучал творчество Михайлова, посетил его могилу в Кадае, встречался, вероятно, с Л. П. Шелгуновой.

Стихотворение написано в Петропавловской крепости. Одним из поводов для создания его послужило, вероятно, дошедшее до поэта известие о выступлении студентов Петербурга 13 октября 1861 г. Жандарм, сопровождавший Михайлова в крепость, сообщил ему: «Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровлением дело-то было, с окровлением...» («Записки», т. III наст. изд.).

В 1860-е гг. стихотворение было положено на музыку студентом Казанского университета Н. А. Песковым и впоследствии, под названием «Народовольческий гимн», входило в различные нелегальные издания (напр. «Песни революции», СПБ 1905). Особенно популярным стихотворение было в начале 900-х гг. Оно печаталось в сборниках революционных песен, издававшихся русскими социал-демократами

(«Песни борьбы», изд. Союза русских социал-демократов, Женева, 1902; «Перед рассветом», Берлин, 1906, под заглавием «Песня социалистов»; «Песни труда», Рабочая б-ка, вып. III, типография группы «Освобождение труда», Женева, 1885; «Песни революции», Гельсингфорс, 1917), было напечатано в первом номере нелегальной грузинской социал-демократической газеты «Брдзола». Влияние стихотворения заметно на известной революционной песне «Смело, товарищи, в ногу...», написанной Л. П. Радиным.

Памяти Добролюбова. Печатается по списку неизвестного (*ИРЛИ*), где эпиграф вписан рукою А. Н. Пыпина, близкого знакомого Михайлова.

В письмах из Петропавловской крепости Михайлов с тревогой спрашивал Шелгуновых: «Меня очень изумило, что в последнем «Современнике» нет ничего — бова (псевдоним Н. А. Добролюбова.— *Г. К.*). Что это значит? уж не болен ли он?» Узнав о болезни Добролюбова, Михайлов писал: «Вы не поверите, как у меня сжимается сердце за бедного Бова. Неужто его не спасут? Вот будет потеря-то страшная» (*С*, 1912, № 9, стр. 209, 206). Стихотворение написано 20 ноября в Петропавловской крепости: «20-го я написал стихи на его смерть... на гауптвахте. Это был день его похорон» («Записки», т. III наст. изд.). В конце стихотворения имеется приписка: «Стихи эти невольно сложились у меня в голове вечером в день похорон бедного Бова, и я записал их, чтобы откликнуться из своей клетки на общее наше горе. Сообщите их друзьям покойника. Они не станут искать в них эстетических красот, как не искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и представляется его доброе прекрасное лицо со слезами на щеках. Да, умирать в такие годы горько».

Добролюбов был первый, кому Шелгунов сообщил об аресте Михайлова. Добролюбов был потрясен этим известием (*Шелгунов*, стр. 137). «Главная причина его ранней кончины состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто! — находится в заточении»,— говорил Чернышевский в речи на похоронах Добролюбова («Красный архив», 1926, т. I (14), стр. 91). Агенты Третьего отделения доносили, что во время похорон велся сбор средств в пользу Михайлова, ожидавшего приговора («Политические процессы шестидесятых годов», М.—Л. 1923, стр. 287).

Стихотворение быстро распространилось в списках.

Впервые — «Колокол», 1862, лист 119—120, стр. 997. В России в 1862 г. без подписи Михайлова четвертая строфа стихотворения была поставлена эпиграфом в книге П. А. Бибикова «О литературной деятельности Добролюбова» (изд. Н. Серно-Соловьевича, СПБ, тип. Огрызко, 1862). Без подписи Михайлова стихотворение вошло в сб. «Сво-

бодные русские песни» (Кронштадт, 1863), в «Собрание запрещенных стихов и прозы» (Лейпциг, 1865), в сб. «Лютня. Потаенная литература XIX столетия» (Лейпциг, 1874). В 900-е гг. наряду с песней «Замучен тяжелой неволей» стихотворение было популярно среди революционеров (см. Н. А. Морозов, Повести моей жизни, М. 1947, т. II, стр. 196). С подписью Михайлова в России впервые опубликовано в сб. П. Ф. Якубовича «Русская муза» (изд. «Русского богатства», СПБ 1907, стр. 274). Входило в «Первый сборник революционных песен» (Женева, 1906), в «Сборник революционных песен» (изд. Петербургского комитета РСДРП, 1916), сб. «Песни свободы» (1905) и др.

Слово становится делом...— строки из стихотворения А. Шамиссо «Старый мельник».

«Крепко, дружно вас в объятья...» Печатается по «Колоколу», 1862, прибавление к листу 119—120, стр. 1001, где напечатано под рубрикой «Михайлов и студентское дело» как ответ на стихотворение «Узнику», обращенное к Михайлову. Стихотворение сопровождалось припиской: «Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится мне отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь! Дай бог лучшего времени, хоть, может, мне уже и не суждено воротиться».

Сохранились: 1) автограф (?) из архива Я. П. Полонского (*ИРЛИ*). Написанное карандашом на обрывке голубоватой бумаги стихотворение имеет заглавие «К студентам» и приписку: «Писано в 1861 г. в крепости». Разночтения с текстом «Колокола»:

4 строка — С вами б, братья, разделил

12 строка — Я навеки сохраню

15 строка — И душой одно желанье

2) автограф (?) из дела Третьего отделения о Михайлове (*ЦГИА, д. № 274, л. 131*). Написанное чернилами стихотворение имеет заглавие: «Прощанье к молодому поколению». Разночтения с текстом «Колокола»:

4 строка — С вами б братски разделил

6 строка — Вон из братского круга

11 строка подчеркнута.

3) Список 60-х гг. из архива П. И. Бартенева (*ЦГАЛИ*, ф. 46, оп. 2, № 491). Заглавие: «Письмо студентов к Михайлову и его ответ к ним». Вероятно, оба стихотворения быстро дошли до студентов, заключенных в Кронштадте (под посвященным студентами Михайлову стихотворением подписано: «Кронштадт»), через студентов, переведенных туда из Петропавловской крепости. Стихотворение Михайлова озаглавлено здесь: «Ответ». Разночтения с текстом «Колокола»:

4 строка — С вами б братски разделил,

11 строка — К молодому поколенью

В конце стихотворения находится приписка (см. выше) и подпись «Михайлов».

Кроме того, имеется список из архива И. Шляпкина (*ГПБ*), в котором соединены два стихотворения Михайлова: «Памяти Добролюбова» и «Крепко, дружно вас в объятья...»

В «Колоколе» стихотворение печаталось, по-видимому, по списку, совпадающему со списком из архива П. Бартенева.

Стихотворение написано в конце ноября 1861 г. в Петропавловской крепости: «Еще до произнесения мне приговора (приговор был объявлен 7 декабря. — *Г. К.*) получил я известные стихи и письмо от заключенных студентов...— вспоминает Михайлов в «Записках».— Я не мог удержаться от слез и тотчас же отвечал им стихами» (т. III наст. изд.). Участник студенческих волнений Н. Николадзе рассказывает, что он с группой товарищей видел Михайлова в окне гауптвахты, куда тот был доставлен 17 ноября (см. *ЦГИА, д. № 274*); вскоре после этого студент Петербургского университета И. А. Рождественский написал «Послание к М. Л. Михайлову» («Каторга и ссылка», 1927, № 4, стр. 43—44), ответом на которое и является «Крепко, дружно вас в объятья...» В обнаруженных нами списках стихотворение Рождественского озаглавлено: в одном — «М. Л. М.» (Михаилу Ларионовичу Михайлову); в этом списке слово «учитель» в восьмой строке написано с большой буквы (*ЦГАЛИ*, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 534); в другом —«Письмо студентов к Михайлову» (*ЦГАЛИ*, ф. 46, оп. 2, № 491). Приводим текст послания, опубликованный в «Колоколе».

Из стен тюрьмы, из стен неволи,
Мы братский шлем тебе привет,
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!

Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять,
И дань любви, и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать.

Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.

Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам,
Верь, плод взойдет, и наше племя
Отмстит сторицею врагам,

И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.

Стихотворение Михайлова быстро разошлось в списках. Агент Третьего отделения доносил: «Портрет Михайлова... есть у многих, а его послание с жадностью переписано почти всеми» (*ЦГИА, д. № 274*). Бывший в то время военным министром Д. А. Милютин в своих мемуарах писал, что, строго наказывая Михайлова, правительство надеялось «примером устрашить злонамеренных пропагандистов вредных учений. Однако же надежды эти не оправдались: общее настроение умов было таково, что строгость взысканий только возбуждала фанатизм в массе заблудшейся молодежи и вызывала сочувствие к преступнику, на которого смотрели как на мученика за святое дело» (Д. А. Милютин, Мои старческие воспоминания за 1861—1873 гг., Архив Д. А. Милютина, *ЛБ*, Ш. 169, № 14/1).

Стихотворение вскоре стало студенческой революционной песней и исполнялось на мотив «Моряков» Вильбоа.

Пятеро. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 614—615.

В строке 26 поддаются прочтению только слова «стоят» и «гробницы», остальные стерлись — строка находится на сгибе листа. Предложенное сотрудниками *ИРЛИ* прочтение этой строки — «Стоят великолепные гробницы» (опубликовано впервые в *изд. 1953 г.*, стр. 130) считаем наиболее достоверным. Стихотворение задумано, вероятно, в 1861 г. в Петропавловской крепости и написано по дороге в Сибирь в 1862 г. Посвящено декабристам К. Ф. Рылееву, П. И. Пестелю, С. И. Муравьеву-Апостолу, М. П. Бестужеву-Рюмину и П. Г. Каховскому, казненным на валу Кронверкской куртины Петропавловской крепости.

...Близ места вашей казни// Есть пышный храм...— собор Петропавловской крепости, где находятся гробницы русских царей, начиная с Петра I.

«Те же всё унылые картины...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 620, с ошибкой в строке восьмой: вместо «твой» напечатано «свой». Стихотворение написано, по-видимому, в декабре 1861 г. по дороге на каторгу; вспоминая о виденном по пути в Сибирь, Михайлов писал в «Записках» о «голой, вопиющей нищете, какая возбуждала тягостную тоску в Вологодской, в Вятской губерниях» (т. III наст. изд.).

«Если лет бесстрастный холод...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ОЗ*, 1870, № 1, стр. 168. Подпись: Мих. М—в. Этим стихотворением начинается беловая рукопись Михай-

лова, где на одном листе содержатся еще шесть стихотворений, печатаемых следом за данным в порядке расположения их в автографе. Настроение некоторых из них — «Снова дней весенних...» и «Вышел срок тюремный...» (см. ниже) — позволяет предположить, что все стихотворения написаны в 1862 г.

«Горя, шуму и досады...» Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 633—634.

«Как долгой ночью ждет утра́...» Впервые — *ОЗ*, 1870, № 4, стр. 436. Подпись: М. М. Обращено к Л. П. Шелгуновой.

Аррия. Впервые—*ОЗ*, 1870, № 1, стр. 264. Подпись: Мих. М—в.

Аррия — жена римлянина Цецины Пета, осужденного на смерть (42 г. н. э.) за участие в восстании против императора Клавдия. Когда Пета повезли в Рим на казнь, Аррия последовала за мужем и покончила с собою на месте его казни (см. «Письма Плиния младшего», АН СССР, 1950, стр. 92—93).

«Долиной пышной шли мы рядом...» Впервые — *Д*, 1866, № 2, стр. 33—35, без строк 57—60, 73—76. Подпись: Л. Шелгунова. Полный текст впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 600—602. Стихотворение обращено к Л. П. Шелгуновой.

«Снова дней весенних...» Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 634. Написано в ссылке весною 1862 г., в ожидании приезда Шелгуновых: уверенность, «что и в каторге он не будет один, не оставляла его никогда во все время пути»,— писала Л. П. Шелгунова М. В. Авдееву еще зимою 1862 г., сообщая о предстоящей в мае поездке к Михайлову (*ЦГИА*, ф. Третьего отд., д. № 40-а).

Последние строки стихотворения по настроению близки к последним страницам «Записок», где говорится о наступлении весны в Сибири: «...горы... позеленели... Из-за этих гор идут несколько дорог к самому почти дому; но как редко, какими урывками приходят по этим дорогам дорогие вести!» (т. III наст. изд.).

«Вышел срок тюремный...» Впервые — *ОЗ*, 1870, № 1, стр. 98. Подпись: Мих. М—в. Написано, вероятно, весной или летом 1862 г. В марте 1862 г. Михайлову было разрешено поселиться у брата Петра Ларионовича, горного инженера на Казаковском золотом прииске. По слабости здоровья Михайлов был неофициально освобожден от каторжных работ на руднике. «Но как ни тяжела работа,— пишет он в одном из сибирских очерков,— все-таки тяжелее ее зависимость, которая ни на минуту не дает человеку сознания, что он хоть в чем-нибудь свободен» («Кукушка», т. II наст. изд.).

«Зарею обновленья...» Печатается по *Д*, 1866, № 2, стр. 64. Подпись: Л. Шелгунова. Написано, вероятно, в 1862 г.: сохранилась черновая рукопись (*ИРЛИ*), где рядом находятся наброски

стихотворений «Зарею обновленья...» и «Аррия». Обращено к Л. П. Шелгуновой.

Послание узника. Печатается по *Н*, 1876, № 1, 4 января, где появилось без подписи с подзаголовком: «Из посмертных стихотворений М—ва». Некоторые исследователи считают, что это стихотворение написано, так же как и стихотворение «Крепко, дружно вас в объятья...», в Петропавловской крепости в ответ еще на одно послание студентов, оставшееся нам неизвестным: имеющаяся в списке стихотворения «Крепко, дружно вас в объятья...» из архива П. И. Бартенева (см. прим. к нему) приписка «Кронштадт» под посланием Рождественского к Михайлову дает основание предположить, что Михайлов мог получить письмо из Кронштадта и от не знакомых ему студентов. Но всего вероятнее, что «Послание узника» написано в 1862 г. как ответ на «Послание М. Л. Михайлову», имеющее дату «22 мая 1862 г.», которое, вероятно, передали Михайлову Шелгуновы, выехавшие в Сибирь в мае 1862 г. («Послание М. Л. Михайлову» впервые было опубликовано в журнале «Былое», 1906, № 5, стр. 182 и приписывается П. Лаврову).

С Балтийского моря на дальний восток
Летит буйный ветер свободно,
Несет он на крыльях пустынный песок,—
Несет вздох тоски всенародной...
Несет он привет от печальных друзей
Далекому милому другу...
Несет он зародыши грозных идей
От Запада, Севера, Юга...
И шепчет: «Я слышал: в полях, в городах
Уж ходит тревожное слово;
Бледнеют безумцы в роскошных дворцах...
Грядущее дело готово.
Над русской землею краснеет заря.
Заблещет светило свободы,
И скоро уж спросят отчет у царя
Покорные прежде народы...
На празднике том уж готовят себе
Друзья твои славное дело,
Торопят друг друга к великой борьбе
И ждут, чтоб мгновенье приспело...
И шлют издалека сердечный привет,
Надежду, тоску ожиданья —
И твердую веру: Свобода придет —
И скоро... Борец, до свиданья!»

В начале 60-х гг. в России создались условия, при которых «...самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» (В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 27). Революционные демократы предполагали, что весной 1863 г. в России произойдет революция, о которой в их художественных произведениях тех лет говорилось, как о празднике. Михайлов, по свидетельству современников, как и многие другие представители революционной демократии, твердо верил в близость народной революции и был уверен в том, что «народ просыпается, прозревает, и скоро нужно ждать дня, когда он поднимется и «растопчет многоглавую гидру» (подлинные слова его)» (П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, М.—Л. 1930, стр. 149).

Среди черновиков Михайлова (*ИРЛИ*) сохранился набросок, близкий по теме к стихотворению «Послание узника». Приводим его, восстанавливая зачеркнутое:

Ко мне в трущобу ссылки,
Во мрак и холод изгнанья
Дошел через моря и горы братский твой привет,
Сердечный привет твой, брат.
Слова твоего благословенья,
Слова твоих надежд и веры
Согласно слились с теми голосами,
Что слышатся в моей душе,
Что звучат и во мраке моей тюрьмы.
Это те голоса, что показали мне правду,
Что внушили мне ненависть ко лжи.
Что заставили забыть о себе,
Пожертвовать всем
И все мои слабые силы направить
На дело будущего.
Порой мне горько, что в начале
Пресечено мое служенье делу.
Но не пресечена и не погасла мысль.
Она жива, она сильна,
Мне жизнь и силу дает она.
Я бодро цепь свою пронес
В страну страдания и слез,
И у позорного столба
Мой смех увидела толпа.
Свободы верные друзья,
Верна вам жизнь моя.
Пусть зло грозит ей,
Оно меня не покорит.

Я гляжу на свою тюрьму,
Как на честь себе, позор ему,
И полон веры.

Этот набросок был опубликован в *изд. 1934 г.* как вариант стихотворения «Послание узника». Однако содержание его дает основание предположить, что это черновик самостоятельного стихотворения, задуманного как ответ на слова Герцена: «Иди же с упованием, молодой страдалец, в могилу рудников; в подземной ночи их, между ударами молота и скрипом тачки, ты еще ближе услышишь стон народа русского, а иной раз долетят до тебя и голоса друзей — их благословение, их слезы, их любовь, их гордость тобою...» (заметка Герцена «Годовщина четырнадцатого декабря в С. Петербурге», напечатанная в 1862 г. в листе 119—120 «Колокола») и стихотворение Огарева «Михайлову» (опубликовано там же), в котором имеется рефрен:

Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.

Номер «Колокола» с заметкой Герцена и стихотворением Огарева могли передать Михайлову Шелгуновы: у них во время ареста в связи с приездом к Михайлову были изъяты номера «Колокола» (см. дело полковника Шелгунова, *ЦГИА*, ф. Третьего отд., д. № 40-а).

Новые голоса. Печатается по черновому автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 625. Сохранился еще один черновой автограф (*ИРЛИ*), являющийся первоначальной редакцией, где стихотворение состоит из двух частей, обозначенных римскими цифрами: I и II. Во второй части этого наброска говорится о том, что из «темных глубин» «скованной земли» идет уже «весть» о близости весны, что все в природе полно предчувствия «бурного дыхания обновленья». Набросок кончается словами:

Все говорит в согласном хоре:
Близка весна, близка весна.

Все это позволяет предположить, что стихотворение «Новые голоса» написано в 1862—1863 гг., когда в среде революционной демократии надежды на революцию были особенно сильны (см. прим. к стих. «Послание узника»).

Dies irae. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 623. Написано, вероятно, в 1863 г. в связи с началом восстания в Польше и подъемом революционных настроений в России: идея народного возмездия, образ страшного суда были в демократической поэзии связаны с темой революции (ср. Н. А. Добролюбов, «Годовщина», 1856).

«Минуты горького сомненья...» Печатается по

копии неизвестного (*ИРЛИ*), в которой строка девятая — неполная. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 630—631. Написано, вероятно, в 1862—1864 гг., в ссылке, возможно вскоре после того, как Михайлов был разлучен с Шелгуновыми.

«Только помыслишь о воле порой...» Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *Н*, 1874, № 1, 6 января, под рубрикой: «Из посмертных стихотворений *М. Л. М—ва*». Написано, вероятно, в 1862—1864 гг. Перекликается с последними страницами «Записок», где Михайлов писал: «Кукушка не перестает кричать надрывающимся голосом, и я теперь очень хорошо понимаю, почему ссыльные ждут весной ее зова, чтобы уйти куда глаза глядят.

Дни мои скучны и однообразны: от пера к книге, от книги к перу. Но... вместо книг хочется живого слова, вместо пера хочется живого дела, живых забот» (т. III наст. изд.).

«Ведь только строчка лишь одна...», «Всегда, везде ты, друг, со мной...», «Идут года, но все сильней любовь...», «Знаю, что ты память...» Печатаются по копиям неизвестного (*ИРЛИ*). Находятся на одном листе со стихотворением «Вам смешно, что часто...» Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 628, 633, 634. Обращены к Л. П. Шелгуновой. Написаны, по-видимому, в 1862 — 1865 гг., после поездки Шелгуновых к Михайлову.

«Вам смешно, что часто...» Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 634—635. Написано, вероятно, в 1862—1865 гг.

«И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 631—633. Написано, вероятно, в 1863—1864 гг. под впечатлением подавления польского восстания и наступившей в России реакции.

Поете гимн державным палачам? — Михайлов, вероятно, имеет ввиду адреса, поданные царю в апреле 1863 г. от имени московского дворянства и Московского университета, в которых одобрялась политика самодержавия в Польше.

«Вечером душным, под черными тучами нас похоронят...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Следом за этим стихотворением на том же листе находятся еще два, печатаемые нами ниже также по автографу в порядке их расположения в нем. Впервые — *Д*, 1867, № 3, стр. 76. Подпись: Л. Шелгунова. Написано, судя по содержанию, после поражения польского восстания, в 1863—1865 гг., в Кадае.

«Зимние вьюги завыли...» Впервые — *Д*, 1867, № 3, стр. 136. Подпись: Л. Шелгунова. Написано, вероятно, в 1863—1865 гг. О зимах в Кадае, где находился поэт в ссылке, он писал в «Записках»:

«Дом, в котором я живу с братом, часто весь дрожал от порывистых, холодных ветров» (т. III наст. изд.).

...*Саваном снега накрыли//Мертвых они и живых.*— В Кадае рядом с домами ссыльных находились могилы умерших на каторге.

«Вечерний ветер встал и по ущельям стонет...» Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 628. Так же, как и стихотворение «Зимние вьюги завыли...», написано, по-видимому, в Кадае, в 1863—1865 гг. Описание этой местности дано поэтом и в одном из его сибирских очерков — «Кукушка» (см. т. II наст. изд.).

«Праздник весны. Наше небо холодное...» Печатается, как и следующее стихотворение, по черновому незаконченному автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 625—627. Написано, вероятно, в 1863—1865 гг.

«Грусть ко мне в сердце назойливей просится...» Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 629, 749—750. Написано, по-видимому, в 1864—1865 гг., когда вместе с Михайловым в Кадае жили в ссылке участники польского восстания. Тогда же Михайлов перевел популярное среди польских революционеров стихотворение Мицкевича «К польке-матери» (см. стр. 505 и 618).

Сатирические стихотворения

Эпиграмма. Печатается по *ЛГ*, 1847, № 45, 6 ноября.

«Опять налетают роями...», «Месяц в тумане вставал...», «О мой призрак далекий...», «Мой нежный друг, мой чистый гений...», «Друг мой! мне довольно полуслова...» Три первых печатаются по *С*, 1852, № 7, отд. VI, стр. 125—126, 129, 130; два последних — по *С*, 1852, № 8, отд. VI, стр. 325, 326. Опубликованы в пародийном романе Михайлова «Камелия» (см. прим. к стих. «Странник»). Пародируют стихи Фета.

«Опять налетают роями...», «О мой призрак далекий...» Михайлов в 1849—1851 гг. присылал в *М*, но они опубликованы не были. Автографы сохранились в архиве М. П. Погодина (*ЛБ*). Для публикации в «Камелии» Михайлов во втором стихотворении изменил первые строки (в автографе: «О мой ангел далекий, // О мой друг светлоокий!»).

Искушение. Печатается по автографу (*ЛБ*). Впервые — *изд. 1951 г.*, стр. 184. Текст, опубликованный там, не совпадает ни с беловым автографом (*ИРЛИ*), ни с черновым (*ЦГИА*).

Черновой автограф (?) стихотворения находится среди бумаг, отобранных у приказчика книжного магазина Лаврецова, арестован-

ного в 1858 г. за хранение запрещенных книг. Михайлов был знаком с Лаврецовым (см. «Записки», т. III наст. изд.). В черновом автографе имеется приписка Михайлова: «Материалы для сего достоверного сказания почерпнуты из сочинения А. Н. Муравьева «Путешествие по святым местам русским». Михайлов пародирует следующие его строки: «Домашний скот запрещен на Валааме, и там нет другого зверя, кроме оленей, забежавших по льду с финского берега. Один из них, в бедственном положении, был прибит бурею на льдине и гостеприимно принят иноками; но игумен, опасаясь слишком развлечь их сею невинною забавою, велел пустить его в лес, где скоро одичал» (А. Н. Муравьев, Путешествие по святым местам русским, СПБ 1836, стр. 143).

В 1857 г. «Северная пчела» провозгласила Муравьева, обер-прокурора Синода и директора тюремного комитета, «важным деятелем отечественной литературы», доставляющим читателям «высокие духовные наслаждения» («Северная пчела», 1857, № 76, 5 апреля). Н. А. Добролюбов высмеял в 1858 г. на страницах *С* общественную деятельность и писания Муравьева («Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым», *Добролюбов*, *ПСС*, т. III, стр. 258).

Все это дает основание предположить, что пародия написана в 1857—1858 гг.

Валаам — Валаамский Преображенский мужской монастырь в Выборгской губернии.

Антифон — пение в церкви двух хоров, из которых один вторит другому.

Экспромт арестованного лондонского мазурика. Печатается по «Искре», 1860, № 30, 5 августа. Подпись: Джон Карманников. Написано в Лондоне в 1859 г. По свидетельству П. В. Быкова, стихотворение было получено редактором «Искры» В. Курочкиным от знакомого, которому было прислано Михайловым в письме, и напечатано без ведома автора (*изд. 1914 г.*, стр. XXV). Экспромт получил большую популярность в связи с нашумевшей командировкой в Псков известного бытописателя Н. И. Якушкина с заданием редакции журнала «Русская беседа» собрать материал о «народной жизни». Переодевшегося для этой цели в крестьянское платье писателя псковская полиция приняла за шпиона и арестовала, требуя от него признания в истинной цели «предосудительного» переодевания и путешествия. «Русская беседа» напечатала возмущенное письмо Якушкина о нравах провинциальной полиции. «Искра» по этому поводу иронизировала, что благодаря аресту Якушкина наконец-то появилось в «Русской беседе» истинно художественное произведение, рисующее без всяких прикрас самые обыкновенные явления русской действительности (см. М. Лемке, Очерки из истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, СПБ 1904, стр. 77).

Гиперборей. Печатается по автографу (*ИРЛИ*), где над заглавием имеется римское I. На том же листе находится стихотворение «Апостол Андрей», имеющее над заглавием римское II. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 609—610.

Направлено против славянофилов, написано, вероятно, в 1859—1861 гг., когда Михайлов едко высмеивал славянофильские теории в рецензиях и статьях: в рец. «От Москвы до Лейпцига. И. Бабста» он характеризовал славянофилов как «избалованных дикостью и произволом баричей» (*РС*, 1859, № 9, стр. 49), а в статье «Страх врагам» (*С*, 1861, № 8) он прямо назвал путешествующих по Европе славянофилов «разочарованными гиперборейцами».

Гипербореи — люди, живущие «по ту сторону Борея», северного ветра, в счастливой изобильной стране (*греч. миф.*).

Фракия — древнее название части Балканского полуострова от Эгейского моря до Дуная.

Элида — древнее название северо-западной части Греции.

Астрея — богиня справедливости (*греч. миф.*).

Орхомен — древний богатый город в средней части Греции.

Апостол Андрей. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 605—608. Написано, по-видимому, в 1859—1861 гг. Направлено против идеализации смирения и покорности, свойственных отсталым слоям крестьянства и являвшихся наследием нескольких веков крепостного гнета.

Апостол Андрей Первозванный — один из двенадцати учеников Христа, которого Христос первым призвал следовать за собой (*библ.*). По сказанию русских летописей, Андрей проповедовал христианство в древней Руси («Повесть временных лет», АН СССР, 1950, ч. I, стр. 12).

«Спасся Даниил и от хищных зверей...» — Даниил — пророк, брошенный в ров на растерзание львам, но оставшийся живым (*библ.*).

Вавилонская печь — печь в Вавилоне, в которую по приказу царя Навуходоносора были брошены три отрока за отказ поклоняться золотому тельцу (*библ.*).

Патрас — древнегреческий город, где апостол Андрей, согласно библейской легенде, был распят.

...Великий у русских царит человек...// И орден апостолу в честь создает... — Петр I. В 1698 г. им был учрежден первый в России орден — орден Андрея Первозванного.

Недоразумение. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Находится на одном листе с «Беспокойство», «Преданность», «Христианское законодательство», «Пятеро». Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 622. Написано, вероятно, в 1861—1862 гг., когда вопрос о «прессе свободной» горячо обсуждался в журналах, а репрессии по отношению к печати усилились.

Беспокойство. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, 622—623. Поводом для создания стихотворения послужила паника, имевшая место в мае 1862 г. среди различных слоев населения в связи с пожарами в Петербурге. Правящие круги обвинили революционеров в поджигательстве; были проведены многочисленные обыски и аресты, приостановлены на восемь месяцев *С* и *РС*, введены строгие правила надзора за типографиями, закрыты все читальни и воскресные школы, объявлено «нечто вроде военного положения» (см. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, М.—Л. 1934, стр. 243). Об этой кампании Михайлову было известно из «Северной пчелы», которую он имел возможность читать в Сибири.

...Беспокойны царь с царицей...— Имеются в виду сообщения газет о том, что у царя ежедневно происходили совещания и он вместе с министрами выезжал к месту пожаров, а царица раздавала погорельцам грошовые подарки.

Конституционист. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 622. Написано, вероятно, в 1862 г., когда в либеральной среде особенно ратовали за «введение» конституции. Благонамеренная газета «Русский инвалид» вызвала даже беспокойство Третьего отделения тем, что собрала огромное число подписчиков, обещая напечатать конституции разных стран (*ЦГАЛИ*, донесения агентов Третьего отделения).

Взыскание. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 621. Написано, вероятно, в 1861—1863 гг. в связи с чтением Михайловым устава о ссыльных (см. «Записки», т. III наст. изд.).

Преданность. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 622. Написано, вероятно, в 1861—1863 гг.; в прокламации «К молодому поколению» говорилось о царском правительстве: «Современный честный русский не может быть другом правительства. Он друг народа. Все же враждебное народу, все эксплуатирующее его есть правительство...» (*Шелгунов*, стр. 294). В середине 60-х годов особенно усилилась политика репрессий и запугивания, проводившаяся царским правительством, о которой Ленин писал: «Каторга — тому, кто предпочитал молчать, чем извергать тупоумные или лицемерные хвалы «великому освобождению»; реформы (*безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы*) тем, кто захлебывался либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса» (В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 27—28).

Бороды. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 621. Написано, вероятно, в 1862—1863 гг., когда в среде либерального дворянства, напуганного ростом революционного движения, усилились толки о земских соборах и земских думах. «Зем-

ство — кусочек конституции. Пусть так. Но это именно такой кусочек, посредством которого русское «общество» *отманивали* от конституции» (В. И. Л е н и н, Соч. т. 5, стр. 59).

...*сняли опалу*...— Имеется в виду отмена Александром II запрещения носить бороды военным, служившим по выборам.

...*«уставя брады»*...— выражение из книги «О России в царствование Алексея Михайловича, Современное сочинение Григория Кошихина», СПБ 1840: «Иные бояре, брады свои уставя, ничего не отвещают, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные» (гл. II, 5).

П о л и ц е й с к а я г у м а н н о с т ь. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 622. Написано, вероятно, в 1862—1863 гг., в связи с усилением преследований революционно настроенных элементов.

Д е с п о т у. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 615. Эпиграмма на Александра II. Написана, вероятно, в 1863 г. под впечатлением известий о подавлении польского восстания, о котором говорится в последней строке эпиграммы.

«Он знаменье креста творил рукою правой...» — «Высочайший» манифест об отмене крепостного состояния заканчивался следующей высокопарной тирадой: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».

Х р и с т и а н с к о е з а к о н о д а т е л ь с т в о. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 621. Написано, по-видимому, в 1864 г.: *Новый земский устав* — возможно, земская реформа 1 января 1864 г.

Шуточные стихотворения

<Я. П. П о л о н с к о м у> Печатается по автографу письма Л. П. Шелгуновой к Полонскому (*ИРЛИ*). Впервые — Т. А. Б о г д а н о в и ч, Любовь людей шестидесятых годов, Л. 1929, стр. 326—327. Было создано Михайловым во время болезни в августе 1857 г., в Лисине, у Шелгуновых, где он тогда находился, и послано Л. П. Шелгуновой Полонскому в Женеву.

<Н. В. Ш е л г у н о в у> Печатается по: Н. В. Ш е л г у н о в, Из прошлого и настоящего, Соч., т. II, СПБ 1891, стлб. 704—705. Написано в ноябре 1859 г. ко дню рождения Н. В. Шелгунова.

Первая строка в стихотворении Михайлова — первая строка второй песни «Одиссеи» Гомера в переводе В. А. Жуковского.

Эос — богиня утренней зари (*греч. миф.*).

...носков, и самой Пенелопой || Лучше б не связанных...— Пенелопа, жена царя острова Итака *Одиссея*, мифы о странствиях которого изложены в «Одиссее» Гомера, была искусной ткачихой (*греч. миф.*).

Алкиноева сила — Алкиной, царь феакийцев, во время пребывания у которого Одиссей получил множество подарков (*греч. миф.*).

ПЕРЕВОДЫ И ПОДРАЖАНИЯ

Подражания восточному

ДЖАЛАЛАДДИН РУМИ

Джалаладдин Руми (1207—1272) — таджикско-персидский поэт. Поэзия Руми отличалась особенным мастерством иносказанья. Михайлов переводил Руми по переводам немецкого поэта Рюккерта.

«Я — дикий виноград; мне явором ты будь...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 3—4. Впервые — *РС*, 1859, № 1, стр. 175. Сохранился автограф (с изменениями в отдельных строках), присланный Михайловым Я. П. Полонскому, вероятно, из Парижа, в 1858 г. одновременно со второй редакцией стихотворения «Когда пройдут искуса годы?..» (см. прим. к нему). В случае, если цензура не пропустит вторую редакцию «Когда пройдут искуса годы?..», Михайлов предполагал, вероятно, заменить ее данным подражанием Руми. Подражание было популярно в революционной среде, печаталось в сборниках «Лютня» («Русская потаенная литература XIX столетия»).

МУШРИФАДДИН СААДИ

Мушрифаддин Саади (1184—1291) — таджикско-персидский поэт. Михайлов в примечании к своим переводам из Саади, опубликованным в журнале «Подснежник» в 1858 г., с похвалой отзывается об одном из его созданий, книге «Гулистан»— «собрании нравоучительных заметок, басен, анекдотов и пр.» «До сих пор,— пишет Михайлов,— это одна из настольных книг грамотного персиянина» («Подснежник», 1858, № 2, стр. 3—4).

«Капля дождевая пала с тучи в море...», «Крепко ударил я заступом в рыхлую землю...» Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 5. Впервые — «Подснежник», 1858, № 2, стр. 3—5.

БХАРТРИХАРИ

Бхартрихари (VII в. н. э.)— индийский поэт-лирик. В публицистических статьях на страницах *С* широко освещалось вспыхнувшее в Индии в 1857 г. национально-освободительное движение. Михайлов интересовался индийской культурой, изучал работы русского санскритолога Коссовича, с которым был знаком и лично. Особенно интересовала его индийская поэзия. Знание ее, по мнению Михайлова, было обязательно для всякого человека, ищущего в поэзии «знакомства с воззрениями и нравственным развитием человечества в разные эпохи его жизни» (рец. на «Переводы и подражания Н. В. Берга», *РС*, 1860, № 6, отд. II, стр. 90). О стихотворениях Бхартрихари Михайлов писал, что они могут быть поставлены «на ряду со многими лучшими отрывками из греческой антологии». Подражания Михайлова созданы по немецким переводам Геферта и Рюккерта.

«Слеза упоенья...», «Пусть горит лампада...», «Как не вижу — только б увидаться...», «Лесом шла она; смотрел я...», «Груди волнуются; кудри трубчатые...» Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 6—7. Второе положено на музыку Г. А. Демидовым (1838—1870).

«Как тень поутру...», «Пусть твои благие...» Печатаются по автографам (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 4. Созданы, вероятно, в 1862—1865 гг.

Из «Ши-Кинг»

«Ши-Кинг» — немецкая транскрипция названия памятника китайской классической поэзии «Шицзин» («Книга песен»), собрания древних народных песен и культовых гимнов, по преданию записанных древнекитайским философом Конфуцием (551—479 до н. э.). Михайлов создал свое подражание (по немецким переводам Рюккерта) на основе народных песен из части «Го-фын» («Нравы царств»). В обзорах иностранной литературы в *С* Михайлов знакомил читателей с нравами, культурой и учреждениями Китая (см. *С*, 1861, № 4, Совр. обозрение, стр. 227—247).

«Мой хороший, мой пригожий...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 8. Положено на музыку Г. А. Демидовым.

ИЗ КОРАНА

«Из рода в род твой глас идет...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 9. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 7, стр. 46.

Написано во время Крымской войны. В конце 50-х гг. многочисленные статьи и стихотворения, связанные с Крымской войной, ходили в списках, печатались в русских эмигрантских изданиях. Ср. «Газетная

Россия» (1855), «Перед дворцом» и «Годовщина» (1856) Н. А. Добролюбова (*Добролюбов, ПСС*, т. 6, стр. 232—234).

«*...Кормясь от трапезы сирот, || Выпламень огненный ядите!*»...— Михайлов использует строки из третьей главы корана: «Пожирающие достояние сирот впускают пламя во чрево свое, будут жгомы как на превеликой жаровне» («Книга Аль-Коран аравлянина Магомета...», СПБ, в типографии Горного училища, 1790, глава «Пол женский», стр. 2). Используя рассуждение о «страшном суде», предсказывая возмездие богачам, Михайлов отходит от корана, согласно которому нищий и богач не могут быть равны даже перед богом.

ИЗ ТАЛМУДА

«Где сверкает меч...», «Что мое — мое...» Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 10. В 1860—1870 гг. печатались в сб. «Лютня» (напр. «Лютня, Потаенная литература XIX столетия», Лейпциг, 1874).

С ПЕРСИДСКОГО

«Что не могу в моих стихах...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 11.

ПЕСНИ МИРЗЫ ШАФФИ

Вазех Мирза Шаффи (1805—1852) — азербайджанский поэт. Долгое время автором «Песен» считался немецкий поэт Боденштедт, издавший в 1851 г. в Германии «Песни Мирзы Шаффи». Михайлов был первым русским переводчиком «Песен Мирзы Шаффи». Один из его переводов из Шаффи был опубликован в *С* (см. ниже) без указания на Боденштедта, под заглавием «Песни Мирзы Шаффи». В *изд. 1862 г.* переводы из Мирзы Шаффи помещены в разделе немецких поэтов как стихотворения Боденштедта.

«Мирза Шаффи! Пчелой прилежной...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 280. Впервые — *Р*, 1860, № 6, стр. 72.

«Распахни покрывало! не прячь ты себя...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 280—281. Впервые — *С*, 1855, № 4, стр. 396.

ФАРИДАДДИН АТТАР

Фаридаддин Аттар (1119—1230) — таджикско-персидский поэт, прославившийся на Востоке как автор стихотворных афоризмов морально-дидактического содержания.

«Что от врагов ты хочешь скрыть...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 5. Переведено, вероятно, в 1861—1862 гг., в связи с доносом В. Костомарова, судом и ссылкой.

АБДУРРАХМАН ДЖАМИ

Абдуррахман Джами (1414—1492) — таджикско-персидский поэт.

«Кедр, твоей вершины стройной...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1914 г.*, стр. 15. Перевод сделан по немецкому переводу Рюккерта, вероятно, в 1862—1865 гг.

Из поэтов древней Греции

САФО

Сафо (около 628—568 до н. э.) — древнегреческая лирическая поэтесса. Некоторые из своих ранних переводов с греческого, в том числе и переводы из Сафо, Михайлов называл подражаниями, хотя и сверял их с греческими подлинниками (письмо В. Р. Зотову, б. д., среди писем 1847 г., *ИРЛИ*). В 1847 г. в *ЛГ* (№№ 35, 38, 39) был опубликован перевод Михайлова с французского статьи «Сафо и лесбосские гетеры».

«Чем эта женщина могла тебя пленить...» Печатается по *И*, 1847, № 9, 8 марта.

Надгробие рыбаку. Печатается по *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа.

«Закатилася луна...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1866 г.*, стр. 15, датирован 1850 г.

Плеяды (Стожары) — группа наиболее ярких семи звезд в созвездии Тельца.

АНАКРЕОН

Анакреон — см. прим. на стр. 541.

«Ты розою роскошной расцветаешь...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа.

«Молодая кобылица...» Печатается по *ЛГ*, 1848, № 32, 12 августа.

«На пиру, за полной чашей...» Печатается по *ЛГ*, 1849, № 1, 6 января.

Царица Гнида — Афродита, богиня красоты и любви, родившаяся из морской пены (*греч. миф.*); центром культа Афродиты у древних греков был город Гнид (Книд) в Малой Азии.

«Увидал Эрот, что время...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1866 г.*, стр. 14, датирован 1850 г.

СИМОНИД

Симонид Кеосский (556—469 до н. э.) — греческий поэт-лирик, создатель поэтического жанра памятных и пояснительных надписей — эпиграмм.

Статуя Ниобеи. Печатается по *изд. 1914 г.*, стр. 26. Впервые— *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа, без указания на Симонида, в другой редакции, автограф которой сохранился в *ИРЛИ*:

В камень меня превратили всесильные боги. Из камня
Сделал живою меня вновь Праксителя резец.

Ниобея (Ниоба) — жена фиванского царя, мать шестерых дочерей и шестерых сыновей, запретившая фиванкам приносить жертвы богине Лето, матери двух детей — Артемиды и Аполлона. Разгневанная Лето призвала детей отомстить за оскорбление, дети Ниобеи были убиты, сама она окаменела от горя (*греч. миф.*).

Пракситель (IV век до н. э.) — древнегреческий скульптор.

Надгробие спартанцам в Фермопилах. Печатается по *изд. 1914 г.*, стр. 26. Впервые—*ЛГ*, 1847, № 45, 6 ноября, под заглавием «Надгробие спартанцам», с подзаголовком «Из Симонида», в другой редакции. Настоящая редакция создана, вероятно в 1862—1865 гг.

Фермопилы — горный проход в Греции, где в 480 г. до н. э. геройски погибли в бою с многотысячной армией персов спартанский царь Леонид и его триста воинов.

Лакедемон — Спарта.

Могила Сафо. Печатается по *изд. 1914 г.*, стр. 25. Переведено, вероятно, в 1850—1865 гг.

ГОМЕР

Гомер (время жизни — между XII и VIII вв. до н. э.) — легендарный эпический поэт древней Греции. Михайлов уже в начале своей творческой деятельности обращался к его эпической поэме «Илиада»: в 1849 г. в *ЛГ* было опубликовано стихотворение Михайлова «Троя». Перевод из «Илиады» в настоящем издании впервые включается в собрание сочинений поэта.

«Та же, что листьям дубравным, чреда и людским поколеньям...» Печатается по *РС*, 1860, № 6, отд. I, стр. 272, где содержится в переведенной Михайловым статье Гейне «Идеи. Книга Ле Гран» (см. подробнее в прим. к Гейне). Перевод с немецкого перевода Гейне 146—149 строк VI песни «Илиады».

ЭСХИЛ

Эсхил (525—456 до н. э.) — драматург древней Греции, первый обратившийся к мифу о Прометее.

Скованный Прометей. Печатается по *С*, 1863, № 1—2, стр. 55—62. Подпись: Мих. Илецкий. Перевод сделан Михайловым зимой 1862 г. по пути в Сибирь и послан Л. П. Шелгуновой с возвращав-

шимся в Петербург из Иркутска студентом Рассказовым. Третье отделение заинтересовалось, была ли доставлена «статья (перевод «Скованного Прометея».— *Г. К.*) из Сибири, или она, может быть, написана еще до осуждения Михайлова, и кто именно представляет в редакции статьи, помещаемые в журналах под псевдонимом Михаила Илецкого». Немедленно было учреждено «дознание о содержании Михайлова в месте его ссылки». Михайлов, «в видах строжайшего наблюдения за действиями его и дабы преградить ему всякую возможность в сношениях с посторонними лицами», был переведен «из Зерентуйского в Кудаинский (Кадаинский.—*Г. К.*) рудник и помещен в особое здание» (*ЦГИА, д. № 274*).

«Скованный Прометей» был исключен цензурой из *изд. 1866 г.* Цензор по этому поводу в докладе Петербургскому цензурному комитету писал: «Стихотворение это останавливает на себе внимание единственно потому, что известное теперь всем участие Михайлова в политическом заговоре, имевшем целью ниспровержение существующего порядка, может в уме читателей вызвать сближение между словами Прометея и замыслами заговорщиков. Помещение этой статьи в начале книги еще более наводит на это сближение» (*изд. 1934 г.*, стр. 649).

Океаниды — морские богини, дочери Океана, брата Фемиды, матери Прометея (*греч. миф.*).

...Крон-отец || Клял сына...— Царю богов Крону, одному из *титанов*, свергнувших своего отца Урана, было предсказано, что он также будет свергнут собственными детьми. Крон стал съедать своих детей при рождении, но один из них, *Зевс*, уцелел, возмужав, заставил отца вернуть проглоченных детей и вместе с ними отнял у отца и других титанов власть над миром, за что Крон проклял его (*греч. миф.*).

...Трезубец Посейдона... — Бог моря Посейдон с помощью волшебного трезубца мог вызывать и укрощать бури (*греч. миф.*).

Гермес — сын Зевса, вестник богов (*греч. миф.*).

Тартар — бездна глубоко под землей, куда были сброшены Зевсом титаны (*греч. миф.*).

Мрежа — сеть.

Из английских поэтов

КРИСТОФЕР МАРЛО

Кристофер Марло (1564—1593) — английский драматург, один из предшественников Шекспира.

Из «Фауста». Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 15—17. Михайлов перевел отрывок из пьесы «Трагическая история доктора Фауста»,

где Марло использовал средневековую немецкую легенду о чернокнижнике Фаусте.

...О Пифагор! зачем твое ученье || Несбыточно... — Имеется в виду пифагореизм — идеалистическое учение, согласно которому душа после смерти человека продолжает жить, переселяясь в другие живые существа.

РОБЕРТ БЕРНС

Роберт Бернс (1759—1796)— шотландский поэт. В 1860 г. в статье, посвященной «Кобзарю» Шевченко, Михайлов назвал шотландского поэта «замечательным народным поэтом» и писал, что «силой поэтических чувств, глубоким сердечным пониманием лишений и нужд, печалей и радостей народных, безыскусственным, прямым и ясным складом мысли и речи» Бернс, Шевченко, Кольцов близки друг другу (т. III наст. изд.). В обработанной Р. Бернсом старинной английской песне о Джоне Ячменном Зерне Михайлов находил близость к народным русским песням о хмеле (рец. на «Пермский сборник», *PC*, 1860, № 5, отд. II, стр. 45—46).

«Джон Андерсон, сердечный друг!..», К полевой мыши, разоренной моим плугом, К срезанной плугом маргаритке, Пахарь, Джон Ячменное Зерно, Злая судьба. Печатаются по автографам (*ГПБ*). Впервые — *С*, 1856, № 6, стр. 229—236.

«К срезанной плугом маргаритке» положено на музыку С. И. Габелем («Пахарь и цветок», 1881).

ДЖОРДЖ БАЙРОН

Джордж Байрон (1788—1824)— английский поэт.

Из «Чайльд-Гарольда». Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 28—31. Впервые — *С*, 1860, № 10, стр. 639—642, с эпиграфом — первыми четырьмя строками оригинала. Михайлов перевел отрывок из первой песни поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда».

...мой йомен... — йомены, мелкие арендаторы, часто составляли свиту людей знатного рода. Здесь: йомен — слуга дворянина.

ФЕЛИЦИЯ ГИМЕНС

Фелиция Гименс (1794—1835) — английская поэтесса. Многие ее стихотворения, положенные на музыку, стали народными песнями, популярными в Англии.

«Убаюкай, родная, больную меня...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр 32. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 7, стр. 46, под заглавием «Песня», с эпиграфом — первой строкой оригинала.

«Все, что вольно, снится мне...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 32—33. Впервые — *С*, 1862, № 4, стр. 707. Подпись: Мих. Илецкий.

ТОМАС ГУД

Томас Гуд (1799—1845) — английский демократический поэт. Творчество его испытало на себе сильное влияние английского рабочего движения (чартизма).

Михайлов живо интересовался «рабочим вопросом» в Англии. Он помогал Шелгунову в работе над статьей «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» (*С*, 1861), в которой приводился большой фактический материал из книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (об этом свидетельствует обнаруженная нами в *ЦГИА* рукопись Шелгунова с пометками Михайлова, отобранная у Шелгунова при обыске во время ареста поэта). Михайлов первый перевел на русский язык «Песню о рубашке». Впервые он обратился к ней в 1859 г., использовав отдельные строки ее в «Лондонских заметках» при описании «лохмотных кварталов» Лондона. Жизни и творчеству Гуда Михайлов в 1861 г. посвятил очерк «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд» (см. т. III наст. изд.). Из произведений Гуда он более всего ценил те, которые «служили... делу освобождения», в «глубоко-грустных звуках» которых «нашли свой голос бедствия бедных классов»: «Песня о рубашке», «Фабричные часы», «Мост вздохов», «Песня работника». Их Михайлов выделяет и в сохранившихся набросках статьи «Английские поэты после Байрона» (*ЦГАЛИ*, ф. 1111, оп. 2, ед. хр. 19). Михайлов переводил стихи Т. Гуда и во время заключения, о чем свидетельствует опись вещей, отобранных в Третьем отделении у Михайлова при отправлении в крепость (см. *ЦГИА, д. № 274*).

У смертного одра. Печатается по автографу (*ГПБ*). Впервые — *РВ*, 1858, апрель, кн. 1, стр. 441. Об этом стихотворении Михайлов писал: «...вскоре после смерти сестры написал Гуд стихотворение «У смертного одра», которое пользуется в Англии самою обширною известностию» («Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд», т. III наст. изд.).

Песня о рубашке. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 35—38. Сохранился автограф (*ГПБ*), где строка шестьдесят девятая не поддается прочтению. Впервые — *С*, 1860, № 9, стр. 63—66, со следующим примечанием Михайлова: «В этом опыте перевода знаменитой песни

английского поэта встречаются некоторые не совсем правильные стихи, как и в самом подлиннике... Насколько можно при несходстве языков, переводчик старался сберечь не только внутренний строй, но и внешние оттенки выражения оригинала. «Песня о рубашке» пользуется такою громкою известностью, что допускать в ней переделки, смягчения и проч. ... было бы непростительно».

«Песня о рубашке» была исключена из *изд. 1890 г.* цензором, нашедшим в ней «ядовитый укор богатым за безучастное отношение к беднякам» (*изд. 1934 г.*, стр. 653). В годы запрещения издания сочинений Михайлова печаталась во всех сборниках стихотворений, запрещенных в России, в 900-е гг. включалась в сборники революционных песен и песен труда.

Стансы. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 38—39. Впервые — *С*, 1862, № 4, стр. 708. Подпись: Мих. Илецкий. Чернышевский включил вторую строфу этого стихотворения в переводе Михайлова в роман «Что делать?» (V глава).

Изгнание. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *РС*, 1863, № 11, стр. 128, с изменением в строке дзенадцатой. Подпись: Л. Мелихов.

БАРРИ КОРНУОЛ

Барри Корнуол (1787—1874) — псевдоним английского поэта и драматурга Брайана Уэллера Проктера. Первый перевод его «Пяти сцен» (в прозе), принадлежащий писательнице А. О. Ишимовой (1804—1881), появился в номере «Современника», изданном посмертно в пользу семейства Пушкина в 1837 г. Михайлов переводил «Сцены» стихами, с последнего английского издания, исправленного автором. Из «Сцен» Михайлов перевел: «Лодовико Сфорца», «Хуан», «Разбитое сердце». «Я старался передать подлинник с возможною верностью,— писал Михайлов,— что же касается до выбора сцен (переводить их все мне казалось лишним) — его решил мой личный вкус» (*РС*, 1860, № 3, стр. 209).

Лодовико Сфорца. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 40—54. Впервые — *РС*, 1860, № 3, отд. I, стр. 211—230, с предисловием Михайлова и незначительными изменениями в тексте.

...Чиста, как пламя, // Горевшее на алтаре Дианы...— Диана, богиня света и луны, покровительница животных и охоты, считалась также покровительницей женского целомудрия; одним из ее атрибутов был факел (*римск. миф.*).

...Как из стихий рожденная богиня, // Влекущая в свои объятья смертных...— Имеется в виду Афродита (см. прим. на стр. 563).

...Ты — царственная Гера... — богиня Гера, супруга Зевса, считавшаяся покровительницей брака и верных жен (*греч. миф.*).

...Так будь ты девой чудных древних басен... что... трон|| С Плутоном разделила... — Имеется в виду миф о похищении богини Персефоны (*Прозерпины*) богом Аидом (*Плутоном*), сделавшим ее своей супругой и царицей подземного мира (*антич. миф.*).

...ожидая светлой ||Улыбки Аполлона на востоке... — Имеется в виду восход солнца. Аполлон-Феб, бог—покровитель изящных искусств, был также богом света (*греч. миф.*).

...поэт, ||Что был когда-то в Греции... умер ||От виноградинки... — Анакреон (см. прим. на стр. 541), умер, согласно утверждению римского историка Плиния, задохнувшись попавшей ему в горло виноградной косточкой.

Жена каторжного. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *Д*, 1869, № 11, стр. 103. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

АЛЬФРЕД ТЕННИСОН

Альфред Теннисон (1809—1892) — английский поэт, эпигон романтизма, долгое время был придворным поэтом. Михайлов по этому поводу писал: «Самая сфера, в которой вращается с 1850 года Альфред Теннисон, не способствует поэзии» (*С*, 1861, № 1, Совр. обозрение, стр. 97—98). В творчестве Теннисона он ценил лишь стихотворение «Годива».

Годива. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 55—59. Впервые — *С*, 1859, № 9, стр. 5—8. Михайлов считал «Годиву» образцом того, «как следует воссоздавать старые предания»: «В ней такое полное отсутствие всяких искусственных приемов, такая естественная последовательность рассказа, что и переведенная в прозе она почти не утрачивает своей удивительной красоты и грации. Это большая похвала, потому что только произведения народной поэзии выдерживают такое испытание» (*РС*, 1860, № 1, отд. II, стр. 136).

...И сердцем жестким, как рука Исава... — Исав—сильный и смелый охотник (*библ.*).

ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

Генри Лонгфелло (1807—1882) — американский поэт. В очерке «Американские поэты и романисты» (статья вторая, *С*, 1860, № 12) Михайлов дал обзор его творчества и привел прозаический перевод вступления «Песни о Гайавате». Лучшей частью поэзии Лонгфелло Михай-

лов считал лирические стихотворения. В них, по мнению Михайлова, «слышится строгий голос твердого гражданского чувства, которым богаты так немногие из современных европейских поэтов» (*С*, 1860, № 12, Совр. обозрение, стр. 318).

Песни о невольничестве

Печатаются по автографам (*ГПБ*). Впервые — *С*, 1861, № 3, стр. 269—278, под заглавием «Песни о неграх», с «примечанием переводчика», где Михайлов писал: «Я перевел их («Песни о неграх».—*Г. К.*) все, сохранив, где только было возможно, размер подлинника, и со всею верностью, какой мог добиться от своего стиха». В статье «Американские поэты и романисты» Михайлов писал о «Песнях о невольничестве»: «Они проникнуты горячим чувством негодования и полны горьких укоризн свободной стране, которая до сих пор не может смыть с себя черного пятна невольничества. Картины богатой и щедрой природы, посреди которой совершаются оскорбляющие человечество несправедливости, сообщают еще более силы песням Лонгфелло» (*С*, 1860, № 12, Совр. обозрение, стр. 315). Переводы Михайлова, опубликованные в *С* вслед за обнародованием манифеста об «освобождении» крестьян, воспринимались современниками и как отклик революционной демократии на реформу 1861 г. «Песни о невольничестве» распространялись в списках (см. тетрадь, отобранную при аресте у студента Петербургского университета Николая Михайлова, *ЦГИА*, д. 230, ч. 28), после ареста Михайлова печатались во всех сборниках русской потаенной литературы.

К Вильяму Чаннингу. *Вильям Чаннинг* (1780—1842) — американский богослов, выступавший с проповедями против рабства.

Патмос — остров в Эгейском море, куда согласно христианской легенде был сослан *Иоанн* Богослов, написавший там *апокалипсис* — священную книгу, где предсказывается конец мира, наступление дня божьего суда — так называемого «Дня гнева».

Сон невольника. *Тамаринд* — тропическое дерево огромных размеров (до 25 м высоты) с раскидистой кроной.

Кафры — название народов, населяющих юго-восточную часть Африки.

Благая часть, яже не отымется. *Благая часть...* — добрые дела, путь добра (*еванг.*).

Кенгава — река в Северной Америке.

Невольник в Проклятом Болоте. В *С*—под заглавием «Негр в Проклятом Болоте». Из примечания Михайлова: «Бесчеловечная травля бежавших невольников собаками, которая послужила темой... стихотворению, не исключительный случай в невольничьих

штатах, а общепринятый способ возвращать непокорных рабов под власть хозяев».

Пенье невольника в полночь. *Гимн Давида вдохновенный...*— Давиду (XI—X вв. до н. э.), царю древнего Израиля, приписывается создание псалмов (торжественных песнопений), во многих из которых наряду с религиозными звучат воинственные и патриотические мотивы.

Сион — один из холмов, на которых расположен Иерусалим, отвоеванный Давидом у соседей и сделанный столицей Израиля (*библ.*).

Павел с Силой...— апостолы, распространители учения Христа (*библ.*).

Кватронка. *Кватронка* (квартеронка) — дочь белого и терцеронки (терцероны — дети белых и мулатов).

Предостережение. В примечании Михайлова говорится, что «предвестие», которым стихотворение кончается, сбудется над южными штатами, «если они останутся до конца верны самому гнусному из всех зверских инстинктов, еще гнездящихся в темных углах человеческой природы». Стихотворение привлекло внимание цензуры: так, в *изд. 1890 г.* перевод печатался без последней строфы. Цензор по этому поводу писал: «В этом стихотворении порабощенный народ сравнивается с Самсоном: «Он в скорби исступленной», восклицает поэт, «пошатнет столпы и нованья наших стен» (*изд. 1953 г.*, стр. 38).

Самсон — библейский герой, прославившийся подвигами в борьбе с поработителями своей страны, филистимлянами. Коварная возлюбленная его, филистимлянка Далила, узнав, что источником силы Самсона являются длинные волосы, отрезала их, когда он спал. Враги схватили обессилевшего Самсона, ослепили и заточили в подземелье храма. Когда волосы у Самсона отросли, он обрел прежнюю силу и разрушил храм, под развалинами которого погибли и его враги и он сам.

Excelsior! Печатается по автографу (*ГПБ*). Впервые — *изд. 1914 г.*, стр. 73—74. Стихотворение пользовалось большой популярностью в Америке наряду с «Песнями о невольничестве». В 1860 г. Михайлов писал по поводу этого стихотворения, что «в идеальном образе юноши, отказывающегося от мира и счастья и неудержимо идущего навстречу верной и неминуемой гибели, поэт хотел олицетворить энтузиазм, которым проникает все существо человека служение идее... Мы думаем, что чувство, которым проникнуто стихотворение Лонгфелло,—одно из лучших, наиболее чистых и благородных человеческих чувств» (*С*, 1860, № 12, Совр. обозрение, стр. 316). Там же был опубликован полный прозаический перевод «Excelsior!» В ссылке Михайлов вновь обратился к этому стихотворению и из девяти строф его перевел в стихах три первые.

ЭБЕНЗЕР ЭЛЛИОТ

Эбензер Эллиот (1781—1849) — английский поэт, известный под именем «поэта хлебных законов». Участвовал в демократическом движении за отмену охранявших интересы английских помещиков высоких пошлин на ввоз хлеба в Англию, был близок к рабочему движению (чартизму). «Общее недовольство народа нашло себе энергического... поэта... в Эбензере Эллиоте, — писал о нем Михайлов в статье о Т. Гуде. — Он сам вышел из рабочих классов, своим опытом узнал всю тягость и горечь положения фабричных и земледельцев, и песни его против хлебных законов вошли в народ, пелись всюду и значительно поддерживали тревожное настроение... В стихотворениях Эллиота больше ожесточения и угрозы, чем призывов к милосердию, как у Томаса Гуда» (т. III наст. изд.).

Надгробие поэта. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *Д*, 1869, № 11, стр. 152, с цензурным искажением восьмой строки на «Тюрьма — чертог — гроба́». Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг. Цензура не пропустила стихотворение в *изд. 1890 г.*, считая, что в нем «превозносится певец людских скорбей, клеймящий врагов народа» (*изд. 1934 г.*, стр. 653). Перевод печатался в сборниках запрещенной литературы.

ТОМАС МУР

Томас Мур (1779—1852) — ирландский поэт, поборник освобождения Ирландии из-под английского ига. «Ирландские мелодии» Т. Мура, проникнутые патриотическими и свободолюбивыми чувствами, стали народными песнями.

«Мир вам, почившие братья!..» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *Д*, 1869, № 12, стр. 72. В автографе и в *Д* имеет заглавие «Ирландские мелодии». Михайлов ошибочно отнес стихотворение к «Ирландским мелодиям» — оно входит в цикл «Национальные песни». Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

Из немецких поэтов

ИОГАНН-ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

Иоганн-Вольфганг Гете (1749—1832). Михайлов считал Гете «одним из величайших представителей не только своего времени и своей страны, но и всего человечества во всех веках» (рец. на перевод Н. Грековым «Фауста» Гете, т. III наст. изд.). Он начал переводить Гете в конце 40-х гг. Известны 44 перевода Михайлова из Гете.

Песня Миньоны. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 75—76. Впервые — *РС*, 1859, № 12, стр. 243—244.

Обман. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 76. Впервые — *Смирдин*, стр. 125. Положено на музыку В. Соколовым (1874) и К. Ю. Давыдовым (1870-е гг.).

Песня Клары. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 77. Впервые— *РВ*, 1859, март, кн. 2, стр. 253, в статье «Гарц» (перевод Михайлова из Гейне).

Могила Анакреона. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 77. Впервые — *И*, 1847, № 10, 13 марта, в другой редакции.

Анакреон — см. прим. на стр. 541.

Близость. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 78. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 2, стр. 15—16, без заглавия.

Близость милого. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 79. Впервые — *Смирдин*, стр. 126, под заглавием «Близость милой» и с незначительными изменениями. Положено на музыку А. И. Миклашевским (1881).

Вечерняя песня охотника. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 80. Впервые — *М*, 1851, ноябрь, кн. 2, стр. 217.

Новая любовь и новая жизнь. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 80—81. Впервые — *М*, 1851, ноябрь, кн. 2, стр. 217—218. Положено на музыку А. Балобановым (1880).

Сон и Дремота. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 82. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 25, 24 июня, в другой редакции, под заглавием «Близнецы».

Блаженство грусти. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 82.

Ночная песня странника. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 83. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 2, стр. 16.

Из «Четырех времен года»

«Факел возьми Прометеев: людей оживи ты им, Муза!..» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 78.

«Ты не знаешь, кому тебе верить? Верь жизни! Научит...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *Гете*, стр. 126. Подпись: М. М. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг. В беловой рукописи на листах, имеющих авторскую пагинацию, находятся еще три перевода стихотворений из «Четырех времен года», печатаемые ниже.

«Сядь на коня, на корабль — и Забота с тобою засядет...» Впервые — *И*, 1847, № 10, 13 марта, в другой редакции. В данной редакции впервые — *Гете*, стр. 126. Подпись: М. М.

Неравный брак. Впервые — *Гете*, стр. 126, под заглавием «Неровный брак». Подпись: М. М.

...Психея с годами ||Стала умна...— Психее, прекрасной девушке (олицетворение человеческой души в античной мифологии), возлюбленной Амура, пришлось вынести множество испытаний, прежде чем Амур добился у Зевса разрешения на брак с ней.

«Жить мы должны и любить. И жизнь и любовь прекратятся...» Впервые—*Гете*, стр. 127. Подпись: М. М.

Парка — одна из богинь человеческой судьбы, прядущих нити жизней людей. Человек, нить жизни которого перерезается паркой, умирает (*римск. миф.*).

Из «Венецианских эпиграмм»

«Жизнью украсил язычник свои саркофаги и урны...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 78—79.

...Фавны... козлоногий сатир...— божества полей, лугов, гор, лесов (*антич. миф.*); изображались обычно в виде людей с козлиными ногами.

Вакханки — участницы ночных празднеств Вакха, бога вина и веселья (*римск. миф.*).

Кимвал — кимвалы, древний музыкальный инструмент народов Востока.

Тимпан — ударный инструмент.

«Эта гондола мне кажется тихо качаемой люлькой...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 82.

«Тщетно ты веешь, Морфей, надо мной усыпительным маком...», «Пусть сумасброд, как морского песку, набирает адептов!..», «Вижу ли я богомольца, от слез не могу удержаться...» Печатаются по автографам (*ИРЛИ*) в порядке расположения на листах с авторской пагинацией. Переведены, вероятно, в 1862—1865 гг. Впервые — *Гете*, стр. 126—127. Подписаны: М. М.

«Порою мнится мне: на голове моей...» Печатается по *Гете*, стр. 114—115. Подпись: М. М. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 18, 1 мая, без указания, что это — перевод из Гете.

«Мидас! горька твоя участь была: в деснице дрожащей...» Печатается по *И*, 1847, № 10, 15 марта.

Мидас (конец VIII — начало VII вв. до н. э.) — царь древней Фригии (Малая Азия), получивший от богов в дар способность превращать своим прикосновением предметы в золото (*греч. миф.*).

Из «Фауста». Печатается по *ЛГ*, 1848, № 20, 20 мая, стр. 306—307. Еще в 1848 г. Михайлов перевел вторую часть «Фауста» (письмо

Михайлова В. Р. Зотову от 25 апреля 1848 г., *ИРЛИ*). Он внимательно следил за появлявшимися переводами «Фауста», требуя от переводчиков уважения к «великому подлиннику» и осуждая тех из них, кто заменял «неправильные стихи» Гете изящными, гладкими виршами (см. рец. на перевод «Фауста» Н. Грековым, т. III наст. изд.).

...*День гнева, этот день...* — слова из католического церковного гимна, который приводится в переведенной сцене и далее.

Первая потеря. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг. В рукописи следом за этим находятся еще восемь переводов из Гете, печатаемые ниже. Впервые — *Гете*, стр. 11. Подпись: М. М.

Напоминание, Избранный утес, Морская тишь. Впервые — *Гете*, стр. 124, 122, 402. Подписаны: М. М.

Счастливое плавание. Впервые — *Гете*, стр. 104. Подпись: М. М.

Эол — повелитель ветров, обитавший на расположенном к северу от Сицилии острове Эолии (*греч. миф.*).

Сознанное счастье. Впервые — *Гете*, стр. 123. Подпись: М. М.

Осеннее чувство. Впервые — *изд. 1866 г.*, стр. 129—130, в другой редакции, датированной 1855 г. В настоящей редакции впервые — *Гете*, стр. 75.

Земледельцу, Сладкие заботы. Впервые — *Гете*, стр. 124, 125. Подписаны: М. М.

Перед судом. Печатается по *Д*, 1869, № 11, стр. 150, где опубликовано без указания, что это перевод из Гете. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

Пряха. Печатается по *Д*, 1869, № 11, стр. 192. Подпись: М. М. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

Прометей. Печатается по *Н*, 1871, № 1, 5 января. Сохранился черновой автограф (*ИРЛИ*) перевода первых двух и половины третьего явления первого действия, где первое явление оканчивается ремаркой «Меркурий уходит», которой не было в первой публикации. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

Меркурий (*римск. миф.*) — то же, что Гермес (*греч. миф.*) — см. прим. на стр. 565.

Эпиметей — букв. «думающий после»,— брат Прометея, полная противоположность ему по характеру и поступкам (*греч. миф.*).

Минерва — дочь Юпитера, богиня мудрости, создательница и покровительница ремесл и искусств (*римск. миф.*).

...*Пандора, //Святая чаша всех даров...* — Пандора — букв. «наделенная дарами» — первая смертная женщина, созданная по велению

Зевса, чтобы принести людям несчастья. Боги наделили ее дарами — красотой, силой, прекрасными одеждами. Зевс дал ей сосуд, заключающий в себе бедствия, и подарил ее в жены Эпиметею. Любопытная Пандора однажды сняла крышку с подаренного ей таинственного сосуда, и бедствия распространились среди людей (*греч. миф.*). У Гете Пандора — дочь Прометея.

Мира (Мирра) — будущая мать Адониса, прекрасного юноши, олицетворявшего у древних греков недолговечность расцвета сил и красоты в природе и человеке (*греч. миф.*). Разъяснения гетевского Прометея Пандоре сущности любви как блаженной смерти и следующего за ней воскресения выдержаны в духе мифов об Адонисе.

Кто мне помог //С титанами бороться?..— Прометей принимал участие в борьбе с титанами (*греч. миф.*) — см. прим. на стр. 565.

Филомела. Печатается по *Гете*, стр. 412.

Филомела — здесь: певица с необыкновенным голосом; подробно см. прим. на стр. 612.

Свиданье и разлука. Печатается по *изд. 1890 г.*, стр. 107—108. Впервые — *изд. 1866 г.*, стр. 130, без двух последних строф.

Благодать. Печатается по *изд. 1914 г.*, стр. 96.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

Фридрих Шиллер (1759—1805). Михайлов переводил Шиллера в течение всей жизни. Из произведений Шиллера Михайлов особенно высоко ценил драму «Разбойники». Он принимал деятельное участие в подготовке предпринятого Н. В. Гербелем в 1856—1862 гг. первого в России издания сочинений Шиллера в переводах русских писателей (см. переписку Н. В. Гербеля с М. Л. Михайловым, *ЦГАЛИ*, *ИРЛИ*). В это издание вошли и опубликованные ранее и сделанные специально для него Михайловым переводы стихотворений, трагедии «Коварство и любовь», романа «Духовидец». Чернышевский и Добролюбов приветствовали на страницах «Современника» появление этого собрания сочинений Шиллера. Михайлов написал рецензию (см. т. III наст. изд.) на издание Гербеля, в которой характеризовал Шиллера как «благороднейшего, чистейшего», «величайшего по гуманности поэта последнего времени». Из вошедших в это издание Михайлов отметил переводы Жуковского, Тютчева, Фета, Мея, К. Аксакова, Струговщикова. Сам Михайлов получил как один из лучших переводчиков Шиллера в 1861 г. диплом от Schillers Verein[1] (письмо Л. П. Шелгуновой М. В. Авдееву от 5 февраля 1861 г., *ЦГИА*, ф. 109, оп. 91, ед. хр. 397).

---

[1] Шиллеровское общество (*нем.*), созданное в Германии во время празднования столетия рождения поэта.

Беспредельность. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 84—85. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 2, стр. 145—146, с изменениями отдельных строк.

Миг. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 85—87. Впервые — *Шиллер IV*, стр. 319—320.

Церера — богиня плодородия, покровительница посевов (*римск. миф.*).

Оры — богини времен года и погоды (*греч. миф.*).

Феб — см. прим. на стр. 569.

Ирида — богиня радуги (*греч. миф.*).

Дифирамб. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 87—88. Впервые — *ОЗ*, 1855, № 9, стр. 316, с изменением строки двадцать первой.

Вакх — см. прим. на стр. 574.

Эрот (*греч. миф.*) — Амур (*римск. миф.*).

Феб — см. прим. на стр. 569.

Олимпийцы — боги, жившие на горе Олимп (*греч. миф.*).

Геба — богиня, разливавшая на пиршествах богов нектар — напиток, дающий молодость и красоту (*греч. миф.*).

Стикс — подземная река, через которую переправлялись души умерших по пути их в царство мертвых (*греч. миф.*).

Прощание Гектора. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 88—89. Впервые — *СО*, 1847, № 3, отд. III, стр. 2—3, в другой редакции. В основе стихотворения лежит эпизод из IV песни «Илиады».

Гектор — сын *Приама*, царя Трои (*Илион*, *Твердыни илионские*), города на побережье Малой Азии, взятого врагами после долгой осады (*греч. миф.*).

Ахилл — герой, участник похода против Трои (*греч. миф.*).

Патрокл — друг Ахилла, убитый Гектором в битве за Трою (*греч. миф.*).

Орк — бог подземного царства и смерти (*римск. миф.*), здесь — царство мертвых.

Пергам — здесь: Троянское царство.

Стикс — см. выше.

Коцит — «река воплей» в подземном царстве (*греч. миф.*).

Надовесская похоронная песня. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 89—91. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 5, стр. 42—43, под названием «Надовесский похоронный плач», с изменением отдельных строк. Сохранился автограф (*ГПБ*), текст которого совпадает с опубликованным в *БДЧ*.

Надовесии (дакоты) — североамериканское индейское племя.

Истукан Изиды. Печатается по беловому автографу (*ГПБ*). Впервые — *Шиллер I*, стр. 114—118, под заглавием «Истукан в Саисе», в другой редакции, черновой автограф которой (*ГПБ*) датирован 1853 г.,

В настоящей редакции был напечатан также во втором издании *Шиллера IV*, с примечанием редактора, где говорилось, что переводчик, «не будучи доволен своим переложением, сделанным им в раннюю пору своей литературной деятельности, перевел балладу вновь».

Изида (Исида) — богиня мудрости (*егип. миф.*).

Колумб. Печатается по автографу (*ГПБ*). Впервые — *ОЗ*, 1854, № 2, отд. I, стр. 333, под названием «Коломб», в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *изд. 1862 г.*, стр. 95.

Одиссей. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 95—96. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, в другой редакции.

Одиссей — см. прим. на стр. 560.

Сцилла — без умолку лающее чудовище с шестью головами и двенадцатью лапами.

Харибда — подводное божество, поглощавшее и извергавшее морские воды (*греч. миф.*).

Нения. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 96. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 22, 3 июня, в другой редакции.

Нения — похоронное причитание древних римлян.

Зевс стигийский. — Имеется в виду бог подземного мира «теней» усопших Аид (*греч. миф.*).

Не усладить Афродите прекрасного юноши рану... — Возлюбленный Афродиты (см. прим. на стр. 563) Адонис был убит на охоте вепрем (*греч. миф.*).

И бессмертная мать не спасла великого сына... — Речь идет о смерти Ахилла (см. прим. на стр. 577), сына дочери бога *Нерея* (см. подробно прим. на стр. 595), морской богини Фетиды (*греч. миф.*).

Илиада. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 97. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 19, 13 мая, в другой редакции. Еще одна редакция — *Шиллер I*, стр. 248. Стихотворение написано Шиллером в связи с появлением в конце XVIII века исследований, где утверждалось, что поэмы Гомера (см. прим. на стр. 564) созданы якобы многими поэтами.

Сеятель. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 97. Впервые — *Шиллер I*, стр. 248.

Согласие. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 97. Впервые — *Шиллер II*, стр. 206, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *Шиллер IV*, стр. 331.

Архимед и ученик. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 97—98.

Самбука — осадная машина.

Ожидание и исполнение. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 98. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, в другой редакции.

Данаиды. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 99. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, в другой редакции.

Данаиды — дочери царя Даная, убившие своих мужей и осуж-

денные за это наполнять после смерти в подземном царстве водой бездонную бочку (*греч. миф.*).

Друг и враг, Ребенок в колыбели. Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 98—99. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, в другой редакции.

Triebfedern. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 99. Впервые — *Шиллер IV*, стр. 323.

Лжеученые. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 99. Впервые — *Шиллер I*, стр. 251, под заглавием «Ложное стремленье к науке».

Ученый работник, Общая участь, К Музе. Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 100. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, первые два — в другой редакции. «Ученый работник» в настоящей редакции впервые — *Шиллер IV*, стр. 331.

Ключ, Наше поколение. Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 100. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа, в другой редакции, последнее стихотворение под заглавием «Нынешнее поколение».

Благо и величие, Великий миг, Натуралисты и трансцендентальные философы. Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 101. Впервые — *Шиллер IV*, стр. 323—324.

Милость муз. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 102. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, в другой редакции.

Мнемозина — богиня памяти, мать муз, покровительница искусств (*греч. миф.*).

Печать с изображением головы Гомера. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 102. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа, в другой редакции, под заглавием «Печать с головой Гомера».

Печать-перстень с изображением головы Гомера была сделана Шиллеру по его заказу в 1790 г.

Долг каждого. Печатается по автографу 1862—1865 гг. (*ИРЛИ*). Впервые — *Шиллер II*, стр. 203, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 237.

ЛЮДВИГ УЛАНД

Людвиг Уланд (1787—1862) — немецкий поэт-романтик. Михайлов ценил в поэзии Уланда близость к фольклору. Характеризуя германскую поэзию 1820-х гг., «терявшуюся тогда в туманах романтики», Михайлов писал: «Только в Уланде было заметно стремление к некоторой безыскуственности» (*изд. 1858 г.*, стр. XIV).

Блаженная смерть. Печатается по автографу (*ГПБ*), как и следующие пять переводов. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *изд. 1862 г.*, стр. 103.

Пастушья песня. Впервые — *Смирдин*, стр. 123.

Развалины. Впервые — *изд. 1862 г.*, стр. 106.

Король на башне. Впервые — *Смирдин*, стр. 121.

Мать и дитя. Впервые — «Подснежник», 1858, № 3, стр. 1, в драматической форме.

Весенний покой. Впервые — *изд. 1862 г.*, стр. 106.

Прощанье. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 107.

Горный пастух. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). На том же листе находится еще один перевод из Уланда — «Добрый товарищ». Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг. Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 152—153. В 1874 г. не было разрешено к публикации в журнале «Дело»: цензура увидела в «горном пастухе» человека, «воспевающего свою свободу, которую не сломят даже и стихии» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, № 76).

Добрый товарищ. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 153—154.

АВГУСТ КОПИШ

Август Копиш (1799—1853) — немецкий поэт-юморист, автор песен, созданных на основе фольклорных сюжетов. «История о Ное» переведенная Михайловым,— самое популярное произведение Копиша в Германии.

Серенада близ Везувия, История о Ное. Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 108—110.

ФРИДРИХ РЮККЕРТ

Фридрих Рюккерт (1789—1806) — немецкий поэт и ученый-востоковед. По немецким переводам Рюккерта поэтов Востока создавали свои подражания восточному многие русские поэты, в том числе и Михайлов.

У дверей. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 112. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 17, 25 апреля, в другой редакции, автограф которой хранится в *ИРЛИ*. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1858, март, кн. 2, стр. 292.

Хидгер. Печатается по списку неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *ОЗ*, 1870, № 4, стр. 469—470, с незначительными разночтениями.

АДАЛЬБЕРТ ШАМИССО

Адальберт Шамиссо (1781—1838) — немецкий демократический поэт-романтик, автор антифеодальных сатир, политических баллад и многочисленных лирических стихотворений, посвященных жизни

простых людей. Шамиссо принадлежит вольный перевод на немецкий язык думы К. Ф. Рылеева «Войнаровский».

Н а м е л ь н и ц е. Печатается по автографу (*ГПБ*). Впервые — «Век», 1861, № 4, стр. 134—135, без указания на Шамиссо, с подзаголовком «Из Андерсона» и изменением отдельных строк. По автографу впервые — *изд. 1862 г.*, стр. 115—119.

ФЕРДИНАНД ФРЕЙЛИГРАТ

Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876) — немецкий революционный поэт, «трубач революции»,— как он сам себя называл в письмах к К. Марксу, с которым был дружен. Фрейлиграт был членом «Союза коммунистов», но в 50-е годы отошел от революционного движения. Михайлов считал Фрейлиграта «поэтом образов ярких и блестящих» («Стихотворения А. Н. Плещеева», т. III наст. изд.), отмечал, что переводить Фрейлиграта нелегко — «он отличается большою цветистостью языка, изысканностью картин и выражений» (рец. на «Стихотворения Ф. Миллера», *PC*, 1859, № 12, отд. II, стр. 46).

У г р о б о в щ и к а. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 120—121. Впервые — *С*, 1860, № 12, стр. 467—468.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Генрих Гейне (1797—1856). Михайлову Гейне был особенно близок. Н. В. Шелгунов писал: «...любимым его поэтом был Гейне, конечно, потому, что у Михайлова был тот же душевный склад, те же переходы от серьезного настроения к внезапной иронии или шутке и тот же острый, тонкий ум, умевший схватывать оттенки мыслей и чувств. Михайлов облюбливал или вещи с гражданскими мотивами, или такие, где глубокая мысль разрешалась внезапной злой иронией» (*Шелгунов*, стр. 96). Переводить Гейне Михайлов начал еще в юности и переводил до конца жизни.

Первый перевод Михайлова из Гейне («Сосна и пальма») был опубликован в 1845 г. А в письме В. Р. Зотову от 8 сентября 1848 г. Михайлов сообщал: «Я почти всего его (Гейне. — *Г. К.*) перевел» (*ИРЛИ*, ф. 93, № 166). До нас дошло около ста сорока стихотворных переводов Михайлова из Гейне и несколько прозаических.

В 50-х гг. он переводит из Гейне особенно много, притом не только поэзию, но и публицистику. В 1859 г. Михайлов переводит вторую часть «Италии», которую считал «едва ли не жесточайшей из всех сатир». В 1860 г. в переводе Михайлова проскальзывает в печать одно из строжайше запрещенных в России и за границей (см. А. Ф е д о р о в, Ген-

рих Гейне и царская цензура, Литературное наследство, № 22—23) произведений Гейне — «Идеи. Книга Ле Гран». В эти же годы выходят «Песни Гейне» в переводе М. Л. Михайлова и его биографические заметки о Гейне — первый опыт биографии Гейне в России (*БДЧ*, 1858, № 6).

Михайлов много работал над переводами из Гейне, о чем свидетельствуют сохранившиеся в архивах варианты переводов. Вот что писал Михайлов как переводчик в предисловии к «Италии»: «Проза Гейне, как и стихи его, полна смелых неологизмов, самых неожиданных переходов из тона в тон; романтическая настроенность сменяется часто циническою реальностью; патетические тирады чередуются с самыми грубыми фразами. По привычке нашей к рутине, многое кажется диким в манере Гейне; но сохранить именно эту дикость, эту своеобразность было моею задачею, насколько можно с нею сладить» («Италия», Из Путевых картин» Гейне, От переводчика, *С*, 1859, № 9, стр. 3). Михайлов считается одним из выдающихся переводчиков Гейне. Многие переводы Михайлова входят в советские издания сочинений Гейне.

Пролог. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 1—4. Впервые — *БДЧ*, 1859, № 1, отд. I, стр. 147—148, без заглавия, с изменением отдельных строк.

«Сфинкс! над разгадкою тайны твоей...» — Гейне использовал в стихотворении популярный в древнегреческой мифологии и искусстве сюжет: чудовище-сфинкс, обитавшее в одной из местностей Греции, останавливало прохожих, задавало им неразрешимые загадки, после чего пожирало их или сбрасывало со скалы.

Грезы

«Мне снились страстные восторги и страданья...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 7. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 141. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым («К моей песне», 1870).

«Снилась мне девушка: кудри как шелк...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 8. Положено на музыку М. А. Балакиревым («Сон», 1865).

«Ночь могилы тяготела...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 9—11. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 144—145, с изменением отдельных строк.

«Зловещий грезился мне сон...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 12—16. Впервые — *С*, 1858, № 3, стр. 114—117.

«И я когда-то знал край родимый...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 17.

Сумерки богов. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 132—136.

Впервые — *С*, 1860, № 8, стр. 471—473, с цензурными искажениями: под заглавием «Сумерки», с заменой в строке 74 точками слов «твердыни неба», с пропуском строк 77—82 и 85—95. В *изд. 1866 г.* пропущены строки 79—82 и 93—95; в *изд. 1890 г.* и *изд. 1914 г.* — от 77 до конца стихотворения.

Конец стихотворения более всего вызывал опасения цензуры: «В этом стихотворении под видом описания погибели скандинавских богов изображается падение христианского бога»,— указывалось в донесении по поводу *изд. 1890 г.* (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

На Гарце

Гарц — местность на северной окраине Средне-Германских гор.

«Фраки, белые жилеты...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 21—22. Впервые — *С*, 1858, № 3, стр. 117—118.

Горная идиллия. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 138—146. I и III части впервые — *изд. 1858 г.*, стр. 23—30. I, II и III части вместе впервые — *РВ*, 1859, март, кн. 2, стр. 269—274, в михайловском переводе статьи Гейне «Гарц», без последних трех строф во второй части. Там же содержатся переводы «Пастуха», «Солнце близко; на востоке...», «Ильзы».

Пастух. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 208—209, где помещен в разделе «Романсы и баллады». Впервые — *РВ*, 1859, март, кн. 2, стр. 275. В раздел «На Гарце» впервые, как и «Ильза», включен в *изд. 1866 г.* (под названием «Молодой пастух»).

«Солнце близко; на востоке...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 171—172, где напечатан в разделе «Песен». Впервые — *РВ*, 1859, март, кн. 2, стр. 287—288.

Ильза. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 204—205, где помещен в разделе «Романсы и баллады». Впервые — *РВ*, 1859, март, кн. 2, стр. 292.

В неге такой //Не таял и царственный Генрих, //Покойный возлюбленный мой... — Гейне приводит в «Путешествии по Гарцу» легенду о древнесаксонском императоре Генрихе, который «императорски наслаждался с Ильзою, прекрасной водяной феею в ее заколдованном замке-утесе» (перевод Михайлова, *РВ*, 1859, март, кн. 2, стр. 293).

Песни

«Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова» (1858) —первое отдельное издание Гейне в русском переводе — вызвали восторженные отзывы современников. Добролюбов откликнулся на книгу переводов Михайлова рецензией, где высоко оценил предисловие, выбор стихотворений и качество переводов, в которых, по его мнению, «нельзя не заметить

поэтического чувства, возбуждающего в читателе именно то настроение, какое сообщается и подлинником. Чувствовать, а не только понимать мысль Гейне, переводя его, необходимо, может быть, более, нежели при переводе всякого другого поэта... у г. Михайлова есть именно эта способность чувствовать поэзию Гейне...» (*Добролюбов, ПСС*, т. I, стр. 366—367). После ареста Михайлова книга была запрещена (в *ЛБ* хранится список ее 70-х гг.).

В предисловии к «Песням Гейне» Михайлов писал: «Песня Гейне зазвучала свежестью и простотой народной песни.

При этой внешней простоте уменье схватывать самые неуловимые движения сердца, подмечать самые тонкие черты и отношения в природе составляет обаятельную силу поэзии Гейне.

Вся окружающая природа живет какою-то особенною, сочувственною человеку жизнью в его песнях. В них слышны щебетание птиц и гармония леса; от них веет ароматом весны и ее цветов. И может ли быть иначе? Из слез поэта родятся душистые розы, вздохи его превращаются в хор соловьев. Он погружает душу свою в чашу лилии, и лилия звучит, благоухая, песней о его милой. Цветы перешептываются между собой и сострадательно смотрят на него, когда, грустен и бледен, бродит он по саду...» (*изд. 1858 г.*, стр. XIV—XV). Михайлов включил в раздел «Песен» переводы стихотворений Гейне из циклов: «Лирическое интермеццо», «Опять на родине», «Новая весна».

«Дай ручку мне! к сердцу прижми ее, друг!..» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 33. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 42, 16 октября, в другой редакции. В настоящей редакции впервые—*РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 382—383. Положено на музыку И. А. Помазанским (1874).

«Из слез моих много, малютка...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 34. Впервые — *И.*, 1847, № 9, 8 марта, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 141—142. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым (1866) и А. К. Лядовым (1873).

«Когда гляжу тебе в глаза...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 35. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 142.

«Щекою к щеке ты моей приложись...» Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 381, с изменением отдельных строк. По автографу впервые—*изд. 1953 г.*, стр. 351. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым (1865), Г. О. Коргановым (1877) и А. Вилламовым («Перед разлукой», 1886). В 1873 г. издание нот романса было дозволено Цензурным комитетом лишь при условии, если не будет напечатано имя переводчика, «государственного преступника» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 3, № 67).

«Стоят от века звезды...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 37. Впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 383.

«Опустясь головкой сонной...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 38. Впервые — *БДЧ*, 1855, № 1, отд. I, стр. 3. С заглавием «Лотос» было написано в альбом Гербеля (*ГПБ*), датировано 1853 г.

«Когда-то друг друга любили мы страстно...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 39. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 142.

«На северном голом утесе...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 40. Впервые — *И*, 1845, № 11, 16 июня, под заглавием «Сосна и пальма», в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 383. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым («Ель и пальма», 1866).

«Как пришлось с тобой расстаться...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 41. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 142—143.

«Только до слуха коснется...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 42. Положено на музыку П. Григорьевым (1875) и П. Щуровским (1877).

«Лето жаркое алеет...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 43. Впервые — *И*, 1847, № 4, 23 января, в другой редакции. Впервые в настоящей редакции — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 381. В этой же редакции под заглавием «Лето и зима» в 1856 г. написано в альбом Е. Штакеншнейдер (*ЦГАЛИ*).

«Полны мои песни...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 44. Впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 381—382.

«Во сне неутешно я плакал...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 45. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 42, 16 октября, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 143. Положено на музыку В. Ельховским (1869) и Ц. А. Кюи, Н. Н. Лодыженским (1871).

«Падает звездочка с неба. . .» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 46—47. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 143.

«Полночь немая была холодна...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 48. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 25, 24 июня, в другой редакции.

«Не радует вешнее солнце...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 49—50. Впервые — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 145—146.

«Печален по роще брожу...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 51. Впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 384. В *ЛБ* сохранился автограф с изменением в строке шестой.

«Привяжи, душа-рыбачка...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 52. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 27, 3 июля, в другой редакции. Впервые в настоящей редакции — *РВ*, 1856, ноябрь, кн. 1, стр. 146. В первой редакции положено на музыку (1847—1848) А. Е. Варламовым.

«Вихорь смерчи водяные...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 53.

«Безбрежное море кругом...», «Объятый туманными снами...» Печатаются по *изд. 1858 г.*, стр. 54—56. Впервые — *ОЗ*, 1857, № 12, стр. 732—733.

«Снежная изморозь, ветер...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 57—58.

«Как сквозь облачного дыма...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 59—60. Впервые — *ОЗ*, 1857, № 12, стр. 733, с изменением в первой строке.

«Ты, как цветок весенний...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 61. Впервые — *И*, 1847, № 9, 8 марта, в другой редакции, без подписи. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 382.

«Пусть на землю снег валится...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 62. Впервые — *РВ*, 1856, март, кн. 2, стр. 108.

«Я к белому плечику милой...», «Трубят голубые гусары...» Печатаются по *изд. 1858 г.*, стр. 63—64. Сохранились автографы другой, первоначальной редакции <1849—1851> (*ЛБ*). Второе стихотворение положено на музыку Ц. А. Кюи (1835—1918).

«Я при первой нашей встрече...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 65. Впервые — *РВ*, 1856, май, кн. 2, стр. 382.

«Смерть — прохладной ночи тень...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 66. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 23, 12 июня, в другой редакции.

«Дождался я светлого мая...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 67. Впервые — *И*, 1847, № 9, 8 марта, в другой редакции.

«Глазки весны голубые...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 68. Впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 1, стр. 437. Положено на музыку П. И. Чайковским (1873).

«Как трепещет, отражаясь...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 69. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 1, стр. 437.

«Священный союз заключили...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 70. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 3, 15 января, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 1, стр. 438.

«Скажи мне, кто вздумал часы изобресть...», «Тот же сон, что снился прежде!..» Печатаются по *изд. 1858 г.*, стр. 71—73. Впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 1, стр. 438—439.

«Тень — любовь твоя и ласки...», «Корабль мой на черных плывет парусах...» Печатаются по *изд. 1858 г.*, стр. 74—75.

«Все море, братья, в час заката...» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 76. Впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 1, стр. 439.

«Из края в край твой путь лежит. . .», «Как расстаются двое. . .» Печатаются по автографам (*ГПБ*). Впервые — *PC*, 1859, № 10, отд. I, стр. 179—180.

«И розы на щечках у милой моей...», «На дальнем небосклоне. . .», «Лежу ли бессонною ночью. . .», «Полно, сердце! что с тобою?..» Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 168—170. Впервые — *PC*, 1859, № 10, отд. I, стр. 180.

«Липа вся под снежным пухом. . .» Печатается по автографу (*ГПБ*). Сохранился еще один автограф (*ИРЛИ*), с заглавием «Новая весна» и изменениями в отдельных строках. Впервые — *РВ*, 1859, апрель, кн. 2, стр. 654, под заглавием «Весна».

«Порою картины былого. . .», «Сердце мне терзали. . .» Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 172—174.

«Буря поет плясовую. . .», «Случайно со мной повстречалась. . .», «Снова роща зеленеет. . .», «Как-то раз в потемках жизни. . .» Печатаются по *изд. 1862 г.*, стр. 174—177. Впервые — *PC*, 1859, № 10, отд. I, стр. 181—183.

«Как из пены волн рожденная. . .» Печатается по автографу 1862—1865 гг. (*ИРЛИ*), как и следующие 11 переводов. Сохранен порядок расположения этих переводов в рукописи. Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 180.

Как из пены волн рожденная... — Имеется в виду Афродита (см. прим. на стр. 563).

«Дитя мое, свет глуп и слеп...» Впервые — *ЖО*, 1888, № 10, стр. 159. Подпись: Мих. Илецкий.

«Я не ропщу, хоть в сердце стынет кровь...», «Несчастна ты, — и ропот мой молчит. . .» Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 180—181.

«Свадебной радости полны. . .» Впервые — *изд. 1914 г.*, стр. 147.

«Я глазки у милой моей. . .» Впервые — *ЖО*, 1887, № 11, стр. 162. Подпись: Мих. Илецкий.

...В... канцонетах... октавах... триолетах... терцетах... — формы лирической поэзии французского и итальянского происхождения. Канцонета (канцонетта) — короткое стихотворение (5—7 строф) с одинаковыми рифмами для всех строф. Октава — стихотворная строфа из восьми строк. Триолет — восьмистишие, где четвертый и седьмой стихи повторяют первый, а восьмой повторяет второй стих. Терцет — строфа из трех строк.

«Самоубийц хоронят. . .» Впервые — *ЖО*, 1888, № 10, стр. 159. Подпись: Мих. Илецкий.

«К о г д а   б ы   ц в е т ы   т о   у з н а л и. . .» Впервые — *ОЗ*, 1874, № 5—6, стр. 370. Подпись: М.

«О т ч е г о   э т о, м и л а я, р о з ы   в   ц в е т у...» Впервые — *ОЗ*, 1874, № 7, стр. 199. Подпись: М. Положено на музыку Ц. А. Кюи (1870).

«О, я   н е с ч а с т н ы й   А т л а с! Ц е л ы й   м и р...» Впервые — *ЖО*, 1888, № 10, стр. 147. Подпись: Мих. Илецкий.

Атлас — титан, державший на своих плечах небесный свод (*греч. миф.*).

«И д е т   з а   п л е м е м   п л е м я. . .» Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 195, с разночтением в первой строке.

«Т е б я   у м ч и т   д а л е к о. . .» Впервые — *изд. 1914 г.*, стр. 145—146.

Ганг — река в Индии, считается священной.

Думы

«С   т о л п о й   б е з у м н о ю   н е   с т а н у. . .» Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 79—80. Впервые — *РВ*, 1856, март, кн. 2, отд. II, стр. 105—106, в статье «Генрих Гейне», где стихотворению предпосланы следующие строки: «Страх пасть перед силою господствующих предубеждений не смущал поэта. Вот что он говорит в одном из своих сонетов, который мы попытаемся передать в более свободной форме четырехстопного ямба».

Известный в то время немецкий поэт и переводчик русских поэтов А. фон Видерт в рецензии на «Песни Гейне в переводе Михайлова» писал, что «стихотворение это служит блистательнейшим примером таланта переводчика. Он даже хорошо сделал, что передал стихотворение не в сонете, а в другой, более сообразной с мыслью поэта, форме... Может быть, даже самая форма содействует тому, что русский перевод превосходит подлинник, но и помимо этого переводчик, нисколько не отступая от того, чего хотел оригинал, выразился гораздо определеннее, сильнее, изящнее молодого Гейне» («Атеней», 1858, ч. IV, стр. 136). В *ЛБ* сохранился список стихотворения, сделанный в конце 50-х гг.

«Б р о с ь   с в о и   и н о с к а з а н ь я. . .» Печатается по автографу (*ЛБ*), датирован: «18 мая. 1858 г.» Впервые — *С*, 1858, № 3, стр. 125, с цензурными искажениями, которые повторялись в последующих дореволюционных изданиях. В *С*, *изд. 1866 г.* и *изд. 1890 г.* строки вторая и одиннадцатая печатались:

И гипотезы пустые!
Иль она играет нами?

Строка девятая в *С* печаталась:

Кто виной? Закону ль правды

В *изд. 1866 г.* и *изд. 1890 г.* девятая строка печаталась:

Кто виной? Иль силе правды

При запрещении *изд. 1866 г.* цензор писал об этом стихотворении: «Довольно определенно выражается мысль, что в мире нет провидения, а по ту сторону гроба не будет награды за добродетель» (*изд. 1953 г.*, стр. 696).

Без цензурных искажений перевод распространялся в списках и впервые был опубликован в журнале «Былое», 1906, № 2, стр. 287.

Афронтенбург. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 83—86. А. фон Видерт в своей рецензии на «Песни Гейне в переводе Михайлова» по поводу этого стихотворения писал об умении Михайлова превосходно переводить «решительные, резкие звуки» Гейне («Атеней», 1858, ч. IV, стр. 137).

Афронтенбург — букв. «Замок оскорблений»,— загородная вилла дяди Гейне — Соломона Гейне, у которого Гейне в молодости провел несколько лет.

...Старик придирчивый Борей...— Борей — см. прим. на стр. 557. В данном случае имеется в виду Соломон Гейне.

Ночные мысли. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 87—89. Впервые — *С*, 1858, № 3, стр. 123—124.

Романсы и баллады

Гренадеры. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 93—95. Впервые — *И*, 1846, № 40, 26 октября, в другой редакции. Вот, например, первые строки:

Во Францию два гренадера пошли,
В плену на Руси они были...
Когда же в немецкую землю пришли —
Повеся головки, тужили.
Услышали горькую весть они там,
Что край свой они потеряли,
Что храброе войско сдалося врагам,
Что в плен императора взяли...

Перевод Михайлова утвердился в печатаемой нами редакции, о которой Блок писал: «Гренадеры» сами по себе представляют такую большую ценность, с которой расстаться жалко» (А. Блок, Собр. соч., т. XI, Л. 1934, стр. 236). Перевод Михайлова используется русскими певцами при исполнении романса Шумана «Два гренадера».

Гонец. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 96—97. Впервые — *И*, 1848, № 42, 18 ноября, под заглавием «Весть», в другой редакции. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым (1866).

Король Ричард. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 98—99. Впервые — *С*, 1858, № 3, стр. 123.

...Львиное Сердце Ричард...— английский король Ричард Львиное Сердце. Царствовал с 1189 по 1199. В Англии долгое время отсутствовал, занятый беспрерывными войнами и крестовым походом 1190—1192 гг.

«...вырвался ты ||Цел из австрийских когтей!»— При возвращении из крестового похода Ричард в 1192 г. близ Вены был схвачен и арестован его личным врагом герцогом Леопольдом V Австрийским.

Трагедия. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 100—102. Впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 1, стр. 436—437.

Женщина. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 103—104.

Рыцарь Олаф. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 105—110. Впервые — *РВ*, 1857, июнь, кн. 2, стр. 602—604.

Гаральд Гарфагар. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 111—112.

Гаральд Гарфагар — норвежский король (863—933).

Гастингское поле. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 113—119. Впервые — *БДЧ*, 1857, № 11, отд. I, стр. 125—128, с пропуском, вероятно цензурным, строк 109—112 и с примечанием Михайлова, в котором сообщается, что в основе стихотворения лежит исторический факт.

...Проигран при Гастингсе бой...— В битве у г. Гастингса в 1066 г. войско англо-саксонского короля Гарольда было разбито войском нормандского герцога Вильгельма I.

Богомольцы в Кевларе. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 120—126. Впервые — *И*, 1858, № 12, 20 марта. Цензор по поводу *изд. 1866 г.* писал, что в этом стихотворении звучит «насмешка над религиозной верою в заступление святых» (*изд. 1953 г.*, стр. 696).

Кевлар — город в прусской рейнской провинции, куда стекались толпы паломников к якобы чудотворной иконе богоматери.

Асра. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 206. Впервые — *РС*, 1859, № 10, отд. I, стр. 181.

Пастор. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 206—208. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 32, 12 августа, под заглавием «Мертвец», в другой редакции, с цензурными искажениями.

Альманзор. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 209—214. Сохранился черновой автограф (*ГПБ*).

Кордуанский собор — построенная в VIII веке в Кордове мечеть,

обращенная после отвоевания города у арабов испанцами в XIII веке в христианский храм.

Валтасар. Печатается по автографу (*ИРЛИ*) в редакции 1862—1865 гг. Впервые — *изд. 1862 г.*, стр. 214—216, в другой редакции. В настоящей редакции впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 174—176.

...Рука явилась — вся в огне... — Последний царь Вавилонии Валтасар увидел во время пира таинственную руку и написанные ею на стене огненные слова, предвещавшие ему гибель (*библ.*).

Ратклиф. Печатается по *Д*, 1869, № 11, стр. 188—191. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

На смертном одре

В этот раздел вошли переводы стихотворений Гейне в основном из цикла «Сетования» (раздел «Лазарь»), написанных им в последние годы жизни. Михайлов писал в своем предисловии к «Песням Гейне», что некоторые из стихотворений этого цикла «кажутся каким-то страшным криком боли, и их нельзя читать без содрогания» (*изд. 1858 г.*, стр. III).

Радость и горе, Оглядка на прошлое. Печатаются по *изд. 1858 г.*, стр. 129—132. Впервые — *С*, 1853, № 1, стр. 158—160.

В мае. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 219—220. Впервые — «Поэты всех времен и народов», ч. II, СПБ 1862, стр. 122—123, с изменением отдельных строк.

Орк — см. прим. на стр. 577.

Стикс — см. там же.

Стимфалиды — гнездившиеся близ города Стимфала птицы, покрытые бронзовыми перьями, сбрасывая которые, они убивали людей и животных (*греч. миф.*).

Фурии — живущие в преисподней богини-мстительницы (*римск. миф.*).

Персефона — см. прим. на стр. 569.

Умирающие. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 133. Впервые — *БДЧ*, 1857, № 3, отд. I, стр. 4, без заглавия.

Скорбь вавилонская. Печатается по *изд. 1858 г.*, стр. 134—136. Впервые—*БДЧ*, 1857, № 3, отд. I, стр. 4—6, с изменением в строке 23.

Скорбь вавилонская — выражение, возникшее из 136 псалма библии, где рассказывается о тоске евреев, плененных Вавилоном, по родным местам.

...жадный кайман... — каймановая рыба, достигающая иногда шести метров длины и имеющая сильно вытянутое рыло, вооруженное зубами.

Enfant perdu. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *С*, 1864, № 11—12, стр. 386, без подписи и с цензурными искажениями, вследствие которых читались:

строка 1 — Забытый часовой в войне известной

строка 3 — Победы я не знал, сражаясь честно

По автографу впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 377—378.

Порядок вещей, Оборванцы. Печатаются по автографам 1862—1865 гг. (*ИРЛИ*), как и следующие четыре перевода из цикла «Лазарь». Сохранен порядок расположения переводов в рукописи. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 365, 367.

Остывший. Впервые — «Труд», 1893, № 5, стр. 343.

Воспоминание. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 367—368.

Вильгельм Визецкий — школьный товарищ Гейне; утонул, спасая котенка, о чем Гейне рассказывает в «Путевых картинах».

Несовершенство. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 368—369.

Лукреция — римская аристократка, обесчещенная сыном римского царя Тарквиния Гордого и покончившая с собой.

«Генриада» — эпическая поэма Вольтера, вышла в 1723 г. и вызвала множество подражаний.

«Мессиада» — религиозная поэма немецкого поэта Клопштока (1724—1803).

Массман (1797—1874) — профессор древнегерманского языка и литературы.

Ахиллес (Ахилл) — см. прим. на стр. 577.

...Александр Дюма... метис... — мать писателя Александра Дюма-отца (1802—1870) по отцу была негритянкой.

Благочестивое предостережение. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 369.

Разные стихотворения

В этот раздел вошли те переводы из Гейне, относительно помещения которых в какой-либо определенный цикл никаких указаний Михайлова не сохранилось.

«Есть в старых сказках золотые замки...» Отрывок из трагедии Гейне «Альманзор». Печатается по *РС*, 1860, № 6, отд. I, стр. 250—251, где содержится в переводе Михайлова статьи Гейне «Идеи. Книга Ле Гран». В собрание стихотворений Михайлова включается впервые.

Вицли-Пуцли. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *БДЧ*, 1864, № 1, отд. IV, стр. 1—18, с цензурными искажениями, вследствие которых было:

строка 59: И кричит в испуге

строка 76: Гладкой з... три цвета

строка 338: Все жрецы стоят налево

строка 391 Мясом будет — точно мясо

Вместо строк 383—388 и 511—512 были строки точек. В строке 514 «богоедов» заменено точками. Строки 553—560 изъяты. В строке 561 «Под щитом ее» заменено точками. Подпись: Л. Ш.

Цензура требовала исключить перевод из *изд. 1866 г.*, так же, как и переводы стихотворений «Горная идиллия», «Брось свои иносказанья...», «Богомольцы в Кевларе», «Боги Греции», «Вопросы» за «черты того легкомысленного отношения к религиозным верованиям, которое так часто выражалось в сочинениях Гейне. Особенно в сем отношении обращает на себя внимание стихотворение «Вицли-Пуцли», в котором есть хотя искусно замаскированное, но тем не менее кощунственное сближение Моисея с Колумбом и Кортесом, христианского бога с мексиканским идолом и христианского таинства с человеческими жертвоприношениями язычников» (*изд. 1934 г.*, стр. 649—650).

По копии впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 379—398.

Вицли-Пуцли — искаженное наименование древнемексиканского (ацтекского) бога войны Уицилопочтли.

...Соломона, //Мужа тысячи красавиц...—У Соломона (X—IX вв. до н. э.), царя объединенного государства Израиля и Иудеи, было, согласно преданию, семьсот жен и триста наложниц.

Риджент-стрит — улица в Лондоне.

Статуя Эразма — памятник Эразму Роттердамскому (1466—1536), одному из виднейших представителей немецкого гуманизма, в городе Роттердаме.

Венусберг — букв. «Гора Венеры»,—название многих гор на юге Германии, в которых, по народным поверьям, обитает богиня Венера.

Кифгейзер — развалины замка в горах Тюрингии (Германия), под которыми внутри горы, согласно преданию, спит со своей дружиной император Фридрих I *Барбаросса* (Рыжая борода).

Кортес — Кортес Фернандо (Эрнандо) (1485—1547), испанский завоеватель, под командой которого происходило завоевание Мексики испанцами.

Монтесума (р. ок. 1466, ум. в 1520) — последний верховный правитель Мексики.

Оллеа-потрида — распространенное национальное испанское кушание.

...в изящнейших рисунках //Генри Мартина, британца...— Гейне ошибся. Автором известных картин на сюжеты из древней и библейской истории Среднего Востока был Джон Мартин (1789—1854).

Базельская смерть — «Пляска смерти», фреска в Базельском соборе (Швейцария) в память эпидемии чумы. (До нашего времени не сохранилась.)

Манкен-Писс — статуя покровителя города в Брюсселе, изображающая мальчика, мочащегося в бассейн.

«Te deum» «De profundis», «Miserere!» — католические молитвы.

Астарот — Астарта, богиня луны, земного плодородия и любви (*сирийско-финикийская миф.*); во время празднеств — оргий в честь Астарты особые группы ее жриц занимались проституцией, считавшейся священной.

Вельзевул, Велиал — библейские наименования сатаны.

Лили — Лилит, первая возлюбленная Адама, мать злых духов (*древнееврейск. миф.*).

Юдоль плача. Печатается по автографу 1862—1865 гг. (*ИРЛИ*), как и следующие два перевода. Сохранен порядок расположения переводов в рукописи. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 378—379. В 1874 г. перевод не был дозволен к публикации в журнале «Дело», так как в стихотворении изображались люди, «умирающие от холода и голода» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, д. 76).

Юдоль — жизнь, жизненный путь.

Умные звезды. Впервые — *ОЗ*, 1874, № 7, стр. 200. Подпись: М.

«Заставь горячими клещами...» Впервые — *ЖО*, 1888, № 10, стр. 159. Подпись: Мих. Илецкий.

Северное море

Печатается по *РС*, 1859, № 11, отд. I, стр. 107—140. По тексту *РС* было напечатано в *изд. 1862 г.* (см. *С*, 1912, № 9, стр. 205).

«Точно ли верно название «стихи» для этих кадансированных строк без определенного количества стоп или ударений, даже без постоянного ритма,— писал Михайлов в предисловии в *РС*,— не стану разбирать. Дело не в названии. Эта форма, получившая еще со времени Гете право гражданства в немецкой литературе, у нас очень нова. Были, правда, попытки писать такими стихами; но они как-то не принялись. Тем не менее я не считал себя вправе своевольничать, переводя такое популярное в германской литературе произведение, как «Северное море», и удержал в своем переводе размер, или, лучше сказать, форму подлинника. Не знаю, в какой мере удалось мне сохранить характер стихов Гейне; но считаю не лишним сказать, что за ними в оригинале признается достоинство стройности, благозвучия и поэзии. Последнее качество не может совершенно сгладиться и в самом слабом переводе, как скоро он хоть немного верен. Что касается моего перевода, я могу, разумеется,

ручаться только за возможную верность. Впрочем, в числе этих стихов, освобождающих себя от всяких законов метрики и подчиняющихся единственно музыкальному чувству, попадаются две пьесы, из которых одна целиком, а другая частью написаны четырехстопным хореем без рифм, любимым размером испанских романсов; конечно, этим же размером я и перевел их, как конец пьесы «Ночью в каюте» пятистопным ямбом, согласно подлиннику. Порядок размещения пьес в первых двух частях взят мною из позднейшей редакции их в «Книге песен». «Северное море» написано Гейне в 1825—1826 году».

Часть первая

Коронование. *...Герольдом с смеющейся слезкой в щите — // Мой юмор...* — Герольды — лица, назначавшиеся при средневековых феодалах для прославления своих господ, имели одежду и щит с гербами.

Ночь на берегу. *Саги* — героические сказания в прозе в древней скандинавской литературе.

Эдда — книга мифов и преданий древнеисландского эпоса.

Руны — народные песни на сюжеты из карело-финского эпоса «*Калевала*».

Посейдон. *Посейдон* — см. прим. на стр. 565.

Сын Лаэрта — Одиссей (см. прим. на стр. 560).

...Киммерийская ночь... — черноморская ночь (от «киммерийцы» — наименование племен, населявших в древности Северное Причерноморье).

Град Приама — Троя (см. прим. на стр. 577).

«*...Ни волоска не спалил ты в реснице // Моего Полифема...*» — Одноглазый великан-людоед Полифем, из пещеры которого бежал Одиссей, выколов ему горящим колом глаз, был сыном Посейдона (*греч. миф.*).

Нерей — морское божество; обладал даром прорицания, был отцом пятидесяти дочерей, нереид, морских богинь, помогавших морякам во время кораблекрушений. Из нереид наиболее известна в мифологии *Амфитрита*, супруга Посейдона (*греч. миф.*).

Буря. *Мать красоты, из пены рожденной!* — Имеется в виду Афродита (см. прим. на стр. 563).

...плутишкою внуком твоим... — Имеется в виду Амур.

Часть вторая

Утренний привет. *Фалатта! Фалатта!* — Море! Море! (*греч.*) — радостный клич, которым, по свидетельству древнегреческого историка Ксенофонта, десять тысяч греков после длительного и опасного перехода по Малой Азии из Персии приветствовали море (см. «Анабазис», IV, 7, 24).

Гроза. *Кронион* — Зевс, сын Крона (см. прим. на стр. 565).

Борей — см. прим. на стр. 557.

...чудных кобылиц Эрихтона... — Эрихтон (Эрихтоний), сказочный царь Афин, первым стал запрягать коней в колесницу (*греч. миф.*).

Стикс — см. прим. на стр. 577.

...Как тень... || Хароном оттолкнутая... — Харон, перевозчик мертвых в подземное царство, не брал в свой челн души непогребенных (*греч. миф.*).

Эол — см. прим. на стр. 575.

«Спаси нас Кастор, воинственный всадник || ...кулачный боец Полидевк!» — братья-близнецы Кастор и Полидевк, сыновья Зевса, покровители мореплавателей (*греч. миф.*). Кастор часто изображался укротителем коней, Полидевк — кулачным бойцом. Их имена носят две крупнейшие звезды созвездия Близнецов.

Песнь океанид. *Супруга Пелея* — Фетида, морская богиня, жена героя Пелея (*греч. миф.*).

Ниоба (Ниобея) — см. прим. на стр. 564.

...Высокий титан, что похитил || Небесный огонь... — Имеется в виду Прометей.

Атлас — см. прим. на стр. 588.

Боги Греции. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 262—264, так как в первой публикации перевод подвергся цензурным искажениям: были заменены точками строки 48—49 и 88—90, изъята строка 91. В *изд. 1890 г.* и *изд. 1914 г.* выпускались строки 41—53, 88—91. Цензор, в связи с *изд. 1890 г.*, писал об этих строках: «В двух местах этого стихотворения встречаются крайне кощунственные сопоставления богов Греции с богородицей и святыми христианской церкви (средина стихотворения)» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

Гекатомба — большое общественное жертвоприношение у древних греков; в переносном смысле — массовое убийство.

Юпитер-Паррицида — Зевс-Отцеубийца (см. прим. на стр. 565).

Гера — см. прим. на стр. 569.

Венера-Либитина — Богиня смерти и погребений Либитина иногда отожествлялась в древнеримской мифологии с богиней весны, любви и красоты Венерой.

Арей — Арес, бог войны (*греч. миф.*).

Феб-Аполлон — см. прим. на стр. 569.

...Гефест хромоногий ||...уж век не сменять ему Гебы... — Бог огня, кузнец Гефест и Геба (см. прим. на стр. 577) разносили на пиршествах богов вино и нектар. Геба была женой Геракла (*греч. миф.*). У Гейне она — супруга Гефеста.

Вопросы. Цензор, запретил это стихотворение в *изд. 1866 г.*,

найдя, что в нем «выражается иносказательно дух полного отрицания религиозных верований человека» (*изд. 1953 г.*, стр. 700).

Феникс. *Феникс* — священная птица, прилетавшая в Египет из Индии через каждые 500 лет. В Египте ее сжигали в храме бога солнца, но она возрождалась из пепла и улетала в Индию (*егип. миф.*).

...суда гелголандцев, || Смелых номадов полночного моря.— Одним из промыслов населения о. Гельголанд было лоцманское дело.

У пристани. Строка 71, выпущенная цензурой, восстановлена по *изд. 1866 г.* (стр. 203). В *изд. 1890 г.* цензурой были изъяты строки 65—73, по поводу чего цензор писал: «В конце стихотворения мерещатся пьяному ангелы на крышах» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

Ганс Эдуард (1797—1839) — друг Гейне в юности, профессор права в Берлине, сторонник и популяризатор философии Гегеля.

...роза ширазская, ||Гафизом воспетая...— Персидский город Шираз славился расположенными в его окрестностях садами. Розы Шираза воспел в стихах выдающийся поэт-лирик Востока Хафиз (1330—1389), родившийся в этом городе.

...роза шаронская... ||Пророками славимая...— О цветущей палестинской долине Шарон (Сарон) говорится в книге пророка Исайи в библии.

Вефиль, Хеврон — древние города Палестины, упоминаемые в библии.

Эпилог. Впервые — *ЛГ*, 1848, № 51, 23 декабря, в другой редакции, без заглавия и указания, что это перевод из Гейне.

НИКОЛАУС ЛЕНАУ

Николаус Ленау — литературный псевдоним Нимбша фон Штреленау (1802—1850), австрийского политического поэта-романтика.

Трое цыган. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 272—273. Впервые — *С*, 1860, № 11, стр. 191.

Совет и желание. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 273—274. Впервые—*ЛГ*, 1847, № 33, 14 августа, в другой редакции, под заглавием «Из Ленау». В настоящей редакции впервые — «Век», 1861, № 3, стр. 100.

МОРИЦ ГАРТМАН

Мориц Гартман (1821—1872) — австрийский поэт, участник революции 1848 г. Михайлов писал о стихах Гартмана: «У Гартмана вы редко встретите что-нибудь сочиненное, насильно придуманное... напротив, все у него прочувствовано, всюду слышен голос человека, глубоко

проникнутого убеждением» («Стихотворения А. Н. Плещеева», т. III наст. изд.).

Белое покрывало. Печатается по автографу (*ГПБ*). Впервые — *С*, 1859, № 3, стр 174—176. Обдумывая состав сборника переводов, Михайлов писал Шелгуновым из Петропавловской крепости: «Как бы цензура не запретила теперь некоторых вещей с моим именем, хоть они и были все напечатаны. Например «Белое покрывало». А было бы жаль» (*С*, 1912, № 9, стр. 209). Перевод печатался в сборниках запрещенных в России стихотворений. Строки «Своей отчизне угнетенной // Хотел помочь он...» были взяты эпиграфом в эмигрантской брошюре «На смерть М. Л. Михайлова» (Женева, 1865).

Два корабля. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *ОЗ*, 1874, № 7, стр. 198. Подпись: М. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

ГЕОРГ ГЕРВЕГ

Георг Гервег (1817—1875) — немецкий политический поэт. Был близок к К. Марксу и Гейне. На страницах редактировавшейся К. Марксом «Рейнской газеты» провозгласил партийность поэзии, начав по этому поводу полемику с Фрейлигратом, придерживавшимся до 1844 г. позиции «надпартийности». Вместе с Гейне принял участие в изданном К. Марксом и радикальным публицистом А. Руге «Немецко-французском ежегоднике» (1844). После революции 1848 г. Гервег разошелся с Марксом и в 50-е годы отошел от революционной борьбы.

Старики и молодые. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 317—318. Входит в сб. Гервега «Стихи живого человека» (1841—1844). Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

Альфред Мейснер (1822—1885) — немецкий поэт и беллетрист, участник революции 1848 г., во время которой написал лучшие свои политические стихи. После революции перешел в ряды умеренных либералов. Михайлов ценил А. Мейснера за его сочувствие угнетенным чехам (см. «Стихотворения А. Н. Плещеева», т. III наст. изд.).

Три поэта. Печатается по ж. «Слово», 1878, № 8, стр. 183—184. Подпись: Мих. Ил. Входит в сб. Мейснера «Стихотворения» (1848). Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг. Перевод Михайлова значительно острее и революционнее стихотворения Мейснера. У Михайлова есть строки, которых нет у Мейснера, напр.: «Я не хочу *себе* свободы,// Когда народ порабощен».

АВГУСТ ГОФМАН ФОН ФАЛЛЕРСЛЕБЕН

Август Гофман фон Фаллерслебен (1798—1874) — немецкий поэт, получивший в годы подготовки в Германии революции 1848 г. прозвище «немецкого Беранже». Политические песни Фаллерслебена, направленные против феодализма, были запрещены в Германии в 1840-е гг. Некоторые из них стали народными. В последние годы жизни Фаллерслебен перешел на реакционные, националистические позиции. Им написан шовинистический гимн «Германия превыше всего». Михайлов перевел стихотворение Фаллерслебена из первого сборника его стихов — «Неполитические песни» (1840—1841).

Из Овидиевых Превращений. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 398—399. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

Публий *Овидий* Назон (43 до н. э.— 17 н. э.) — римский поэт, автор «Метаморфоз» («Превращений»), поэтического изложения античных мифов.

АРНОЛЬД РУГЕ

Арнольд Руге (1802—1880) — немецкий политический поэт. Известен более как радикальный публицист, основатель «Немецкого ежегодника», органа левых гегельянцев, в котором сотрудничал К. Маркс. В 1844 г. вместе с К. Марксом издал в Париже «Немецко-французский ежегодник». Вскоре Маркс порвал с Руге, так как Руге отрицательно относился к коммунизму. В 50-е годы Руге стал сторонником Бисмарка.

Михайлов перевел, вероятно в 1861—1865 гг., две эпиграммы Руге 40-х годов. Переводы Михайлова из Руге, как и его собственные эпиграммы, написанные в ссылке, направлены против царской цензуры и либеральной публицистики, которую Н. Г. Чернышевский характеризовал как «неопределенную, вялую и подобострастную обличительную публицистику, от которой продолжали ждать великих благ для России умеренные либералы» (Н. Г. Чернышевский, Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 гг., М. 1890, стр. 505).

Свобода слова. Печатается по автографу (*ИРЛИ*), как и следующий перевод. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 407.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

Свобода печати. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 407.

Кодр (XI век до н. э.) — легендарный царь Аттики (древняя Греция).

Перикл (ок. 490 — 429 до н. э.) — правитель древних Афин, при котором достигли высокого расцвета рабовладельческая демократия, науки и искусство.

КРИСТИАН ШУБАРТ

Кристиан Шубарт (1739—1791) — немецкий демократический поэт и журналист, видный деятель «Бури и натиска», антифеодального литературного и политического движения в Германии в 1770—1780-х гг.

Вечный жид. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *Д*, 1888, № 11, стр. 37—40. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг. В основе эпического отрывка Шубарта «Вечный жид» лежит библейская легенда о еврее, отказавшемся помочь Христу нести к месту казни крест и обреченном за это на бессмертие. М. Горький писал об этой легенде, что она «искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни... На тему о странствованиях Агасфера создано множество романов и поэм, причем некоторые из них изображают в лице Агасфера... вообще человечество, бессмертное, на протяжении тысячелетий идущее к какой-то неведомой цели сквозь великие страдания» (М. Горький, [Легенда об Агасфере], Несобранные литературно-критические статьи, М. 1941, стр. 302).

Из французских поэтов

АНДРЕ ШЕНЬЕ

Андре Шенье — см. прим. на стр. 538.

«Мой стих умеет все так живо рисовать...» Печатается по *ЛГ*, 1847, № 18, 1 мая.

ВИКТОР ГЮГО

Виктор Гюго (1802—1885). Творчество и личность Гюго, «истинного, благородного и высокого поэта», интересовали Михайлова в течение всей жизни. Он высоко оценил полный «бичующей силы, негодования» поэтический сборник «Возмездие». В 1860 г. в статье «Последняя книга Виктора Гюго» Михайлов писал: «Виктор Гюго — поэт вполне современный нам по своим страданиям и стремлениям, по своим верованиям и убеждениям. Он служит тому искусству, про которое сам говорит: «...народ рабский, оно делает тебя свободным; народ свободный, оно делает тебя великим» (т. III наст. изд.). Михайлов считал Гюго поэтом по преимуществу лирическим, отмечал в его поэзии «тот благородный энтузиазм, способный на бескорыстные жертвы, с каким Франция служила

великим интересам человечества, великим целям будущего...» (там же), но осуждал «реторизм» и дидактизм его поэзии. Собираясь за границу в 1861 г., Михайлов и Шелгуновы намеревались познакомиться с Гюго. «...Хотим купаться в море на о-ве Гернес, чтобы познакомиться с Виктором Гюго и разными французскими социалистами»,— писала Шелгунова (письмо М. В. Авдееву от 15 марта ⟨1861⟩, *ЦГИА*, ОППС, 112, д. № 40-а).

«Так, как в глубоких водах, усыпленных под сенью деревьев...» Печатается по *И*, 1847, № 27, 26 июля.

«О, подойди ко мне! поговори со мной!..» Печатается по *ЛГ*, 1848, № 14, 8 апреля.

Дант — Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт.

Виргилий — Вергилий (70—19 до н. э.), римский поэт.

Сераль — дворец, где размещается гарем турецких султанов.

Гинекей — женская половина дома у древних греков.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и медальер.

ПЬЕР-ЖАН БЕРАНЖЕ

Пьер-Жан Беранже (1780—1857). Первые переводы его песен в России появились в первой четверти XIX века. В 50—60-х гг. революционные демократы обратились к поэзии Беранже как к острому оружию в борьбе с самодержавием. Не пропускавшиеся цензурой стихотворения Беранже: «Негры и куклы», «Навуходоносор», «Безумцы» и др.— были широко распространены в списках в переводах В. Курочкина. Выход сборника его переводов (1858) явился знаменательным событием в истории перевода в России. В те же годы революционные демократы отстаивали революционность Беранже в борьбе с критиками, пытавшимися объявить его «фривольным певцом гризеток и вина». Чернышевский подчеркивал важную роль Беранже в «подготовке народа» к июльской революции 1830 г. во Франции (*Чернышевский*, *ПСС*, т. V, стр. 276). Отношение революционной демократии к Беранже, как к поэту истинно народному, выразил Добролюбов в статье, посвященной ему (*Добролюбов*, *ПСС*, т. I, стр. 653). Михайлов также выступал против тех, кто пытался исказить облик «первого французского поэта нашего столетия» («Парижские письма», т. III наст. изд.). По его мнению, значение Беранже определяется не анакреонтическими песнями, а стихами, полными негодования на окружающую действительность, которое Михайлов считал истинным «источником вдохновения современного поэта» («Последняя книга Виктора Гюго», т. III наст. изд.). Михайлов так же, как и В. Курочкин, выбирал для перевода наиболее острые в политическом отношении стихотворения Беранже. Он перевел 57 песен, Курочкин — 89 (переводов одних и тех же песен у них 23).

Первый перевод Михайлова из Беранже («Прощание») был опубликован еще в 1859 г. Кроме того, среди материалов, отобранных у Михайлова при аресте (хранятся в *ЦГАЛИ*), находятся два автографа переводов Михайлова из Беранже — «Король Ивето̀» и «Простолюдин» — отличающихся от автографов, хранящихся в *ИРЛИ* (см. ниже), в знаках препинания. Но в основном Михайлов переводил Беранже в ссылке. Им было задумано отдельное издание переводов из Беранже. В *ИРЛИ* сохранился беловой автограф переводов Михайлова из Беранже и примечаний к ним, в которых использованы примечания Беранже к своим стихотворениям. Работая над примечаниями, Михайлов делал так же выписки из сочинения социалиста-утописта Луи Блана «Histoire de la Rèvolution française», 1847—1852 («История французской революции»), из труда близкого к энциклопедистам деятеля эпохи Просвещения Рейналя «Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes», 1770 («Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях»), из первой биографии Мольера, написанной актером его труппы Лагранжем и опубликованной в первом собрании сочинений Мольера (выписки из этих книг сохранились в *ИРЛИ*), обращался к «Ma biographie, ouvrage posthume de P. J. de Béranger. Avec un appendice et un grand nombre de notes inedites de Béranger sur ses chansons, Paris» 1858, 1859 («Моя биография, посмертный труд П.-Ж. де Беранже, с добавлением и большим числом не публиковавшихся ранее примечаний Беранже к своим песням, Париж», 1858, 1859). Михайлов намеревался написать статью о жизни и творчестве Беранже, которая должна была состоять, судя по сохранившемуся ее плану (*ИРЛИ*), из 23 глав.

Все переводы Михайлова из Беранже, кроме переводов стихотворений «Прощание» и «Залоги», печатаются по автографам (*ИРЛИ*). Сохранен намеченный Михайловым порядок расположения песен.

Книга первая
1810—1815

Король Ивето́. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 419—421. Из примечания Беранже в переводе Михайлова: «Старинное предание рассказывает, что в виде удовлетворения за какое-то преступление, совершенное одним из королей меровингской династии, владелец Ивето́, города в Нормандии, получил право возвести свою маленькую область на степень королевства». Михайлов, сообщая далее в своем примечании, что существует несколько историй королевства Ивето́, замечает: «Для нас это и не важно вовсе». Песня Беранже, написанная в мае 1813 г., когда Наполеон I после бегства из России начал набирать новую армию

и увеличил налоги, привлекла Михайлова своей антимонархической направленностью.

С е н а т о р. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 421—423. Примечание Михайлова: «Написано в 1813.— Вот примечание Беранже: «В то время все до такой степени жаждали оппозиции, не видя решимости на нее нигде, что на эту невинную песню, ради ее заглавия, смотрели как на сатирическую выходку против правительства. Эта странность кажется непостижимой теперь, и уже поэтому стоит, чтобы упомянуть о ней». Для нас, русских, время подобных странностей еще не миновало».

В е с е л а я Г о л о в а. Впервые — *ЖО*, 1886, № 48, стр. 346—347. Подпись: Мих. Илецкий. Примечание Михайлова: «Такой именно смысл, смысл беззаботного смельчака, имеет провербиальное французское название Roger bontemps. Примечание самого Беранже: «Эта песня написана в 1814 г. Часть французской территории была занята, и предчувствие всеобщего переворота занимало уже серьезные умы».

Б а б у ш к а, С л е п а я м а т ь. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 425—428.

С л а в н ы й м а л ы й. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 429—430. Примечание Михайлова: «В подлиннике эта песня называется «Le petit homme gris». Из примечания Беранже в переводе Михайлова: «Это одна из первых песен автора, имевших большой успех. Она написана в 1810 или в 1811 г. Успех этой песни и нескольких других не утвердил еще Беранже в мысли, что он должен предаться этому роду поэзии».

Б е д н я к и. Впервые — *Д*, 1867, № 12, стр. 223—224, с цензурными искажениями, в результате которых строки 39 и 45 соответственно читались:

Что их пурпур и порфира!
Что за роскошь в барском доме! —

и с пропуском строк 13—28. Подпись: Л. Шелгунова. В *изд. 1890 г.* и *изд. 1914 г.* изъяты строки 37—52, так как цензор нашел в них изображение «ничтожества царского сана» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

Примечание Михайлова: «Написано в 1812 г. «Лапти» в 4-ом куплете (не считая припева) заменили у меня французские деревянные «сабо».

Парнас — священная гора в древней Греции, где обитали божества, покровительствовавшие искусствам (*греч. миф.*).

Диоген (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, стремившийся, по преданию, свести свои личные потребности к минимуму, живший в бочке.

М о ж е т б ы т ь, п о с л е д н я я м о я п е с н я. Впервые — *Д*, 1869, № 12, стр. 239—240. Примечание Михайлова: «Написана в конце января 1814 г.». Из примечания Беранже в переводе Михайлова: «Неприятель приближался к Парижу, и автор еще не осмеливался повысить

тон песни. Не будь этого, он, конечно, выразил бы в более серьезной форме чувства, которые волновали его тогда». Замечание Михайлова: «Это еще не совсем так, по-моему. Беранже еще сильно колебался в своих полит[ических] убеждениях, когда написал эту песню».

День поминок. Впервые—*РМ*, 1888, № 1, стр. 41—42. Примечание Михайлова: «В припевах (предпоследняя строка) подлинник пользуется старинным французским припевом mirliton, mirlitaine, которые я выпустил в переводе. Праздник поминок всех душ (Jour des Morts) установлен, как известно, для скорейшего допущения в рай душ, блуждающих по мытарствам. Этим объясняются 5 и 6 стихи первого куплета».

В рай ключи Петра впускают...— Согласно христианской мифологии, Петр является хранителем ключей от «царствия небесного».

Ценсура. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 435—436. Из примечания Михайлова: «Эта песня ходила по рукам в рукописи в августе 1814 г. В выноске Беранже говорит: «В палате только что обсуждали закон для ограничения свободы печати, представленный аббатом Monteskiy [1], министром внутренних дел...»

Новый Диоген. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 436—439. Примечание Беранже в переводе Михайлова: «Эта песня принадлежит ко времени Ста дней [2]... Куплет о цветах свободы заключает намек на некоторых людей, имена которых напоминали 1793 г. только его излишеств[ами] и которые претендовали [на то], что они одни представляют республиканскую партию». Михайлов в своем примечании пишет, что этот намек «очень слаб... в подлиннике; в переводе он почти совсем исчез, и переводчик предпочел пожертвовать им, сохранив общий смысл строфы» (см. строфу 4).

Пятый куплет, как указывается в примечании Беранже в переводе Михайлова, «намекает на Венский конгресс, бывший тогда в сборе».

По поводу последней строфы в примечании Михайлова сказано: «В последнем куплете мы находим черту из жизни самого Беранже: это то, как он ускользнул от конскрипции» [3].

Диоген — см. прим. на стр. 603.

...Они заслонят солнце мне, боюсь.—По преданию, Диоген встретился однажды с Александром Македонским, который спросил, нет ли у него каких-нибудь желаний. Диоген ответил: «Да, есть — не заслоняй мне солнца».

...Искать и человека днем с огнем...—По преданию, Диоген бродил

---

[1] Монтескью (1757—1832) предложил освобождать от предварительной цензуры лишь книги объемом более тридцати листов.

[2] Сто дней — вторичное правление Наполеона I (март — июнь 1815 г.).

[3] Конскрипция — рекрутский набор.

как-то среди бела дня с зажженным фонарем в руках по улицам города и отвечал на вопросы удивленных встречных, что «ищет человека».

Школьный учитель. Впервые — *Д*, 1870, № 11, стр. 112—113.

Наш священник. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 442—444. Из примечания Михайлова: «В издании 1821 г. к этому заглавию было прибавлено: «Песня не для тех, кто отличается нетерпимостью». Примечание Беранже: «Эта песня была написана после первой Реставрации, когда, по королевскому приказу, везде было поставлено в обязанность запирать по воскресеньям лавки; вскоре священники перещеголяли и эту меру: во многих общинах они запретили танцы по праздникам. После этого можно было судить, до чего может духовенство довести свою нетерпимость, столь естественную в нем, видя помощь себе, как это было в то время, в ханжестве двора».

Трактат о политике для руководства Лизе. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 344—345. Из примечания Беранже в переводе Михайлова: «Эта песня, написанная во время Ста дней, вскоре по возвращении Наполеона, явилась в печати в нескольких журналах. Между авторами, которые оскорбляли этого великого человека после его двойного падения, вероятно немногие захотели бы говорить ему так, как говорил Б[еранже] в этих куплетах. Тем не менее во время второго возврата Бурбонов его обвиняли в лести императору. Он был слишком далек от такой мысли и в первом сборнике своих песен, изданном в конце 1815 г., не поместил этой песни, потому что смотрел на нее как на слишком прямую критику импер[аторского] правления и находил ее не совсем уместной при новых обстоятельствах.

Не надо забывать, что Б[еранже] все еще не решался сообщить избранному им роду поэзии формы, более соответственной идеям, занимавшим тогда франц[узский] народ. Этим объясняется и тон и рамка «Трактата о политике».

Мнение этих девиц. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 445—447. Из примечания Беранже в переводе Михайлова: «Во время Ста дней роялизм и злонамеренность призывали всеми своими желаниями иностранные войска. Автор, думая поразить их насмешкой, вложил мнение дам Сен-Жерменского предместья в уста девиц, о которых идет дело в песне. Беранже хотелось заклеймить в песне, которая могла сделаться популярной, партию, преступные и антипатриотические замыслы и интриги которой должны были бы сделать ее ненавистною всем честным сердцам».

Примечание Михайлова: «Песня эта в подлиннике написана на патуа́, или, проще сказать, на испорченном наречии необразованного и безграмотного класса. Сохранять эту тонкость в переводе казалось мне лишним; довольно, думал я, сохранить общий тон, о чем и старался. Вот что замечает Беранже о языке этой песни: «Беранже мало пользо-

вался патуа в своих песнях. В этой песне такой язык был кстати и мог даже дать ей особенную пикантность. Автор только и позволял себе употреблять патуа, что в подобных сюжетах,— и всякий раз жалел, что прибегал к нему».

Эти слова могут служить лучшим извинением переводчику, что он не уснастил своего перевода словами вроде «знамши», «ейный», «выглядит» и т. под., что, конечно, было бы для него не трудно».

Пале-Рояль, наш край родной...— дворец в Париже, часть которого была в XIX в. средоточием увеселительных заведений.

Упоминаемые в песне участники войны с Наполеоном:

Тичаков — Чичагов П. В. (1765—1848) — русский адмирал.

Бюлов Фридрих Вильгельм (1755—1816) — прусский генерал.

Плятов — Платов М. И. (1751—1818), атаман Донского казачьего войска.

...И Сакен с нежною душой|| Опять прибудет.— Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович (1752—1837), русский генерал-фельдмаршал, губернатор Парижа после первого занятия его войсками коалиции.

И этот Блюкер, душка мой... — прусский фельдмаршал Блюхер Гебхард Леберехт (1742 — 1819), пользовавшийся популярностью в войсках благодаря своей прямоте и непосредственности в обращении с людьми.

Сен-Жерменское предместье — аристократический квартал в Париже.

Придворный кафтан. Впервые — *РМ*, 1882, № 4, стр. 162—163.

Примечание Михайлова: «Придворный кафтан, или Представление к его величеству» — таково полное заглавие этой песни в подлиннике». Из *изд. 1890 г.* исключена. Цензор писал по этому поводу: «Все стихотворение проникнуто едким сарказмом над этикетом при дворе» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

Конец политике. Впервые — *Д*, 1870, стр. 105—106, с изменением строк 19 и 20 на:

Ведь тебе о прошлой славе
Битв и воинов я пел.

Примечание Михайлова: «Написана в июле 1815 г.— «Во второй раз неприятель был под стенами Парижа, на долгое сопротивление которого нельзя было рассчитывать, когда автор написал эту песню. Она значительно отличается тоном от написанной им год тому назад, почти в таком же положении. Он начинал чувствовать, что ему можно принять более серьезный тон, говоря о великих событиях, которые распространяли такую печаль в народе. Успех, какой имела эта песня, утвердил Б[еранже] в его мысли, что народ со времени революции получил зна-

чение в направлении своих собственных дел и что род (поэзии.— *Г. К.*), считаемый выражением народных чувств, должен принять наконец все тоны для передачи этих чувств. Похвала любви и вину должна была большею частью служить только рамкою идей, которые следовало отныне выражать песне, по крайней мере в эпоху, когда все сколько-нибудь значительные обстоятельства имели воздействие на многочисленные массы и на более просвещенные индивидуумы». (Прим[ечание] самого Беранже)».

...мне Титам нашим новым//Что-то верится с трудом...— Тит Флавий (41—81) — римский император, получивший при жизни прозвище «любовь и утешение человеческого рода», характеризовавшийся многими историками как умный и справедливый правитель.

Мое призвание. Впервые — *Д*, 1871, № 3, стр. 105—106.

Простолюдин. Впервые — *РМ*, 1882, № 4, стр. 164—165. Примечание Михайлова: «В изд[ании] 1821 г. эта песня обозначена 1815 годом». В примечании Беранже в переводе Михайлова говорится, что отец Беранже, сын простого харчевника, считал себя дворянином, будучи обманут «несколькими смутными преданиями», и прибавлял к своему имени дворянскую частичку *de*, которую и получил от него Беранже в актах о своем рождении. Беранже «никогда не украсился бы ею если б не необходимость установить разницу между своим именем и именами нескольких Беранже, которые во время его дебюта имели некоторую литер[атурную] известность. (Стихи Беранже несколько раз приписывались Беранже А. (1749—1822) — *Г. К.*) ...Долго Сен-Жерменское предместье считало его действительно дворянином, даже после песни «Простолюдин», и это немало способствовало увеличению ненависти, которую он внушал. Когда же он твердо доказал свое простолюдинство, эти г[оспо]да и дамы говорили, что Б[еранже] оттого сражается против привилегий, что сам низкого происхождения.

Третий куплет намекает на всех этих господ старого дворянства, которые, соскучась своим невольным уединением в своих замках, выпрашивали место в передней нового Карла Великого».

Цензура исключила третью строфу перевода из *изд. 1890 г.* и *изд. 1914 г.* за «резкие нападки на дворянство» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

Карл Великий (742—814) — король франков.

...Не ими леопард британской// Вводим был в наши города.— Английские войска неоднократно в средние века вторгались во Францию по призыву какой-либо из враждующих феодальных партий.

В крамолы церкви не вдавался...// Под лигою не подписался.— Имеется в виду, вероятно, католическая лига 1584 г.— феодальный союз, боровшийся с протестантами и выступавший против создания централизованного государства во Франции.

Старый скрипач. Впервые — *Д*, 1871, № 2, стр. 172—173.

Примечание Михайлова: «Эта песня была написана посреди проскрипций [1] и экзекуций, помрачавших вторую Реставрацию, и которые должны были надолго отвратить от нее истинно честные и патриотические сердца. Не песнями и не стихами можно внушить истину королям и факциям; [2] но поэтам все же не следует унывать» (Пр[имечание] Б[еранже])».

Книга вторая
1816—1821

Птицы. Впервые—«Слово», 1878, № 11, стр. 144. Подпись: М. И. Примечание Михайлова: «Эти куплеты обращены к Арно [3], отправляющемуся в изгнание в январе 1816 г.». Из примечания Беранже в переводе Михайлова: «Песня попала в руки полиции. Беранже сделали выговор и грозили лишить его должности. Тогда-то отвечал он, смеясь: «Если у меня отнимут место, я сделаюсь журналистом. Что для них лучше?», Его оставили в должности экспедитора».

«Птицы» и «Маркиз Караба» (см. ниже) в переводе Михайлова не были дозволены в конце 60-х гг. к публикации в журнале «Дело» (*ЦГИАЛ*, ф. 777).

Две сестры милосердия. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 455—458. Примечание Михайлова: «Примечание Беранже: «Это одна из тех песен, против которых с особенным ожесточением гремел Маршанжи, королевский адвокат, во время процесса Беранже. Она попала в число осужденных песен.

Автор припоминает в конце второго куплета отказ в обряде погребения, так часто даваемый нашими священниками актерам и актрисам». «Известно,— прибавляет к этому французский издатель,— что, когда священник в церкви св. Рока отказал отворить церковные двери для тела девицы Рокур (Трагическая актриса.— *Г.К.*), в Париже было движение».

Ave — католическая молитва.

Это не Лизета. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 458—460.

Зима. Впервые — «Труд», 1893, № 4, стр. 143—145.

Маркиз Караба. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 461—463. Примечание Михайлова: «(Ноябрь 1816 г.) «Эта песня имела очень большой успех. Думают, что некоторые правительственные лица, пораженные нелепостью феодальных претензий наших старых дворян, способствовали распространению этой сатиры, или, по крайней мере, были

---

[1] Проскрипция — список лиц, объявленных вне закона.
[2] Факция — партия.
[3] Арно — Антуан Арно (1766 — 1834) французский поэт, друг Беранже.

довольны, что она облетела всю Францию. На нее был напечатан ответ на тот же голос». (Прим[ечание] Б[еранже])».

Карабá — персонаж сказки Шарля Перро «Кот в сапогах», сын мельника, разбогатевший благодаря ловкости своего кота. Имя его стало нарицательным для самозванных аристократов, претендовавших на особые привилегии.

Кастелан — смотритель замка.

Пипин Короткий (714—768) — первый король франков из династии Каролингов.

«Кто другой здесь есть, ||Чтобы смел при троне, сесть?» — Имеется в виду привилегия особо знатных дворян — право сидеть в присутствии короля и королевы.

Префект — представитель центральной власти, главное должностное лицо в департаменте во Франции.

«...Их мы брать непрочь ||В первую их ночь». — Имеется в виду «право первой ночи», феодальная повинность, распространенная в Западной Европе в средние века, по которой новобрачная крепостная крестьянка обязана была проводить первую ночь со своим феодалом-господином.

М о я р е с п у б л и к а. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 463—464. Примечание Михайлова: «Какой парижанин, не выезжая из Франции, мог видеть столько королей, как тот, кто видел, во-первых, в детстве своем, Людовика XVI, потом Наполеона, его сына, его братьев, Жозефа, Луи, Жерома и Мюрата, и, вслед за ними, королей Этрурии, Виртемберга, Саксонии, Баварии, папу, двух королей испанских, Карла IV и Фердинанда, и, наконец, во время двух вторжений во Францию, Александра, Франциска II, Фридриха-Вильгельма Прусского, Вильгельма Нидерландского, Бернадотта и tutti quanti?[1] Прибавьте к этому и без того большому числу Людовика XVIII и Карла X, не считая Матюрена Брюно. Надеюсь, этого довольно для республиканца» (Прим[ечание] Б[еранже])».

П а я ц. Впервые — *ОЗ*, 1870, № 5, стр. 1—2. Подпись: М.—Л.—М. Примечание Михайлова: «Написано в декабре 1816 г.— Примечание самого Беранже: «Многие думали и говорили, что эта песня написана на Дезожье[2]. Следовало бы вспомнить, что Беранже никогда не выставлял в своей сатире личностей, кроме личностей сильных людей. Притом он был еще в сношениях с Дезожье, когда написал «Паяца». Некоторые черты, конечно, могли напомнить этого песенника; но «Паяц» был

[1] всяких других (*итал.*).

[2] Д е з о ж ь е — Марк Антуан Мадлен Дезожье (1772—1827), популярный поэт-песенник и водевилист, «открывший» молодого Беранже.

общим изображением стольких людей, которые возвысились и получили значение повыше Дезожье...»

Перевод был исключен по требованию цензуры из *изд. 1890 г.*, так как «в этом стихотворении вельможа приравнивается паяцу, готовому угождать всякому властелину» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

М о я д у ш а. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 466—468. Примечание Михайлова: «Написана в 1816 г.».

Пал под ударами невзгоды //Наш Илион...— Под падением Илиона (см. прим. на стр. 577) Беранже подразумевает победу над Францией войск коалиции.

Терсит — согласно «Илиаде» Гомера (см. прим. на стр. 564) один из участников осады Трои, злобный урод, отличавшийся трусостью и лицемерием. В данном случае имеется в виду Александр I.

В а р в а р и й с к и й с в я щ е н н ы й с о ю з. Впервые—*изд. 1934 г.*, стр. 468—469, с искажением строки 46 на: «Народы, евнухов им надо».

Из примечания Михайлова: «1816 г.».

Тунис, Марокко и Алжир.— Имеются в виду Россия, Австрия и Пруссия.

Христоф — Христофор Генрих (1767—1820) — негритянский король острова Гаити.

...Читать Бональда...— Имеется в виду Бональд Луи Габриэль Амбруаз (1753—1840), французский философ и публицист, ярый противник учения материалистов-просветителей XVIII века и конституционно-парламентского строя.

Ферран Клод (1751—1825) — французский политический деятель и публицист, крайний монархист.

М о й у г о л о к. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 469—470. Примечание Михайлова: «Написано в 1819 г.».

Н е з а в и с и м ы й. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 471 — 472.

Лувр — б. королевский дворец в Париже, выдающийся памятник французской архитектуры; превращен с 1793 г. в национальный художественный музей.

Д о б р а я с т а р у ш к а. Впервые — *ЖО*, 1882, № 18, стр. 278. Подпись: Мих. Илецкий.

М а р к и т а н т к а. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 473—475.

Примечание Михайлова: «1817. — Беранже говорит в примечании: «Вот одна из тех патриотических песен Б[еранже], которые имели наиболее успеха: она проникла в особенности в низшие классы, которым нравится, что автор всегда считал необходимым в интересе своей поэзии, которая, по его мнению, слишком долго пренебрегала у нас публикой, могшей привесть нас к большей естественности и правде. «Маркитантка»

особенно не понравилась полиции, и ее запрещали петь в народных трактирах».

...Я с самых Альпов вам служила...||в Вене я гостила... Рим, Мадрид, Кремль... — места походов французской армии при Наполеоне, столицы государств, где она побывала.

...о славной Жанне...— Имеется в виду Жанна д'Арк (1412—1431), «Орлеанская Дева», национальная героиня, возглавившая освободительную борьбу против англичан.

Когда была нам участь брани || Числом лишь вражьим решена...— Имеется в виду битва при Ватерлоо в 1815 г., в которой войска Наполеона были разбиты силами коалиции.

Изгнанник. Впервые — *ОЗ*, 1870, № 5, стр. 2—4. Подпись: М.—Л.—М.

Природа. Впервые — *Д*, 1871, № 1, стр. 339—340, с изменением строки тридцать шестой на: «Где проливалась кровь отцов».

Примечание Михайлова: «В последней половине последнего куплета подлинник яснее говорит о погибшей империи».

Гроза. Впервые — *Д*, 1871, № 1, стр. 283—285.

Навуходоносор. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 482—483. Примечание Михайлова: «Эта песня, написанная в 1823 г., была исключена вместе с еще четырьмя, которые показались нам нестоящими перевода, самим Беранже из сборников песен. Издатель объясняет так это исключение: «Уже тогда привык Беранже давать своим политическим песням более серьезный характер и, без сомнения, смотрел на исключенные им произведения, как на мимолетную дань обстоятельствам».

В песне нельзя не подметить намеков на Людовика XVIII, но параллель с Навуходоносором вовсе не выдержана, и, вероятно, эта невыдержанность заставила Беранже скорее всего выкинуть песню из собрания». В России стихотворение пользовалось широкой популярностью в революционных кругах, распространялось в списках.

Навуходоносор (604—562 до н. э.) — царь древнего Вавилона; за тщеславие и высокомерие бог, по библейскому преданию, наказал его на «семь времен» безумием: Навуходоносор вообразил себя волом, стал есть траву и пить росу, волосы у него отросли, как у льва, а ногти — как у птицы.

«...В Египте богом были б вы...» — В древнем Египте были широко распространены культы диких и домашних животных.

Дедикация — посвящение.

Халдейский — вавилонский.

Прощанье с полями. Впервые — *РМ*, 1888, № 1, стр. 109—110. Из примечания Михайлова: «Эта песня, написанная в

ноябре 1821, была переписана и роздана в суде в день первого осуждения Беранже.

«Скудные средства» в третьем куплете — это место экспедитора, которое Беранже занимал в течение двенадцати лет. В 1821 г., когда появился сборник песен, подвергшийся преследованию, министерство принудило членов университетского совета отнять у Беранже его скромную должность...

В 4-й строфе мы находим объяснение Беранже, что он воспевал время империи только после ее падения. Такое объяснение не раз встречается в его песнях, будто в ответ на обвинение в бонапартизме.

В предпоследнем куплете (стих второй) я поставил слово «суд» вместо имени генерального прокурора в Парижском королевском суде, Беллара, обвинителя Беранже. Конечно, этот стих Беранже один сохранит надолго от забвения имя этого ничтожного, но вредного холопа Людовика XVIII».

Не навестишь ли ты мой угол, Филомела? ||Когда-то от царя терпела горе ты...— Имеется в виду миф о Филомеле, сестре жены фракийского царя Терея, дочери афинского царя. Уверив родственников в смерти своей жены, Терей увез Филомелу из Афин, овладел ею по дороге, и, отрезав ей язык, заточил в грот. Прокна, жена Терея, помогла Филомеле освободиться, они убили сына Терея, приготовили из его тела кушанье и подали Терею. Узнав обо всем, Терей хотел убить сестер, но боги превратили Терея в удода, Прокну — в ласточку, Филомелу — в соловья (*греч. миф.*).

Книга третья
1822—1828

Свобода. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 485 — 486. Примечание Михайлова: «Это — первая песня, написанная Беранже в тюрьме Sainte Pélagie в январе 1822 г. Во втором куплете поименован Маршанжи, королевский адвокат. Я заменил его более общим понятием».

Цивизм — гражданственность.

...Сам Тибр не разберет ||Пот вольного народа ||От папских нечистот.— В Риме, расположенном на реке Тибр, находится резиденция папы — Ватикан.

Пусть этот клич мой новый ||Снесут и в Лувр они...— Вероятно, имеется в виду так называемый Новый Лувр — пристройки к Лувру (см. прим. на стр. 610), в которых размещались высшие административные учреждения.

Тень Анакреона. Впервые — *РМ*, 1882, № 5, стр. 44—46; вместо строк 29 и 43 многоточие, вероятно по цензурным соображениям.

Из примечания Михайлова: «Эта песня написана Беранже в тюрьме Sainte Pélagie, 1822. Греческое восстание, начатое в 1821 г., одержало уже много побед».

Анакреон — см. прим. на стр. 541.

Стикс — см. прим. на стр. 577.

Киприда — Венера (Афродита) — см. прим. на стр. 563.

Коринф, *Фивы*, *Спарта*, *Афины* — города Греции, центры древнейших могущественных независимых государств.

Б о г и н я. Впервые — *Д*, 1869, № 4, стр. 304, без подзаголовка. Подпись: М. М—ов.

Л а с т о ч к и. Впервые — *Д*, 1867, № 4, стр. 228—229. Подпись: Л. Шелгунова. Примечание Михайлова: «В первом стихе Беранже определяет точнее место плена героя этого романса; он называет Мавританский берег. Желая сохранить пьесе ее средневековый характер, я назвал войну, о которой упоминается в предпоследней строфе, «святою».

У з н и к. Впервые — *Д*, 1883, № 2, стр. 318 — 320. Подпись: М. Илецкий.

С м е р т ь С а т а н ы. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 492—494. Примечание Михайлова: «Игнатий, о котором рассказывает песня, есть Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов».

Конклав — собрание кардиналов, избирающих папу.

Н е г р ы и к у к л ы. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 494—495. Примечание Михайлова: «В подлинннике эта песня названа басней».

Полишинель — комический персонаж во французском кукольном театре, то же, что в русском — Петрушка.

Книга четвертая

1829—1833

К а м и н в т ю р ь м е. Впервые — *ОЗ*, 1870, № 5, стр. 6—7. Подпись: М.—Л.—М. Примечание Михайлова: «Эта песня написана в тюрьме La Force, в 1829 г. Беранже замечает к четвертому куплету, что «некоторые особы писали ему из Швейцарии, предлагая убежище, в случае, если я захочу избежать угрожавшего мне заточения». К последнему куплету: «Пробовали намекать мне, что от меня самого зависит получить облегчение в моем положении».

Ч е т ы р н а д ц а т о е и ю л я. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 496—498. Примечание Михайлова: «Эта песня написана Беранже в тюрьме La Force, 1829. 14 июля — день взятия Бастильи. В примечании к припеву своей песни Беранже говорит: «14 июля 1789 была чудная погода;

14 июля 1829 был тоже прекрасный день, хотя лето вообще было страшно дождливо».

В третьем стихе второго куплета у меня сказано просто: «солдата»; у Беранже «un soldat bleu» [1]. Он объясняет в примечании, что «французские гвардейцы (les gardes françaises) имели голубой мундир. Большая часть этого войска убежала из казарм, откуда ему было приказано не выходить, и оказала самую полезную помощь парижанам при взятии старой феодальной крепости».

С любовью Лафайет... поминался...— Имеется в виду Лафайет Мари Жозеф Поль (1757—1834), деятель Великой французской революции, которому после взятия Бастильи восставший народ поручил командовать национальной гвардией.

...Для громов Мирабо...— Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749—1791), деятель французской буржуазной революции XVIII века, был выдающимся оратором.

Р ы ж а я Ж а н н а. Впервые — *ОЗ*, 1870, № 5, стр. 4—6. Примечание Михайлова: «В подлиннике песня названа «Рыжая Жанна, или Жена браконьера». Браконьер — человек, живущий охотой в чужих лесах».

С т а р и к б р о д я г а. Впервые — *Д*, 1869, № 4, стр. 88—89, с цензурным искажением последней строки на: «Старик бродяга забывает вас!» Подпись: М. М—ов. Примечание Михайлова: «В предпоследней строфе намек на сдачу Парижа».

О р а н г у т а н г и. Впервые — *РМ*, 1882, № 5, стр. 46—47.

Езоп — Имеется в виду Эзоп (VI век до н. э.), древнегреческий поэт, родоначальник басенного жанра.

Диоген — см. прим. на стр. 603.

Троя (Илион) — см. прим. на стр. 577.

Б е з у м ц ы. Впервые — *изд. 1934 г.*, стр. 502—504.

Сен-Симон де Рувруа, Анри Клод (1760—1825), *Фурье* Шарль (1772—1837) — французские социалисты-утописты. В примечании Беранже, переведенном Михайловым, подробно излагается биография Сен-Симона, характеризуются некоторые труды Фурье.

Фаланга — производственно-потребительская организация, которая, по учению Фурье, должна быть началом и основой будущего идеального социалистического общества.

Цепь с женщин Анфантен снимает...— французский социалист-утопист Бартелеми Проспер Анфантен (1796—1864), последователь Сен-Симона, проповедовал равенство полов и пытался создать на его основе трудовую коммуну в окрестностях Парижа.

---

[1] голубой солдат (*франц.*).

Книга пятая

1831—1851

Конец стихам. Впервые — *изд. 1890 г.*, стр. 363. Примечание Михайлова: «Этою песней открывается собрание песен, изданное уже по смерти Беранже. Она начинает отдел песен, помеченный 1834—1838 гг. Стало быть, ее можно с некоторою вероятностью отнести к 1834 г.».

Муравьи. Впервые — *ОЗ*, 1870, № 5, стр. 7—8. Подпись: М.— Л.— М. Строки 52—53 были искажены цензурой на:

Залила их всех... Ой, ой!..
Лишь один чуть жив остался...

В *изд. 1890 г.* была исключена последняя строфа как «неприличное осмеяние всемирного потопа» (*изд. 1934 г.*, стр. 654). Примечание Михайлова: «Из песен, написанных, по посмертному изданию, с 1834 по 1838».

Пиндар (ок. 518—422 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных стихотворений в честь победителей на общегреческих спортивных играх.

Бард — наименование кельтских народных певцов, в средние века — профессиональных поэтов, многие из которых жили при дворах крупных феодалов.

Апостол. Впервые — *ОЗ*, 1870, № 5, стр. 8—10. Подпись: М.—Л.—М. Примечание Михайлова: «Из песен, написанных, по посмертному изданию, с 1841 по 1843. Под заглавием в подлиннике стоит посвящение: К Ламне́ [1]. В самой песне Беранже характеризовал апостольскую фигуру и деятельность Ламне, с которым был очень дружен в последние годы жизни знаменитого апостола-трибуна. В манере пьесы есть сходство с манерою «Слов верующего»[2] именно, если не ошибаюсь, с главой, где Ламне обращается к солдату с вопросом: «Куда ты, солдат?»

* * *

Прощание. Печатается по ж. «Шехерезада», 1859, № 27, стр. 1, где имело подзаголовок «Последнее стихотворение Беранже».

Залоги. Печатается по *изд. 1914 г.*, стр. 291—294. Впервые — ж. «Шехерезада», 1859, № 17, стр. 521—523, с изменением отдельных строк.

---

[1] Ламне — Фелисите Робер де Ламенне (1782—1854), аббат, писатель, религиозный и политический деятель.

[2] «Слова верующего»—памфлет Ламенне, в котором он разоблачал насилие и эксплуатацию и проповедовал идеи так называемого «христианского социализма».

С венгерского

ШАНДОР ПЕТЕФИ

Шандор Петефи (1823—1849) — народный поэт Венгрии, один из активных участников венгерской революции 1848 г. Михайлов был первым переводчиком его стихов на русский язык. В 80-е гг. стихи Петефи переводил и сын Михайлова — М. Шелгунов.

«Проснувшись, плачет дитя больное...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 285.

В кабаке. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *Д*, 1881, № 1, стр. 127—128. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

С украинского

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Михайлов встречался с Тарасом Григорьевичем Шевченко (1814—1861) в Петербурге в редакции *С*, с которой Шевченко сблизился по возвращении из ссылки, в 1858 г., а также у художника М. Микешина, писавшего портрет украинского поэта и иллюстрации к «Кобзарю» (см. *РС*, 1860, № 4, отд. II, стр. 42 и письмо б. д. Микешина Михайлову, *ЦГАЛИ*, ф. 1111, ед. хр. 31). Выходу в свет «Кобзаря» Михайлов посвятил в 1860 г. критическую статью (см. т. III наст. изд.). Михайлов не расставался с «Кобзарем» во время поездок (письмо 1860 г. Н. В. Гербелю, *ГПБ*), вспоминал стихи Шевченко в крепости (*С*, 1912, № 9, стр. 207).

К Основьяненке. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 289—293. Михайлов писал в рецензии на «Кобзарь» об этом стихотворении: «Особенно полно гайдамацкой грусти и силы послание к Основьяненке; могучие стихи этой пьесы сразу западают в память и уже не забываются. В звуках этих стихов есть что-то родное и стону ветра, рыскающего по казачьей степи, и ропоту днепровских порогов, и заунывному воплю чайки» (т. III наст. изд.).

Стихотворение уже в издании «Кобзаря» на украинском языке (СПБ 1860) подверглось цензурным искажениям. Михайлов знал, что именно было выброшено цензурой (см. его письмо Гербелю с пометкой рукой последнего — «1860», *ГПБ*), и перевел стихотворение в 1860 г. полностью для подготовлявшегося Н. В. Гербелем к печати «Кобзаря» в переводах русских поэтов, но перевод не был пропущен цензурой. В *ГПБ* сохранился черновой автограф перевода с надписью на первой странице: «Не дозволить. Медем» и припиской Гербеля: «Перевод Михайлова, исправленный мною по его просьбе для напечатания в моем издании «Кобзаря» Шевченки, но запрещенный председателем Цензурного комитета

бароном Медемом, что значится на первой странице». Из стихотворения Шевченко цензура выбрасывала строки 26—45 и 63—70 (по переводу Михайлова). Перевод был исключен цензурой и из *изд. 1890 г.*

Основьяненко Грицько—псевдоним украинского писателя Григория Федоровича Квитки (1778—1843).

...*«ГрицЯ» запевает...*— Возможно, что речь идет о популярной украинской песне «Ой, не ходи, Грицю, та на вечорници» или «Пишов Гриць, зажурывсь»; авторство последней приписывается Квитке.

Иван Подкова. Печатается по автографу (*ГПБ*). Впервые— *РС*, 1860, № 4, стр. 41—42, с незначительными изменениями, в статье Михайлова о «Кобзаре». По автографу впервые — «Кобзарь» Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» под ред. Н. В. Гербеля, СПБ 1860, стр. 57—70. Перевод Михайлова признается лучшим в этом издании среди переводов Плещеева, Гербеля, Мея, Берга (см. П. Грабовский, Русские переводы произведений Шевченко, Избранное, М. 1952, стр. 306).

Иван Подкова — предводитель походов украинских казаков (XVI в.) против молдавского господаря — ставленника турецкого султана.

Лиман — затопленная морем часть долины речного устья, здесь— Днепра.

Синоп — город и крепость в северной части Турции на берегу Черного моря.

Завещание. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые—*изд. 1934 г.*, стр. 526. Перевод сделан Михайловым, очевидно, после 1862 г. по списку стихотворения Шевченко, о чем свидетельствует заглавие, утвердившееся в списках (в автографе Шевченко оно заглавия не имеет, а в издании «Новые стихотворения Пушкина и Шевченко» (Лейпциг, 1859, стр. 18) дано под заглавием «Думка»).

С польского

ЗИГМУНТ КРАСИНСКИЙ

Зигмунт Красинский (1812—1859) — польский поэт-романтик. Михайлов первым в России перевел одно из крупнейших произведений Красинского — драматическую поэму «Небожественная комедия» (1835). Перевод появился в печати лишь после смерти Михайлова, в 1878 г., в газете «Новости», с большими цензурными искажениями. Автограф перевода не разыскан.

«От слез и крови мутны и черны. . .» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 299. Впервые — *С*, 1860, № 8, стр. 474, под заглавием «Жизнь», с эпиграфом — первой строкой оригинала. Перевод печатался в сборниках русской потаенной литературы XIX столетия (напр. «Лютня», Лейпциг, 1874).

АДАМ МИЦКЕВИЧ

Адам Мицкевич (1798—1855) — польский поэт, участник польского национально-освободительного движения. Современники считали Михайлова одним из лучших переводчиков Мицкевича (см. «Вестник литературы», 1916, № 11—12, стр. 197).

С о н. Печатается по *ЛГ*, 1848, № 3, 15 января, где заканчивался четырьмя строчками точек и имел эпиграф — первую строку оригинала. Печатался в *изд. 1914 г.* и *изд. 1934 г.* как перевод с польского, без указания на Мицкевича. По автографу с указанием на Мицкевича впервые — *изд. 1951 г.*, стр. 494.

К п о л ь к е-м а т е р и. Печатается по копии неизвестного (*ИРЛИ*). Впервые — *изд. 1934 г.*, в разделе «Оригинальных стихотворений». Как перевод из Мицкевича впервые — *изд. 1951 г.*, стр. 493—494. Мицкевичем это стихотворение было написано в 1830 г. и посвящено друзьям, участникам польского восстания 1830 г. Перевод Михайлова, вероятно, сделан в ссылке.

Назарет — город в Палестине, где, по библейскому преданию, прошло детство Христа.

Из поэтов новой Греции

КОНСТАНТИН РИГАС

Константин Ригас (1754—1798) — греческий поэт-революционер, борец за независимость Греции. Был казнен турецкими властями. Переведенный Михайловым «Военный гимн» во время революции 1821—1827 гг. в Греции имел значение национального гимна.

В о е н н ы й г и м н. Печатается по *С*, 1865, № 3, стр. 97—102, где имел подзаголовок: Адамантия Кораиса. Михайлов ошибочно приписал гимн греческому ученому и поэту Адамантию Кораису (1748—1833). Авторство Ригаса установлено Л. Фейгиной (*изд. 1951 г.*, стр. 610—612).

Паликары — солдаты отдельных вольных отрядов, иногда находившихся на службе у какого-нибудь важного лица. Во вспыхнувшей в XIX веке борьбе за независимость Греции приняли участие на стороне народа.

Фанар — греческий аристократический квартал в Константинополе.

Ромейцы — греки.

Арваниты — албанцы.

Майноты — греки, жители Танарского полуострова.

Сулиоты — греко-албанское племя, оказывавшее упорное сопротивление турецким завоевателям.

Мавровуни — Черногория.

Аграфа — Аграфские горы в Греции, где были сосредоточены отряды повстанцев.

Гидра — греческий остров около юго-восточного берега Пелопоннеса.

Псариоты — жители о-ва Псарра, имевшие большой флот.

Кирсалиды — участники восстания в Сирии (XVIII в.) против турецкого ига.

АЛЕКСАНДР ИПСИЛАНТИ

Александр Ипсиланти (1763—1826) — греческий поэт, один из вождей национально-освободительного движения Греции в 1820-е гг.

Птичка-изгнанница. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *С*, 1865, № 3, стр. 103—104, без подписи. В содержании автор обозначен «—ва».

Народные песни

Михайлов проявлял глубокий интерес к народному творчеству (см. подробно прим. к сказкам в обработке Михайлова, печатаемым приложением во втором томе наст. изд.). Он писал о народных песнях: «Старинная песнь — почти единственный отклик, в котором доходит до нас народная дума... Все, что волнует душу народа и просит внешнего выражения, переходит в песню, сказку, пословицу, и в этой безыскусственной, но верной форме переживает века, повторяется сотнями поколений и часто умирает только вместе с народом. Это самый твердый исторический памятник...» (*РС*, 1860, № 11, стр. 33).

ШОТЛАНДСКИЕ БАЛЛАДЫ

Два ворона. Печатается по *ЛГ*, 1847, № 49, 4 декабря.

Вилли и Маргарита. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 303—308. Впервые — *С*, 1858, № 7, стр. 5—8, с изменением третьей и четвертой строк.

Клейд — Клайд, река в Шотландии.

СЕРБСКИЕ ПЕСНИ

«Девушка у моря сидела...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 309. Впервые — *ЛГ*, 1847, № 45, 6 ноября.

«Будь у меня, Лазо...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 310.

Арапская царевна. Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 311—314. Впервые — *РС*, 1860, № 1, отд. I, стр. 305—307, под заглавием «Из песен о Марке Кралевиче», с примечанием Михайлова: «Шарац или Шарин — богатырский конь Марка Кралевича».

НОВОГРЕЧЕСКИЕ ПЕСНИ

«Как в ночи мы целовались...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 315. Впервые — *И*, 1847, № 7, 22 февраля, под заглавием «Измена», в другой редакции. Перевод с немецкого перевода Шамиссо. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном (1829—1894).

Молодой монах. Печатается по автографу (*ИРЛИ*). Впервые — *С*, 1863, № 1—2, стр. 120. Подпись: Мих. Илецкий. Был исключен из *изд. 1890 г.* как «оскорбляющий религиозное чувство» (*изд. 1934 г.*, стр. 654).

ЛИТОВСКИЕ ПЕСНИ

«Как в лес меня послали...» Печатается по *изд. 1862 г.*, стр. 316—317. Впервые — «Народное чтение», 1859, кн. IV, стр. 207. Перевод с немецкого перевода Шамиссо.

Ворон, Пирушка. Печатаются по автографам (*ИРЛИ*). Впервые — *Д*, 1870, № 6, стр. 215—216. «Пирушка» — перевод с немецкого перевода Шамиссо. Переведены, вероятно, в 1862—1865 гг.

«У меня был коник...» Печатается по *изд. 1866 г.*, стр. 399. Переведено, вероятно, в 1862—1865 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Курсивом указаны страницы примечаний.

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕРЕВОДЫ И ПОДРАЖАНИЯ

ПОДРАЖАНИЯ ВОСТОЧНОМУ

ИЗ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ

Людвиг Уланд

Август Копиш

Думы

Романсы и баллады

На смертном одре

Разные стихотворения

Северное море

Часть первая

Книга третья (1822—1828)

Книга четвертая (1829—1833)

Книга пятая (1834—1851)

МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ
МИХАЙЛОВ

Сочинения в 3-х томах, т. 1

Редактор *В. Панов*
Художник *Д. Громан*
Худож. редактор *И. Жихарев*
Технич. редактор *Г. Каунина*
Корректоры *Г. Сурис* и *А. Шлейфер*

*

Сдано в набор 19/VIII 1957 г.
Подписано к печати 4/II 1958 г.
Бумага 84×108 1/32=20 печ. л.
32,80 усл. печ. л. 29,99 уч.-изд. л. +
+1 вкл.=30,04. Тираж 150 000. Заказ № 898.
Цена 11 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

*

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.